

**Назир Сафаров**

# **ДЕНЬ ПРОКЛЯТИЙ И ДЕНЬ НАДЕЖД**

**Роман**

Издательство художественной литературы  
им. Гафура Гуляма  
Ташкент  
1970

«Страницы прожитого и пережитого» — так назвал свою книгу Назир Сафаров. И это действительно страницы человеческой жизни, трудной, порой невыносимо грудной, но яркой, полной страстного желания открыть народу путь к свету и счастью. Писатель рассказывает о себе, о своих сверстниках, о людях, которых встретил на пути борьбы. Участник восстания 1916 года в Джизаке, свидетель событий, ознаменовавших рождение нового мира на Востоке, Назир Сафаров правдиво передает атмосферу тех суровых и героических лет, через судьбу мальчика и судьбу его близких показывает формирование нового человека — человека советской эпохи.

«Страницы прожитого и пережитого» удостоены республиканской премии имени Хамзы как лучшее произведение узбекской прозы 1968 года.

*перевод: Эдуард Арбенов*

## Первый шаг

Если существует на свете что-либо вечное, то, я думаю, это наш базар в Джизаке. Он появился, конечно, задолго до сотворения мира, во всяком случае, задолго до моего появления под солнцем. Мы, дети, считали его таким же постоянным, как, скажем, земля, луна или звезды, но более важным. Важным потому, что нам неведомы были названия звезд, не умели мы подсчитывать время прохождения лунного месяца, но зато каждому из нас было хорошо известно, когда, в какой именно день бывает базар. В этот день со всей земли, кажется, стекался люд на джизакскую площадь — скрипели тяжелые арбы, ехали всадники с перекинутыми через седло хурджунами, тащились, сгибаясь под невероятными по величине мешками, ишаки; стоял шум, гам, рев, визг, ржание. Пыль поднималась до самых небес, во всяком случае, застилала и солнце, и облака, если они решались появиться на вечно синем джизакском небе.

Но не это было главным. Главным было то, что по всему Джизаку разносился запах ароматной шурпы или плова. И возникал он не на базаре — там невесть какие запахи источались из чайхан и харчевен, — а во дворах. В нашем тоже. Мать варила в базарный день шурпу. А что может сравниться с шурпой, заправленной кунжутным маслом и луком!

Не знаю, кто придумал шурпу, но здорово придумал. Мы, например, считали, что она так же, как и базар, существует вечно, но только в эти дни появляется перед нашими завидующими глазами и нашим голодным ртом, в эти дни!

Я не назвал еще этих дней, а они имеют очень важное значение для события, о котором собираюсь рассказать. Базар в Джизаке бывал по понедельникам и четвергам. Возможно, в другом месте существовали другие базарные дни, но мы не знали других мест и, следовательно, других базаров, наш мир ограничивался родным Джизаком, самым прекрасным местом на земле. Да, не удивляйтесь, я и сейчас убежден, что это самое прекрасное место в мире.

Так вот, в один из таких дней, не помню теперь уж точно, в понедельник или в четверг, наверное, все же в четверг, так как

именно в канун пятницы бывал большой базар и мать иногда разрешала себе готовить плов — божественное из божественных блюд. Так вот, в четверг вечером, когда мы сидели за пловом, я повздорил с братом из-за кости. Из-за самой пустячной кости, на которой уже ничего не было, кроме клочка хрящевинки, когда-то соединявшей ее с бараньей ногой. Повздорил так, что матушка моя, самая тихая и самая добрая женщина, вынуждена была опустить на мою голову кулак. Проще говоря, дать мне хорошего тумака, напомнить о существовании родителей и порядка, который следует соблюдать за дастарханом.

Тумак был довольно чувствительным, и затылок мой надолго запомнил его. Но не это было главным событием четверга. Я согласился бы получить еще несколько таких тумачков, лишь бы ими закончились мои несчастья в тот злополучный вечер.

— Хватит! — сказала матушка. — Нет больше сил моих. Завтра же отведу тебя к Хикматой-отин.

Вот что было несчастьем из несчастий. Меня собирались отправить к старой отинбуви. Я должен сразу предупредить — отинбуви не была ни моей бабушкой, ни моей тетушкой, никаким боком не приходилась нам родней. И вообще я и в глаза ее не видел за всю свою Короткую жизнь. Но я заревел, как телок, так громко, что голос мой, наверное, был слышим во всей махалле.

Можно ли так наказывать собственное дитя из-за какой-то бараньей косточки, возмущался я.

Говорят, чилляки поспевают, глядя на чилляки. Если гроздь винограда способна расти, беря пример с подружки, то что можно сказать о детях. Я во всем подражал старшему брату, а он вовсе не думал о собственном совершенствовании. Вообще, кажется, он ни о чем не думал. С утра покидал двор и весь день пропадавал где-то.

Впрочем, «где-то» звучит весьма неопределенно и даже загадочно, на самом деле все в доме знали, где именно находится мой брат. Если бы кто вздумал держать пари, разгадывая эту загадку, и назвал при этом пустырек в безлюдном месте, то наверняка выиграл бы. Там целыми днями играл, в кости мой братец. Ащички, как называли у нас эти кости, занимали и время и мысли его. За пазухой

он постоянно держал целый ворох костей — раскрашенных, точеных, налитых свинцом, и таинственное шелканье их сводило с ума мальчишек, ну и меня тоже, конечно. Мне хотелось обладать этим богатством и не только обладать, но и преумножать его. Брат на поляне, а я во дворе с утра до вечера кидал кости. Увлёкся так, что ради них мог ввязаться в драку и даже махнуть с крыши, предложи мне за это горсть крашенных ашичек. Вот до чего я дошел.

И все же наказание показалось мне слишком суровым — меня отправляли в школу к этой самой отинбуви.

— Еще не дорос твой сын до школьной грамоты, — осторожно возразил отец. — Придется, мать, потерпеть пару лет.

Я тотчас перестал реветь, прислушался к словам родителей — робкая надежда вселилась в мое сердце: а вдруг несчастье пронесется мимо! Но слова матери, сказанные в ответ, мгновенно рассеяли эту надежду:

— Если этих сорванцов не прибрать к рукам сейчас, то считай, все пропало. Мудрые люди не зря говорят: «Ребенок дорог, а добрые чувства еще дороже!» Пусть он не одолеет чашу познания, но несколько глотков благоразумия и порядочности все же выпьет.

Отец выслушал мать и махнул рукой:

— Поступай, как знаешь.

Судьба моя была решена. Остались только слезы, которые я лил не жалея до самой ночи, и, кажется, израсходовал все запасы. Во всяком случае, утром глаза мои были уже сухими, и когда матушка собирала меня, я не обронил ни капельки, лишь шмыгал носом и жалостливо смотрел на нее.

До того момента, когда мы должны были переступить порог дома, я терпел. Калитка, ведущая на улицу и, следовательно, к страшной отинбуви, как бы защищала меня; но едва она запахнулась, мужество покинуло мое сердце, и я, громко вопя, уперся на перекладине. Спасительный рубеж! От него не оторвать меня. Однако матушка оторвала — цепко схватила за руку, и я оказался в воздухе. Так мы начали путь в школу.

Помню этот день. Было почти лето. Урюк отцвел, и на ветках появились плоды величиною с крупное ячменное зерно. Предмет

мальчишеских вожелений. Скоро-скоро зерна нальются, станут зелеными камушками, жесткими и кислыми, и все же чудесными, потому что они запретны и от них болит живот. За ними будут охотиться, рискуя получить хорошую трепку. Будут охотиться. Все мальчишки, кроме меня одного, несчастного из несчастных. Я иду в школу!

Я не знал, что такое школа, не имел о ней ни малейшего представления, но мой брат избегал ее, заменяя уроки игрой в ашички, и этого было вполне достаточно, чтобы я составил о ней самое нелестное представление. Главное, она лишала мальчишек свободы. И вот всю дорогу я боролся за эту свободу, и меня буквально втащили во двор отинбуви. Здесь, во дворе, борьба продолжалась бы, но одно обстоятельство вдруг смирило меня. Нет, не отинбуви, которую я, кстати сказать, даже не разглядел, не выводок девчонок, что ровно цыплята облепили террасу и шумно пищали там, долбя какие-то никому не ведомые слова. Огромная жемчужная шелковица, простершая свои причудливые ветви мне навстречу, смирила меня.

Вы спросите, почему жемчужная, есть ли такая разновидность дерева? Нет, конечно. Просто шелковица, или как мы ее называем, тутовник, была сплошь усеяна зрелыми, налитыми сладким соком ягодами — чуть розоватыми, чуть голубоватыми. Их только я и видел, ничего больше. Воробьи, неистово чирикавая, хозяйничали на ветвях. Разбойничьи клювы их сбивали ягоды, и сладкий дождь струился на землю.

Дождь этот наполнил мое сердце ликованием. Не стоит объяснять почему, хотя кое-что все же надо сказать. Те, кто бывал в нашем доме, помнят, что перед самыми воротами, вернее, напротив них, тянулась большая тутовая аллея, принадлежавшая общине дервишей и носившая название Каландарханы, то есть приюта странствующих монахов. Не только аллея, но и вся земля по обоим берегам Наймана принадлежала им, хотя появлялись они здесь лишь в базарные и праздничные дни, а в остальное время вакуфной территорией распоряжался глава каландаров Дадабай. Ну и еще мы — мальчишки махалли. Весной, уподобляясь стае воробьев, мы опустошали

тутовник. Это было веселое и вкусное время. Рты наши, набитые до отказа сочными ягодами, не в состоянии были вместить всю сладость, и она янтарными каплями стекала на подбородок и грудь. Мы становились приманкой для злых ос и пчел, и война с ними шла у нас постоянно, причем с переменным успехом. Но мы не отступали. Справедливости ради следует сказать, что и взрослые были непрочь полакомиться медовой сладостью ягод тутовника. Под его ветвями всегда толпились жители махалли. В то время как мы, словно белки, перепрыгивали с ветки на ветку и с дерева на дерево, взрослые внизу, представляя ладони, ловили капли жемчужного дождя.

Вообще Каландархана была благословенным местом Джизака — тихим, тенистым, просторным. Стоило лишь войти в «аллею дервишей», как на вас снисходила прохлада, и слух начинали ласкать журчащие струи арыка. В середине аллеи арык расширялся, превращаясь в огромный хауз, берега которого тонули в густой тени могучих карагачей. Деревья были настолько старыми, что стволы невозможно было охватить, а ветви так разрослись, что жгучему и упрямому джизакскому солнцу за весь день не удавалось ни разу взглянуть на землю. Это особенно ценили люди летом, в знойный месяц саратан, когда солнце забиралось на самую верхушку неба и оттуда, с высоты, лило на Джизак потоки огня. В такие дни каждый вспоминал Каландархану и спешил под своды ее карагачей и шелковиц. Что говорить о пешеходах! Им волей-неволей приходилось пересекать Каландархану — аллея лежала вдоль улицы. Всадники тоже оказывались под карагачами: лошади и ишаки, не ожидая приказа хозяина, сами сворачивали на аллею. И отсюда их не так-то легко было прогнать, приходилось пускать в ход камчу или палку...

О чем шла речь? Да, я увидел тутовник во дворе отинбуви и вспомнил Каландархану. И не столько Каландархану, сколько воробьев, которые своими разбойничьими клювами сбивали жемчужины с ветвей. Сколько раз я пользовался услугами этих пернатых грабителей! Мой возраст, а следовательно, и рост, мешали мне взбираться на высокие деревья. В то время как остальные мальчишки хозяйничали в густой листве тутовника, я стоял внизу и жалобно хныкал, просил потрясти тяжелую ветку. Иногда трясли,

иногда забывали. Чаще всего забывали. Тогда-то и приходили мне на помощь воробьи: то, что не попадало им в клюв, оказывалось в моих руках. А сейчас ягоды летели просто на землю. Летели мимо меня.

Вот о чем размышлял я, стоя против отинбуви и глядя на огромный тутовник. Дерево, усеянное спелыми ягодами, настраивало меня на мирный лад. Если в школе растут такие вкусные вещи, можно, пожалуй, не сопротивляться. Одно меня беспокоило — почему брат ненавидит учение. Для того чтобы отправить Мансура утром в школу, матушке приходилось или опускать на его голову кулак, тот самый, с которым я познакомился вчера, или набивать его карманы сушеным урюком. Только тогда он выходил за калитку. Правда, это не значило, что тропа вела его в обитель знаний — брат сворачивал за угол и прямехонько направлялся на пустырек играть в кости. В положенное время он возвращался домой. Вид при этом у него был такой, словно голова наполнена знаниями, а сердце — добротой и смирением. Но матушку мою трудно было провести, она издали угадывала истину и объявляла ее с помощью слов и действий. Часто мы слышали из ее уст: «Рахат одного лишь не знает, когда она умрет». И это была правда; все наши проделки становились известными матушке, да и не только проделки, задумки даже, иной раз хитро выношенные.

Да, тутовник привлекал меня в школу, а опыт брата отпугивал.

Отвернувшись от жемчужной шелковицы, я захныкал:

— Не хочу в школу... Не хочу... Идем домой...

Отинбуви посмотрела на меня ласково своими голубыми глазами — тут я увидел, что она совсем не старая и совсем не злая, — и сказала:

— Хороший мальчик... Как имя твое? Да, кажется, Назиркул, вспомнила... А кому он пожертвован?

Мать почтительно и тихо беседовавшая до этого с учительницей, не без гордости громко пояснила:

— Шахи-Зинда авлие — чудотворцу Шахи-Зинда.

— О! — сделала значительное лицо отинбуви. — Мальчик, пожертвованный Шахи-Зинда авлие, обязательно должен стать учителем, такова воля святого...

Я не предполагал, что мне уготована такая высокая миссия и что моя судьба связана с каким-то святым. Это меня озадачило и даже вселило некоторый страх. Открыв рот от удивления, я смотрел на отинбуви, ожидая новых удивительных слов, но они оказались очень простыми.

— Адолят! — повернувшись к террасе, позвала учительница. — Поди-ка сюда!

От девчачьего выводка отделилась та самая, которую отинбуви назвала Адолят, и направилась к нам. Рослая, с карими глазами и густыми бровями, повязанная цветным — платком, из-под которого кокетливо выглядывали черные локоны, она казалась самой старшей среди учениц и самой серьезной. Представ перед отинбуви, девочка почтительно скрестила на груди руки и изобразила внимание.

— Ты знаешь этого мальчика? — спросила отинбуви.

— Да, уважаемая. Это — Назиркул, сын тетушки Рахат, — ответила Адолят и, чувствуя благосклонность учительницы, погладила мою голову. И не только погладила, но и с интересом посмотрела на кокиль — косичку, отпущенную в знак пожертвования святому. — До чего красив твой кокиль! Будь ты девочкой, то сорок таких кокилей не уместились бы на голове...

Нельзя сказать, что подобная похвала обрадовала меня: коса давно уже была предметом насмешек со стороны сверстников и мне приходилось терпеть их во имя какого-то святого. Но матушка расценила похвалу Адолят как одобрение и благодарно сказала:

— Ах ты, моя милая! Передаю неразумное дитя мое в твои руки, а тебя — самому богу.

Девочка просияла: она ведь тоже была еще ребенком и доверие взрослого наполняло ее гордостью.

— Чем бы угостить моего нового братца? — озабоченно произнесла она и стала рыться в карманах камзола.

Я замер в ожидании. Что скрывать, глаза мои следили за руками Адолят, и когда в левом кармане ничего не оказалось, на моем лице изобразилось огорчение. Девочка торопливо принялась изучать правый карман. Наконец она извлекла конфету и несколько фисташек:



— Возьми!

Первым моим желанием было отправить немедленно лакомство в рот и, конечно, не будь рядом матушки, проявлявшей по отношению ко мне строгость, я осуществил бы это намерение, но теперь следовало испросить прежде позволения, и я покосился в ее сторону. Увы, матушки не было рядом — она шла по направлению к калитке. Проще говоря, покидала меня в чужом незнакомом месте. Нетрудно догадаться, что свой испуг и свое отчаяние я выразил громким воплем. Воплем и решительным намерением пуститься следом. Истошный крик мой прозвучал, а вот побег не удался — Адолят крепко держала меня.

— Не беспокойтесь, тетушка Рахат! — помахала она рукой моей матушке. — Я приведу его сама...

Так я стал пленником отинбуви, вернее, пленником ее воспитанницы, этой самой кареглазой Адолят. Пленником, который в какую-то неделю признал свою неволю и даже полюбил ее. Да, да! И все эта Адолят.

Не знаю, кто лучше влиял на нас — Хикматой-отин или ее маленькая помощница Адолят. А что она была помощницей, не вызывало ни у кого сомнения. Мы так и обращались к ней — халфа-апа. И вот халфа-апа быстро разобралась в несложных моих вкусах и желаниях и накинула на них ниточку. Ниточку эту она держала в своих руках и время от времени подергивала, Заставляя пятилетнее существо делать то, что надо, угождая и Хикматой-отин и моей матушке. Я был ужасным сластолюбом. Обыкновенный леденец или горсть урюка легко превращали меня в послушного телка. Заходя за мной по утрам, Адолят всегда держала в карманах камзола кусочек сахара, конфету, несколько миндалин. Я принимал все это, а взамен отдавал свою руку. Адолят вела меня тихого, робкого в школу.

Было бы неправдой винить во всем сладости. Первые дни, верно, я ждал их, а потом, незаметно для себя, принял новый порядок и новый мир, открытый передо мной школой. Посещение дома Хикматой-отин стало обязательным и даже необходимым, и когда Адолят иной раз вдруг забывала постучать в нашу калитку и окликнуть меня — «Назиркул!» — я начинал тревожиться и плакать,

будто потерял что-то дорогое.

Мать, видя все это, радовалась. Да и как можно было не радоваться! В любой, даже самой нехитростной душе, цветет надежда на счастье своих детей. Я думаю, матушка мечтала о сыне-учителе. Сама неграмотная, измученная заботами и треволениями, постоянными нехватками, она глубоко ценила чужую образованность. Конечно, ей трудно было понять, что знания, вбиваемые нам в головы отинбуви, ни на что не пригодны, что это только одежда, ветхая старая одежда. Но не будем корить бедную женщину за мечту — она стремилась к лучшему, светлому, если не для себя, то хотя бы для нас, детей ее.

Мое прилежание радовало мать, а поведение брата по-прежнему огорчало. Он пропадал днями на пустырях, играя с такими же, как и он, отчаянными любителями ашичек. Матушка могла терпеть и долго терпеть, но, как говорится, и камень когда-то раскалывается. Каким-то своим особым путем доходила она до нужного и всегда мудрого решения. И когда доходила, повернуть ее назад было уже невозможно. С братцем она поступила так же сурово, как и со мной. Однажды я услышал ее приговор.

— Хорошего телка по походке узнают, — сказала она отцу, — а Мансур наш какой шаг ни сделает, все вкривь и вкось. Прикроем-ка, пока не поздно, позор полый халата, не то горечь придется всю жизнь хлебать. Отведи-ка мальчика к своему младшему брату. При деле, может, Мансур остепенится. Человека, как и железо, гнуть надо, пока он податлив. Годка через два из нашего сына уже ничего не сделаешь...

Отец по обыкновению молчал. Дома он бывал редко, занятый своими хлопотливыми делами, почти не касался нашего воспитания, целиком полагаясь на мать, на ее опыт и мудрость. Поэтому решение матушки никогда не оспаривал. Оно было для нас и для него окончательным.

Дни стояли холодные, шел снег, из дому и выглядывать не хотелось, не то что бы тащиться куда-то, но матушка накинула на себя чачван и подалась в непогоду к дяде Ашурмату. Вечером он был уже у нас и, устроившись на курпаче, деловито обсуждал судьбу

брatца Мансура.

Не стоило бы так подробно излагать всю эту историю, которая довольно проста и скучна, но она коснулась меня самого и весьма ощутимо. Пострадал от посещения дяди Ашурмата в общем-то не братец, а я. Мансуру было все равно — станет он беданабозом, то есть игроком в перепелов, или учителем, бродягой или кузнецом. Мне же очень хотелось знать, что решат дядя Ашурмат и матушка, превратится ли Мансур в удивительного кудесника, который из куска железа способен сделать красивую подкову, или серп, или кетмень. Мы, мальчишки, с любопытством вглядывались в полумрак кузниц, где полыхало упрятанное в глиняном закутке пламя и стучали звонко молотки.

Сунув ноги под одеяло к сандалу, я ловил каждое слово, произносимое в тот вечер. Слова эти занимали меня настолько, что все остальное исчезло, даже сам сандал с его раскаленными углями. Я слушал и беззаботно водил ногами над жаром, а ноги мои были босыми. Матушка, чтобы подогреть чайник, поставила его в угол сандала, поставила и забыла. Он часто там находился, и никогда ничего не случалось. Но то были дни обычные, а тут — событие. В доме решалась судьба брата и решалась в присутствии дяди Ашурмата.

Все мои чувства выражались, в движении ног — ноги; то замирали, то принимались растерянно или, наоборот, радостно раскачиваться. Какое-то слово, видимо, произвело на меня особое впечатление, и я, забыв о притаившихся подо мной углях, дал волю своим ногам. Чайник опрокинулся. Выплеснутая вода вскинулась огненным паром и ожгла меня. Надо ли рассказывать, какую боль испытал я!

На слабость моего голоса никто не мог пожаловаться, но тут я превзошел все, на что был способен. Матушка схватилась за голову и кинулась ко мне на помощь.

— Вай! Горе мне! — запричитала она, откидывая курпачу.

Меня вытащили из пекла в жалком виде. Ноги мои были пунцовыми и почти на глазах стали покрываться волдырями.

— Правду говорят, беда под ногами у человека, — суетилась

мать, не зная, как облегчить мою участь, — и зачем только поставила я чайник в этот несуразный сандал... И как это угораздило меня!

Дядя, хоть и был огорчен случившимся, сохранял спокойствие.

— Сделайте, сестра, примочку из соленой воды, это верное средство, — сказал он рассудительно. — А отчаиваться не стоит. Не это, так другое бы случилось. Такова жизнь. Пусть лучше ожог, чем глубокая рана. К тому же, Назиркул опалил лишь верхнюю кожу, она и без того должна меняться у человека... Через два-три дня все заживет...

Два-три дня растянулись на целые полмесяца. Кожа слезала без всякого желанья, хотя дядя Ашурмат и говорил, что она обязана меняться у человека. Во всяком случае, она, эта самая кожа, не торопилась. На месте ожогов образовались ранки и долго не заживали. Ходить я не мог и лежал целыми днями в комнате, опасно поглядывая на сандал.

Болезнь и вынужденное одиночество были первым моим испытанием, узнаванием того, что у взрослых называется дружбой, верностью. Мне было тоскливо. Улица, затянутая дождем, казалась самым веселым местом, школа, где мы повторяли до отупения совершенно непонятные слова, рисовалась в удивительно радужных красках, а товарищи были прекраснейшими из прекраснейших. Да, своим наивным детским сердцем я чувствовал утрату и со слезами на глазах смотрел на блеклее от тумана окно.

Меня помнили. Счастью моему не было предела, когда на третий день растворилась дверь и в комнату вошла тихая и чуть застенчивая Адолят. Пришла мокрая от дождя, но такая обычная, что я забыл о болезни, словно ее и не было.

— Я буду заниматься с тобой, братец Назиркул, — сказала Адолят и протянула мне леденец. Знакомый леденец. Удивительно вкусный.

С тех пор халфа-апа навещала меня почти ежедневно, задавала уроки, проверяла выученное накануне. Не знаю, что заставляло эту девочку в холод и грязь шагать от Хикматой-отин к нашему двору, терпеливо высиживать около меня час, а то и больше, пока я не усваивал трудное четверостишие. Неужели только благодарные слова

моей матушки? Или просто доброта, которая светилась в карих глазах Адолят и во всем ее кротком облике.

А мой друг Акил! После школы он прежде забегал ко мне, а потом уже шел домой. В руках его всегда скрывалось что-нибудь удивительное, способное обрадовать меня. То красивый камушек, то новенький гвоздь от подковы, то сама подкова, найденная на дороге. Никому не нужные мелочи занимали и восхищали нас. Однажды Акил принес мяч. Какой мяч! Я ахнул, увидев его. Мы давно мечтали о круглом матерчатом, кожаном или волосяном мяче. Тогда резиновые были редкостью, да и дорого стоили, не по карману нашим родителям.

В школе красивый мяч был только у Хасият. Скатанный из ваты и вышитый разноцветными нитками, он походил на радужный шар, и когда Хасият с ним играла, в воздухе мелькали то красные, то зеленые, то голубые круги. Втайне я завидовал Хасият и, не скрою, вынашивал план овладения мячом. Надеялся, что закатится он куда-нибудь, пропадет, а я найду. Или сама Хасият вдруг подарит его мне. Но Хасият не собиралась дарить мяч. Надо полагать, у ней в голове и мысли подобной не было. Тогда я стал выпрашивать мяч самым беззастенчивым образом. Едва лишь замечал, что Хасият и ее подружка Мехри уединяются в углу двора, намереваясь тайком от учительницы поиграть, я тотчас шел следом и принимался хныкать:

— Хасият, дай мяч!

Девочки привыкли к моим просьбам и не обращали на них никакого внимания.

Тогда в голосе моем появлялась настойчивость. Это тоже не действовало. И вот последнее средство — угроза:

— Лучше отдай мяч по-хорошему!

Надо было знать Хасият, чтобы представить себе всю наивность и бесплодность моих попыток напугать девочку. Она была, во-первых, старше меня, сильнее и упрямее. Кроме того, Хасият при случае могла пустить в ход кулаки. Так и получилось, когда настойчивость моя перешла границы. Я попытался отнять у нее мяч и потерпел поражение. Причем какое! Она исцарапала мне лицо, и весь день я рыдал, сидя на террасе.

Нельзя сказать, что неблагоприятный поступок мой послужил мне уроком. Я попытался мстить за поражение.

— погоди, вот пожалею на тебя отинбуви! Вместо того чтобы струсить, Хасият отвечала насмешкой. Она даже дразнила меня:

— У нас дома есть еще большая кукла...

Это она говорила Мехри, но так громко, что я слышал.

— О, ты покажешь мне свою куклу, — в тон Хасият отвечала подружка.

— Да, да... Приходи ко мне, поиграем вместе. Слушая девчонок, я принимался реветь еще громче и, конечно, не от боли, а от обиды.

Судьей была Адолят. Суд ее, однако, не восстанавливал мира. Все кричали, а громче всех я. Тогда появилась сама отинбуви. Грозная и возбужденная. Главное, усталая. Она всегда была усталой. Мать троих детей и воспитательница двадцати послушниц Хикматой-отин не знала ни минуты покоя. Малыши всегда были около нее и донимали своими просьбами и капризами. Существовала отинбуви за счет приношений родителей, и это, как правило, выражалось в узелках с рисом, лепешками и изюмом, реже с мануфактурой. Кое-кто давал и деньги, если имел их. Близких у отинбуви, кажется, не было. Во всяком случае, хозяйство домашнее она вела сама, сама кормила детей, сама нянчила. Младший почти постоянно висел на руках ее. Не раз в нашем присутствии Хикматой-отин кормила его грудью, и мы, твердя урок, вынуждены были наблюдать эту пугающую детское воображение картину. Сыновья у отинбуви не отличались опрятностью, особенно младший, и примером для нас служить не могли. Замученная и задерганная мать, вероятно, даже не замечала этого.

И вот усталая и расстроенная чем-то отинбуви прибежала на наш крик. Она с удовольствием бы расправилась с каждым из кричащих при помощи рук или палки, но это было не в правилах Хикматой-отин. Существовали другие методы, более приятные для нас и для отинбуви. Выслушав девочек, она строго сказала, обращаясь ко мне:

— Ах ты, козел, разве нет другой забавы, чем обижать сестер своих?

— А почему они играют на уроке в куклы? — оправдал я свой

поступок.

Разорванная во время стычки кукла явилась подтверждением моей кляузы.

— Негодницы! — вспылила отинбуви. — Сколько раз повторяла вам, в этом доме забудьте о куклах! Не оскверняйте святых слов шалостями.

Гроза, кажется, пронеслась мимо меня, весь гнев Хикматой-отин обрушился на Хасият и Мехри. Я даже забыл о своем поцарапанном лице, перестал плакать, стараясь не пропустить момента наказания. Ненавистная Хасият должна была получить все, что я уготовил ей. Но приговор отинбуви принес разочарование.

— Всех троих оставь после занятия, — распорядилась она. — Особенно присматривай за этим козлом.

Распоряжение было дано Адолят, моей покровительнице и заступнице. Она покорно поклонилась учительнице, а на меня бросила ободряющий взгляд.

Едва отинбуви удалилась, как девчонки хором закричали:

— Козел! Козел!

Война из-за мяча обходилась мне дорого. Мало того, что меня оставляли после занятий, но и наградили позорным прозвищем. Не скоро оно отлипнет от меня. По своему небольшому жизненному опыту я знал, как цепко держатся насмешливые слова. Растерянный и огорченный, я стоял перед девчонками, не зная, что предпринять.

Спасла меня Адолят. Который уж раз. Видя, что все возбуждены и успокоить учениц так просто не удастся, она объявила «нон хурак» — обед. Волей-неволей дети покинули меня и, рассыпавшись, принялись за еду. Одна Хасият осталась. Она по-прежнему плакала, жалуясь на меня.

— Успокойся, Хасият! — кричали ей подружки. — Мы еще накажем этого козла.

«Накажем». Я мог не обратить на угрозу внимания, подумаешь, пугают. В конце концов, они девчонки, посмеют ли тронуть мальчишку! Однако я струхнул. Подруги обступили Хасият и стали шептаться. Дело принимало серьезный оборот. Видимо, все-таки свою угрозу девочки намерены выполнить. Как спасти себя? В тот

день в школе я был один, без Акила, он не то заболел, не то остался дома для какого-то дела. Значит, помощи не будет, надо рассчитывать только на себя. И еще отинбуви. Показать ей свое исцарапанное лицо и просить защиты. Я уже хотел кинуться в дом, как увидел бегущих ко мне девчонок. Дружной стаей они набросились на меня и принялись колотить своими кулачками по моей голове, плечам, спине.

— Будешь знать, как обижать девочек!

— А еще собираешься стать джигитом!

— Какой джигит, он девчонка. Разве джигиты отпускают кокиль?!

Кто-то дернул мою косичку, да так сильно, что слезы брызнули из моих глаз. Я пытался сопротивляться, махал руками, мотал головой, но атака была такой стремительной и такой дружной, что о контраступлении не могло быть и речи. Меня повалили на пол и осыпали ударами со всех сторон. Подобно стае ласточек, напавших на кота, девчонки общипывали меня и оклевывали. А я орал, призывая на помощь отинбуви и халфа-апу. Прибежала Адолят, моя верная заступница, и разогнала девчонок.

Я был спасен. Жалкое зрелище представляла моя одежда и мой кокиль после сражения. Адолят отряхнула пыль, переплела косичку, умыла мое лицо. Она всячески утешала меня, гладила по голове, но обида моя и жалость к самому себе были столь велики, что слезы не могли остановиться и лились в три ручья. Тогда халфа-апа сказала:

— Не плачь, иначе мама все узнает и накажет тебя. Лучше помолчи, тогда я отпущу моего братца вместе со всеми.

Обещание было соблазнительным, и я сразу смолк. Взял свой хлеб и принялся обедать. Время, предназначенное для «нон хурак», еще не истекло. Каждый утолял голод тем, что дали ему дома. Одни жевали сушеный урюк и, добравшись до косточек, щелкали их зубами или раскалывали камнем. Косточки с хлебом были лакомством. Я и сейчас вспоминаю не без удовольствия вкус ядрышка урюкового, проглоченного вместе с куском лепешки. Другие ели сушеную дыню, отрывая от длинной, словно ремень, желтой ленты мелкие кусочки. Вернее, отжевывая, потому что полоска дыни, провяленная на солнце, при всей своей сладости и аромате, крепка, как кожа, и ее сразу не



перекусишь. Рядом со мной обычно обедала курногая девочка Муслима, и обед ее состоял из половинки лепешки и ленточки сушеной дыни. Весь «нон-хурак» она тратила на разжевывание этой сладкой ленточки. Разжевывала старательно, время от времени давая передышку своим утомленным челюстям. И получалось у нее это так аппетитно, что я начинал глотать слюну и немедленно вытаскивал собственную лепешку из матерчатой торбочки.

После лепешек, урюка и дыни мы обычно бросались к ведру с мутноватой арычной водой и, зачерпнув полную касу, утоляли жажду. Потом играли. Носились по двору с криками и визгом, плясали, кто умел, пели песни. Сегодня как раз девочки затеяли что-то похожее на хоровод. Может быть, нарочно, желая подразнить меня. Закатав рукава и подоткнув подолы за пояс, они постукивая ножками, пели:

Песня жахида появилась,

Песня бестолковая появилась:

Зачем мне бархат тот.

Коль не по карману бархат тот.

Жахида — ху,

Жахида — ху!

Жахида! Жахида! Жахида!

Я слушал песню и думал, кончились ли мои несчастья, не повторят ли девочки нападение. Мяч Хасият уже не интересовал меня, хотя он по-прежнему высоко взлетал и разноцветные круги очерчивались в воздухе. Знал бы, чем все кончится, не взглянул бы даже на него. Тревога не покидала меня в течение обеда, вдруг песня смолкнет и ватага кинется к террасе, где я приютился со своей лепешкой.

Наконец «нон хурак» прервала Адолят и позвала всех на занятия. Мы расселись. Загудели голоса. Каждый повторял свое. Кто читал «Хафтияк», кто «Чор-китоб», кто «Суфи алайер». Громче всех звенел голос Хасият. Мне казалось, что она хочет перекричать меня.

— Инно аътайно кал — ковсар... Инно аътайно кал — ковсар... Я давно знал этот текст и мог бы забить Хасият, однако не попытался соперничать с ней. Страх все еще жил во мне и, помня недавнюю

взбучку, я старался вести себя потише. Пусть незаметно пройдет урок, дети разбегутся по домам, и, возможно, Адолят отпустит меня тоже. Ведь она обещала.

Бубня под нос непонятные арабские слова, я поглядывал украдкой на дверь, ждал появления своей спасительницы. Она появилась раньше обычного. Стала посреди террасы и объявила:

— Закройте книжки, спрячьте их в торбы.

Повторять приказание не пришлось. Мы уже заталкивали книжки в матерчатые мешочки и торопливо завязывали их. Такая поспешность объяснялась желанием как можно скорее избавиться от надоевшей каждому из нас зубрежки. Головы учеников гудели, язык буквально заплетался — ведь надо было запомнить сотни и сотни непонятных слов. Вбить их в себя, как вбивают в дерево гвозди, — крепко, навечно. Поэтому мы часами повторяли одно и то же, и чтобы лучше укладывались в голове слова, смотрели в одну точку или вовсе закрывали глаза и покачивались из стороны в сторону. Это напоминало какое-то колдовство.

Собрать книжки, однако, не значило покинуть школу. Вторник был днем генеральной уборки двора отинбуви. Такой порядок существовал издавна, и никто не смог бы изменить его. Работать на учителя приходилось всем. Но мы не роптали — мести дорожки, таскать воду и выносить мусор было интереснее, во всяком случае, приятнее, чем зубрить «Кулье».

С шумом мы бросились за метлами, ведрами, носилками. Первым побежал я. Мне хотелось заглядить свою вину перед отинбуви, заслужить прощение: Если она увидит, как стараюсь я, то, верно, переменит свое мнение обо мне и, возможно, даже похвалит. Главное, не назовет больше козлом. Ох, это противное слово!

Как я работал! Смог ли кто сравниться со мной в тот день? Нет. Даже старшие девочки не поспедали опораживать ведро, которое я приносил с улицы. Все бегом и бегом. Хасият и Мехри тоже носили воду, но разве у них так получалось! Одно ведро на двоих. Тянут в разные стороны, плещут; пока внесут во двор, почти ничего не остается.

— Пусть девочки берут пример с Назиркула, — сказала халфа-

апа.

Существует ли лучшая похвала для провинившегося? У меня выросли крылья от этих слов. Запыхавшийся, но не помышлявший об отдыхе, я носился от арыка к цветнику, от цветника к дорожкам, от дорожек снова к арыку. «Прощен! Прощен! — ликовало у меня все в груди. — И не только прощен, но и победил несносную Хасият». Я по-прежнему считал, что именно она виновна в моем посрамлении: из-за Хасият девчонки отлупили меня. Однако торжествовать победу было рано. Противная Хасият не собиралась сдаваться.

Она вырвала из рук Мехри ведро и, как и я, одна побежала к арыку. Я говорил уже, что Хасият была старше меня, выше ростом, здоровее. Ей легче и удобнее нести ведро. Притом девочки вообще проворнее мальчишек. Началось состязание, в котором мог победить сильнейший. До этого я поработал достаточно, запыхался, а Хасият только принималась по-настоящему за дело. Напрягая последние силы и стараясь не выдавать своего испуга, я повел борьбу с ненавистной мне Хасият.

Мы носились как бешеные. Гремели ведра, шлепали наши босые ноги, плескалась вода. Весь путь от арыка до цветника был залит, и десятки луж красовались на дорожках. Они, эти милые лужи, и выручили меня. Ноги мои скользили, но я не падал. А Хасият шлепнулась. Да еще как! Ведро выскользнуло из рук, и вода окатила ее всю. Вначале я не понял, что это моя победа, но когда во дворе раздался громкий смех и перед нами предстала мокрая смешная от грязных разводов на лице Хасият, поражение моей соперницы стало очевидным. Она редела и терла глаза кулаками. Куда девался заносчивый, гордый вид Хасият!

Я сбегал еще несколько раз за водой, желая показать свою силу и неутомимость. Впрочем, это было уже лишним. Адолят собрала девочек и громко сказала:

— Все старались сегодня, но Назиркул оказался лучшим. Отинбуви довольна им и ставит вам в пример.

Конечно, я был на седьмом небе. Сияющими от радости глазами посмотрел на всех, особенно на подруг Хасият, которые час назад клевали меня, словно ласточки кота, ну и понятно — на Хасият. Вот,

мол, какой я! И что вы думаете она ответила, эта противная Хасият? Она показала мне язык. Свой дурацкий, злой язык. Мне ничего не оставалось, как погрозить зазнайке кулаком.

Потом все кинулись к калитке, потому что халфа-апа разрешила идти домой. Девчонки, будто вырывающиеся из клетки птицы, с криками вылетали на улицу, но как они ни торопились, первым за дувалом оказался я. Свобода! Неповторимая минута ликования. Ветром летишь по улице, смеешься, машешь руками, вздымаешь босыми ногами горячую пыль. Сам не знаешь, чему радуешься. Просто так! Детство...

Я припомнил целую историю по поводу матерчатого мяча, который мне давно хотелось иметь. И вот теперь такой же мяч, даже лучше, протягивал Акил:

— Пусть будет у тебя... Поправишься, станем играть в «яккашта кулок». Хорошо?

Конечно, хорошо! Как еще хорошо! Я взял мяч и прижал к себе, словно это было что-то живое.

— Теперь мы не будем просить мяч у Хасият.

— Не будем, — закивал головой Акил. — Зачем с девчонками связываться? Была бы мальчишкой, мы задали бы ей!

— Да, да... — И я снова представил себе двор отинбуви, стаю девчонок, набросившуюся на меня с кулаками. Обида еще жила, но не была такой острым, как прежде. В конце концов, можно все простить им — теперь у нас есть свой мяч.

— Уроки готовишь? — робко спросил Акил.

— Конечно, — оживился я. — Каждый день повторяю... Алиф-бедан кадорат, те-седан кадорат!

Мой голос звучал так громко и так уверенно, что матушка, хлопотавшая во дворе у печи — тандыра, услышала и прибежала в комнату.

— Ай, голосок твой миленький! — произнесла она радостно. В руках ее были горячие лепешки, только что вынутые из тандыра, — матушка решила попотчевать нас. — Читай, читай, ягненочек! Выучишься, господь благословит тебя на святое дело.

Единственный человек в доме, кому занятия мои приносили

отраду, — это матушка. Ни она, ни я не понимали таинственных и потому очень важных слов, но то, что они твердо и громко произносились, наполняло нас каким-то восторгом, какой-то уверенностью в высоком значении творимого дела. С еще большим вдохновением я стал повторять:

— Алиф-бедан кадорат...

Не зная, как отблагодарить сына за старание, она вынула из кармана камзола ключи, отперла сундук, где хранились сладости, и высыпала на поднос несколько горсточек изюма «турсуной». О, этот знаменитый изюм! Два года хранился он в сундуке, ожидая праздничного события! В нем уже завелись черви, и сам он потемнел от времени, но какое это имело значение! Изюм был мечтой каждого из нас.

— Ешьте пока, а я принесу чай, — сказала матушка. Вторично просить нас не пришлось. Когда матушка вернулась с чайником, поднос был пуст — от лепешек и изюма даже крошек не осталось.

— И для учения силы нужны, — улыбнулась она. — Как это небось трудно: «алиф-бедан кадорат»...

Она вся светилась радостью. Милая моя, добрая матушка! Как хотелось ей видеть меня учителем! Не знала она, да и никто не знал, — путь к этому будет тернистым. Чтобы открыть книгу, истинную книгу знания, придется вступить в борьбу, жестокую борьбу, принести жертвы, испить горе и отчаяние, проститься с близкими и дорогими, разрушить старое, создать новый мир. И только тогда будет открыта книга.

— Читай, читай, мой ягненок!

Я читал. Я повторял одно и то же. Мне, как и матушке, очень хотелось овладеть волшебным словом.

Шли дни. Ноги мои плохо заживали, и я тосковал по всему, что стало мне недоступно. За стенами слышались голоса: там было весело, удивительно хорошо. И чем громче звучали голоса, тем невыносимее казалось одиночество.

Голоса и заставили меня встать на ноги. Вот как это получилось.

В один из дней на пробуждающуюся от зимнего холода улицу вышли каландары, эти самые бродячие монахи. Снег уже стаял под

теплыми лучами солнца, и земля начала просыхать. Дервиши потянулись в Джизак, в свою Каландархану. Появление их, как всегда, было шумным и веселым. Шли они с песнями, плясками, собирая вокруг себя толпы людей. Более яркого, занимательного и удивительного зрелища, чем шествие каландаров, мы, дети, не знали. Удержать нас дома в такие дни было невозможно. За калитки, в самую гущу веселых, фантастически пестро одетых каландаров устремлялись мы. Разинув рты от изумления, смеясь и пугаясь, шли мальчишки за дервишами до самого дома Дадабая. И там, пока массаживались и раскладывали свои немудреные пожитки монахи, мы разглядывали их, поражаясь и в виду этих странных людей и их словам и песням.

Особенно шумливыми и веселыми были кашгарские каландары. Их любили в Джизаке и встречали восторженно. Огромная толпа сопровождала их на улицах. Пожертвования были обильными.

И вот в тот день шли кашгарские каландары, а я лежал в комнате, всеми забытый. Мне страшно хотелось увидеть веселых дервишей. Так хотелось, что слезы на глаза накатились. С ненавистью посмотрел я на свои больные ноги — они мешали мне, обрекали на одиночество и скуку.

— Я Машраб-дервиш, и какое дело мне до всего!

— О, боже мой, правый друг, правый друг, о боже мой!

Непонятные слова доносились с улицы, но тем и привлекательнее были они, тем таинственнее. Тем требовательнее звали они меня. И я встал. Встал на свои больные ноги. Первый раз. Голова моя закружилась от непривычного положения, по телу пробежала дрожь. Но я не упал, только покачулся.

Я стоял. Я шел. Да, сделал один шаг, другой. Ноги держали меня, и боль в ступнях была робкой, едва ощутимой. Зато сердце билось громко. Так громко, что отдавалось в висках. И радость переполняла его. Новое, незнакомое чувство пришло ко мне, то самое чувство, наверное, что охватывает птицу, когда она первый раз взлетает на собственных крыльях. Страх, упоение собственной смелостью, узнавание неведомого...

Вот уже дверь. Я распахнул ее. Свежесть еще не ушедшей зимы,

пьянящие запахи весны, прилетевшие с ветром, чистое синее небо и потоки солнца — все бросилось мне навстречу, обняло, закружило меня.

— Мама!.. Мамочка!.. Ноги ходят! — закричал я испуганно и счастливо.

Матушка выскочила из коровника, увидела меня и всплеснула руками:

— Хай! Хай! Смотри не упади...

Подбежала ко мне. Обняла горячо, прижала к груди и застыла так в немом счастье.

— Не упаду, — говорил я. — Не упаду, — теперь никогда... Не болят мои ноги...

А она не отпускала меня, все прижимала и прижимала, и я чувствовал что-то горячее, отрадное, падающее на мое лицо. Она плакала, моя добрая матушка. Плакала, радуясь.

Мы забыли о каландарах. А может быть, они уже прошли. Наверное, прошли, потому что было тихо. Очень тихо и светло. Звучал только шепот матушки:

— Дитя ты мое бедное... Надежда ты моя...

### **Боже, лучше бы ты не создавал нас, бедных!**

Мои старания принесли первые горькие плоды. То, что они горькие, я узнал не сразу, надо было их вкусить прежде.

В один из весенних дней меня подозвала Хикматой-отин и сказала:

— Завтра пятница, а какой день следует за пятницей?

Вопрос был странный, но тогда, в детстве, я не знал той истины, что за странными и окольными вопросами, всегда таится опасность, поэтому смело и весело ответил:

— Суббота. — И тут же пояснил, желая показать свою осведомленность: — Четверг приводит пятницу, а суббота уводит ее.

— Молодец, — покачала головой отинбуви. — Мои труды не пропали даром, ты кое-чему выучился.

Да, если умение определить дни недели было итогом нескольких

лет учебы, то, конечно, отинбуви многого достигла.

— Так вот, — продолжала учительница, — иди домой и скажи маме, чтобы в субботу она пришла ко мне. Мы должны поговорить кой о чем.

О чем они должны говорить, меня меньше всего интересовало, главное, отинбуви отметила мои успехи и дала приятное поручение. Приятное потому, что все оставались в школе, а я отправлялся домой. Прихватив свою торбу, я со всех ног бросился за калитку.

Увы, матушку известие не обрадовало. Даже, напротив, несколько омрачило. Прежде всего, она заставила меня отдышаться и прийти в себя после такого пробега — я ведь без остановки летел домой — и затем вразумительно объяснить, что хочет учительница.

Этого я как раз не знал.

— Вы должны поговорить с ней кой о чем... Матушка насторожилась:

— Не огорчил ли ты Хикматой-отин каким-нибудь поступком?

— Нет, мамочка. Она похвалила меня, прежде чем послать за вами.

— Похвалила?!

Матушка еще более помрачнела. — Если домудла хвалит своего ученика, родителям следует призадуматься.

— Она сказала, что из меня выйдет толк.

— Вот как, — вздохнула матушка. — Дай бог, чтобы все это кончилось только похвалой... Иди поешь шавли, оставила тебе в касе.

Я взял касу и тотчас запустил в нее руку — нас, детей, не приходилось упрашивать: мы были постоянно голодны. Старательно перекладывая рис и морковь из касы в рот, я между тем обдумывал, как лучше истратить время, которое мне неожиданно подарила своим поручением отинбуви. Я уже говорил, что была весна, теплая, солнечная весна, наполненная криками птиц и шумом ветра. На Каландархане уже зеленели деревья и набирал сладость тутовник. В небе вместе с ласточками носились бумажные змеи. Наши змеи. Вот об этих змеях я и думал, торопливо опорожня касу.

С улицы уже доносились голоса:

— Ветер! Жена твоя умерла, бери кетмень и беги-и...



Так заманивали мальчишки капризный весенний ветер — он то налетал внезапно, то угасал. Угасал как раз в то время, когда ребяташки выносили свои змейки на крыши. Услышав крики, ветер должен был испугаться и броситься на поиски своей жены, и вот тут-то мы и запускали бумажных змеев.

Крики на улице не столько волновали ветер, сколько меня. Я ерзал на месте, поглядывал в окно. Мне не терпелось поскорее закончить обед и выбежать на улицу, украдкой, конечно, чтобы матушка не заметила. Но как это сделать? Покуда я обдумывал план побега, в калитке показалась голова Акила. Мой верный друг шел мне на выручку, он словно догадался, какие мысли роятся в моей голове. Прямо от калитки он готов был подать сигнал, но я вовремя приложил палец к губам и тем самым дал понять Акилу, что матушка дома и все следует делать тихо.

Акил понял меня и молча стал ждать. Каса вернулась в нишу, где ей и полагалось быть, а я пробрался в кухню, взял змей и полез через тандыр на крышу. Это было опасное дело. С тандыра легко сорваться и, главное, легко обнаружить себя. Матушка даже из сарая видит печь, поэтому надо выждать момент, когда она отвернется. Впрочем, быть опознанным не так уж страшно — ухо попадет в руку матушки, а вместе с ухом и я сам. Наказывать меня не станут, но начнут выговаривать: «Кто же в безветрие запускает змейки, или делать в доме больше нечего, или приятно смотреть, как мать одна надрывается. Пошел бы лучше собрал ветки сухие для тандыра, а еще лучше — подмел бы двор». Конечно, собирать ветки или подметать двор лучше, во всяком случае, полезнее для дома, но кто тогда будет запускать змейки?

С этой твердой мыслью я пробрался к дувалу, где стоял тандыр, оттуда на крышу. Здесь мы встретились с Акилом. И не только с Акилом. Кажется, все мальчишки махалли решили быть ближе к небу. У каждого в руках змей и моток ниток. Шумят, ждут ветра. Зовут его.

Мы тоже стали звать.

— Ветер! Ветер! Твоя жена умерла, бери кетмень и беги-и!

Но мы звали так тихо, что ветер, конечно, не услышал и не

прилетел к нам. Вы спросите, почему же надо было звать тихо, или известный всей махалле мой крикливый голос вдруг ослаб. Нет, он остался таким же. Просто его могла услышать мама, а это не входило в наши планы. Вы, наверное, заметили, что путешествие на крышу совершалось тайно, а тайна для того и существует, чтобы ее беречь. Так вот, сохраняя тайну, мы почти шёпотом заманивали ветер. Он не услышал нас, старики все глуховаты, а ветер, по нашему представлению, существует на белом свете не одну тысячу лет.

— Ветер! Твоя жена...

Не только ветер, нас даже сидящая на чердаке мышь не могла услышать.

— Давай громче, — предложил Акил.

— Хорошо сказать — громче. А кто потом будет подставлять затылок под затрещины? Твоя матушка далеко, а моя близко. Кричи сам.

— Ладно, — согласился Акил и разинул рот шире казана, в котором матушка варит плов: — Ветер! Твоя жена умерла, бери кетмень и беги-и!..

Теперь старик ветер, кажется, услышал: верхушки карагачей ожили.

—| Летит! — обрадовался я.

— Ты что?! — испугался Акил. — Что ты делаешь?

— Жду ветра.

— Зачем кричишь? Или затылок давно не чесал.

— А-а... Ладно, держи змей, а я побегу. Распустив нитку, я кинулся к другому концу крыши.

Порыв ветра подхватил бумажного змея и поднял вверх. Поднял и тут же бросил. То ли сил у него не хватило, то ли змей ему не понравился.

— Рано побежал, — сделал заключение Акил. Я рассердился:

— Не рано, просто ты плохо звал. Не услышал тебя ветер.

— Как же не услышал, если верхушки карагачей закачались. Растерялся он, узнав о смерти жены, не знает, куда бежать, — в степь или в город, на закат или на восход солнца. Сначала к нам подался, не нашел жену и полетел обратно...

— Это ты выдумал, — отверг я объяснение Акила. — Ничего такого не бывает.

— Бывает. Мне отец рассказывал... Ветер подобен человеку. Ему кричат о несчастье — он верит и спешит с кетменем к тому, кто первый окликнул его, чтоб узнать, где жена. Тронул верхушки карагачей — они зашумели, спрашивая нас. А мы ответить не можем. Вот он и начинает метаться во все стороны. Мечется и носит наши змейки.

С удивлением и интересом слушал я своего друга. Мне и в голову не приходило, что ветер, подобно нам, может горевать, испытывать утрату, совершать какие-то поступки. И главное — он верит глупым, ничего не значащим словам, которые выкрикивают мальчишки.

— Что же, он больше не вернется? — спросил я огорченно.

— Обязательно вернется. Поищет в другом месте и снова придет сюда... Смотри, карагачи опять зашумели.

И верно. Едва окрашенные зеленью ветви качнулись, стали тянуться к западу, словно их кто-то гнал туда. Летел ветер.

Я что есть духу побежал навстречу порыву. Змей тотчас взвился над крышей и набрал высоту. Моток ниток в моих руках быстро раскручивался, удаляя от меня бумажный квадрат.

Что может сравниться с радостью, охватившей меня. Будто не змей, а я поднимался в небо. Выросли крылья, расправились, и на них плыл я в синеве. Ветер бил мне в грудь, шумел, кружился, и силы мои от того множились, крепили. Уже не страшна высота, ничего не страшно, только сердце сжимается в восторге.

Сетарча, мой сетарча!

К тучкам взвейся, к тучкам!

Я летел и пел песню. Нашу незамысловатую детскую песенку. Пел где-то в небесах, далеко-далеко от земли. Настолько далеко, что не видел ни крыш, ни дувалов, ни деревьев. Все исчезло. Говорят же, обретший крылья не чувствует под собой ног. Они шагали, мои ноги, торопились, чтобы поспеть за крыльями, добрались до края крыши. Еще шаг и... я оказался в пустоте.

Наверное, меня поджидала внизу беда: падал я с высокой крыши, но судьба смилостивилась надо мной. Путь к земле преградила балка,

выступавшая над чердаком; за эту балку и зацепилась моя рубаха. Надо же было такому случиться — и балка высунулась и рубаха оказалась широкой и крепкой. Повис я над улицей.

Так я висел, словно лягушонок в клюве аиста, а внизу собирался народ. Целая толпа. И в этой толпе моя матушка. Все шумят, и больше всего она. Причитает, плачет.

Кто-то, наиболее опытный и мудрый подает совет мне:

— Не шевелись.

— Не оглядывайся.

Да я и сам боюсь шелохнуться. У меня хватает сообразительности не принимать никаких мер к собственному спасению.

— Хорошо, что рубашка твоя крепкая, — слышу я голоса из толпы. — Выдержит.

— Сейчас поднимется Мумиджан и снимет тебя. Мне все равно, кто придет на помощь, лишь бы этот момент наступил скорее. Висеть на балке, зная, что твоя жизнь зависит от старой рубахи, не так-то приятно, даже совсем неприятно. Главное, страшно.

Наконец Мумиджан взобрался на крышу. Но едва он попытался дотронуться до меня, как снизу снова послышались крики:

— погоди! Не касайся рубахи, она может лопнуть!

— Сначала поставь ноги на балку!

— Э-э! Лучше взять его снизу. Умурзак, сними свой халат, мы растянем его под чердаком...

— Надо еще кому-нибудь влезть.

Человеческая забота достойна всякой похвалы. Предусмотрительность — тоже. Чем больше мудрых советов, тем надежнее результаты действий. Однако так можно уморить спасаемого.

Не помню, сколько времени я провисел над улицей, слушая спор людей по поводу методов моего избавлений от опасности; наверное, не мало. Наступил срок все же, и я оказался на твердой земле целым и невредимым.

Матушка не знала, что со мной делать — целовать от счастья или наказывать. И тут мудрые советы помогли.

— Не бей его, Рахатой, — сказал один из стариков, которых здесь

было предостаточно. — Ему и так уже досталось.

На этот раз совет не обсуждался, и матушка приняла его. Она не стала меня наказывать, но и не расцеловала от счастья. Только заплакала. Трудно пережить такое.

Я тоже плакал. Мне было жаль змейка — ветер унес его.

...Как я уже говорил — четверг приводит пятницу, а суббота ее уводит. Так вот, когда суббота уводила пятницу, мы с матушкой пошли в школу к Хикматой-отин.

Учительница очень мило и очень долго говорила с матушкой. И потому, как улыбалась отинбуви, я понял, что беседа идет о самых приятных вещах, возможно, о моих успехах. Но матушка почему-то ушла грустная. Меня это несколько озадачило.

Дома во время разговора отца с матерью я узнал причину грусти. Оказывается, пришел день моего расставания с отинбуви. Больше она не могла держать меня в школе, где учатся девочки — шариат, этот неумолимый закон мусульман, запрещал видеть открытой девочку после определенного возраста. Такой возраст наступил. Хикматой-отин посоветовала матушке отдать меня в школу для мальчиков, то есть к мулле.

И страшно и трудно было матушке пойти на такой шаг: обучение у муллы требовало расходов, тут уж одними лепешками и рисом не отделаешься, да и мулла славился своим крутым нравом, жестоким обращением с детьми. И все же она решилась. Победило тайное и негасимое желание видеть сына образованным человеком.

Отец выслушал мать и впервые решительно возразил:

— Мулла сыт не оттого, что он грамотный. Быть прислужником в мечети не велика честь. Пусть Назир ремеслу учится — это всегда хлеб.

В словах отца был смысл. Мать не могла не согласиться с его доводами, но мечта всегда сильнее логики. Они долго спорили, до самой ночи. Матушка, кажется, сдалась на сей раз. Но утром, когда я проснулся, на большом подносе красовалась высокая стопка лепешек, только что испеченных в тандыре, а матушка сворачивала отрез полотна, припасенного для отцовского халата.

— Вставай, сынок! — сказала она мне. — Пойдем в мечеть...

Второй путь в школу был проще — я не упрявился, не плакал, не держался за калитку. Но в душе у меня все протестовало, сердце сжималось от страха и готово было, кажется, умереть. Что бы только не совершил я в ту минуту ради возвращения к прошлому. Оно теперь казалось мне прекрасным — и дом отинбуви, который мы убирали каждый вторник, и сама Хикматой-отин, усталая, неопрятная женщина, назвавшая меня когда-то козлом, но ласковая и добрая, и противная Хасият, с ее вышитым мячом, из-за которого я столько выстрадал, и все девочки, колотившие меня, ровно ласточки шкодливого кота. Все-все было прекрасным. И особенно, Адолят, кроткая, кареглазая Адолят, необъяснимо дорогое моему детскому сердцу существо...

Но прошлое, еще вчера существовавшее для меня, доступное, привычное, понятное, это прошлое уже исчезло. Исчезло навсегда. Начинался новый день моей жизни. И возникал он на пороге мечети.

Матушка проговорила обычные слова, принявшему меня под свое покровительство домулле:

— Кости наши, мясо ваше...

Их всегда говорили, эти слова, и всегда тихо, торопливо, но они многое значили. Для меня, во всяком случае. Мои кости и мою судьбу распределяли между собой родители и домулла. Матушке оставались кости — все остальное получал в полное распоряжение учитель. И вскоре я понял, что это означает на деле.

От отинбуви матушка ушла взволнованная, но радостная, от муллы — грустная и подавленная. Прощаясь со мной, она попыталась улыбнуться, но мне показалось, что губы ее кривятся, желая сдержать слезы.

Меня ввели в небольшую комнату, где сидели на корточках шестьдесят или больше мальчиков. Сидели на льняной соломе и, покачиваясь, повторяли слова. Те же самые, никому не понятные слова. Я тоже сел и тоже стал, раскачиваясь, повторять.

Одного-единственного дня достаточно человеку, желающему понять, что такое мусульманская школа. Ни один луч не коснулся ни нашего сердца, ни нашего разума. Тьма. Постоянная тьма. Она была во всем. И в словах, непонятных нам, и в системе, которую

устанавливал учитель. Она жидилась на слепом, рабском повиновении, беспрекословности, фанатизме. Делай то, что тебе говорят, повторяй то, что произносят, верь, во что верует другой.

Авторитетом, поводом, диктатором являлся учитель — мулла Миртажанг. Его так называли ученики за вспыльчивость и злость. Само имя говорило об отношении воспитанников к своему воспитателю. Услышав прозвище, я сразу же почувствовал страх. Страх перед чем-то неотвратимым, необъяснимым. Существовал человек, поступки которого определялись неведомыми мне побуждениями, и во власть этого человека я отдан, десятилетний мальчишка.

Первое желание — быть незамеченным, невидимым. Спрятать себя за спинами других. Еще не попав на глаза мулле Миртажангу, я испытываю их магическую силу и их пепеляющий огонь. А огня в самом деле нет. Он мерещится нам. Мерещится с того дня, как мы переступаем порог мечети и становимся учениками.

Мне не удалось остаться незамеченным, ведь я был новичок и к тому же невелик возрастом и ростом. Ибрагим-халфа, помощник домоллы, посадил меня в одном из ближних к учителю рядов. И я увидел немолодого, сухого и нервного человека. Какое у домоллы было лицо, я уже не помню, но беленькая жиденькая бородка запечатлелась в памяти навсегда. До того жиденькая, что можно было сосчитать волоски до одного. Эту свою бородку мулла Миртажанг поглаживал почти постоянно, и по тому, как он поглаживал, мы узнавали настроение учителя. То рука двигалась медленно, раздумчиво — Миртажанг к чему-то готовился, чего-то ждал; то останавливалась — он принимал решение или прислушивался к звукам в задних рядах, и тогда мы замирали. Волнение муллы передавалось быстрыми нервными скольжениями пальцев сверху вниз — назревала гроза. Самым опасным для нас были рывки: рука то двигалась, то замирала, то снова двигалась. Миртажанг терял в такие мгновения контроль над своими чувствами, и они бушевали ураганом. При истязании учеников мулла держал бородку обеими руками и мял ее.

И это все. Наверное, он был обыкновенным человеком, к тому же бедным человеком, таким, как Хикматой-отин. Правду говорил отец

— мулла сыт не оттого, что грамотен, — его кормят люди, и для того, чтобы заставить их делать это, он должен постоянно тянуть, вынуждать, угрожать, мучить, обманывать. Ремесло нахлебника сделало муллу Миртажанга алчным, бесстыдным, злым. Сделало нашим мучителем.

Тогда, мальчишкой, я не понимал учителя. Не понимал, почему он бывает спокоен, взволнован, лъстив, добр, шумлив, зол, жесток. Можно было прекрасно знать урок, красиво декламировать, низко кланяться и все-таки вызвать немилость Миртажанга. И наоборот, ничего не знать, путать слова, едва сгибать спину при приветствии и заслужить улыбку и даже похвалу муллы.

Он был высокомерен, но гордости настоящей мы в нем не замечали. Небольшая подачка заставляла муллу забывать о своем положении и своей роли учителя. Перед детьми богатеев он унижался, лъстил им. Все видели это и презирали в душе домуллу.

Когда он вызывал байского сынка и требовал от него повторения урока, тот обычно закатывал глаза к небу, будто вспоминал заданное, а руку в это время отправлял в карман, начинал там старательно шарить. Мулла настораживался. Все внимание его сосредоточивалось на кармане ученика. Он забывал о своей несчастной бородке и принимался тереть ладони. Приговаривал при этом:

— Неспроста у меня руки чешутся. Неспроста, как ты думаешь, байбача?

Байбача продолжал шарить в карманах, разжигая этим и без того неутолимый аппетит домуллы. Мы догадывались, что байский сынок нарочно затягивает время, желая позабавиться унижением учителя. Всем весело и в то же время стыдно смотреть на эту сцену, но никому не жалко старого человека. Он слишком алчен и слишком жесток. Если бы мы могли засмеяться, громко, уничтожающе, отомстить своему мучителю! Но никто не допускает даже мысли такой. Простая улыбка способна взбесить Миртажанга, превратить его за одно мгновение в беспощадного истязателя. И мы молчим, лица наши окаменело безучастны, лишь глаза смеются и торжествуют.

Не торопясь байбача вытаскивает руку из кармана. Это высшее напряжение — мулла принимается целовать собственные ладони,



потирает ими глаза и брови. Он весь в волнении, весь дрожит, и когда деньги — какая-нибудь мелкая монета — возникают перед ним, он хватается, вернее, клюет их, как хищная птица, и на лице его тотчас появляется блаженное выражение. Не стесняясь детей, поворачивается к байбаче и начинает молиться. Молиться за него, за его отца и мать, за дедов и прадедов. Голос старика исполнен нежности и благодарности, он обращен к богу. И бог должен ниспослать всевозможные блага, жизнь и здоровье байбаче, счастье его дому только за то, что этот шалопай дал домулле десять или пятнадцать копеек.

Как мелок, как глуп должен быть бог, если дарит блага по такой низкой цене, награждает ничтожного. Мулла не думал, возможно, даже не подозревал о великом вреде, наносимом делу, которому служил. Могли ли мы после этого верить в справедливость, во что-то светлое и возвышенное.

Собственного унижения Миртажангу казалось недостаточно — он призывал нас молиться за байбачу и его родителей, молиться за те же несчастные десять копеек, попавшие в мошну домуллы.

И это еще не было концом унижения. Миртажанг, совершив омовение, обращался к Ибрагим-халфа:

— Скажите ученикам, чтобы они брали пример с байбачи. Пусть дойдет до них мудрая истина — лучше один раз накормить, чем тысячу раз обещать...

Об уроке домулла забывал. Уплатив гривенник, байбача мог спокойно сидеть и наслаждаться всеобщим вниманием. В глазах его светилось презрение к окружающим. Он знал, что его уже не спросят сегодня.

Нам тоже не хотелось отвечать, не хотелось получать подзатыльники И оплеухи. Не хотелось слышать брань домуллы. Но у нас не было в карманах серебра. Даже меди не было. Поэтому мы донимали родителей бесконечными просьбами умиловить Миртажанга какой-либо подачкой.

— Вай! — хваталась матушка за голову. — Да где же я возьму деньги. Бог видит, мы едва сводим концы с концами. Уж лучше ты задобри домуллу трудолюбием и старанием.

— Все стараются, — отвечал я, — но домулла не добреет.

Мать вздыхала, пекла лепешки или собирала урюк и несла в мечеть. Так поступали многие. Однако Миртажанг смотрел на лепешки, как ворон на траву, губы его брезгливо кривились и нехотя произносили молитву. Даже подносы с жавзакки — скороспелым урюком, с молодыми огурцами, ветви черешни, усыпанные янтарными плодами, не вызывали восторга муллы. Он всегда приподнимал ветви и смотрел на дно подноса — нет ли там монеты.

Без приношений находиться в школе вообще нельзя было. Каждые две недели с учеников взималась плата за циновку — плетенный из камыша коврик, каждые три месяца плата за палас. Ни циновок, ни паласов мы не видели — сидели весь год на перетертой льняной соломе. Переход к новому уроку тоже сопровождался платой. Домулла не разрешал перелистывать страницу учебника, пока родители не сделают приношения. Мальчик мог наизусть выучить главу из корана и сидеть на ней еще месяц, если событие это не было отмечено подарком. Более важные рубежи в учении требовали соответственно и более солидных подарков. Например, переход от «Хафтияка» к «Корану» или от «Чор-китоба» к «Мухтасару» сопровождался угощением не только муллы, но и его главного помощника. Кроме того, Миртажангу преподносили одежду и обувь.

Я до сих пор не нахожу объяснения той жестокой форме воспитания, которая царила в старой мусульманской школе. Неужели при подобных взаимоотношениях между учителем и учениками могли зародиться высокие мысли, светлые побуждения, благородные желания? Человек формируется на примерах, а пример домуллы был страшен. Никому, никому из нас не хотелось быть на него похожим. Поступки его вызывали отвращение, жадность — насмешки. И сам облик нашего наставника никак не соответствовал той роли, которую он должен был выполнять. Всегда хмурый, настороженный, недовольный. К нему и подойти-то с добрым, душевным словом невозможно, не говоря уже об искренности и доверии, которые естественны между воспитателем и учеником.

Он знал, что мы не любим его. И чтобы влиять на нас, вселял в каждого страх. Страх, поражающий волю, испепеляющий душу.

Почти каждый день на наших глазах совершались избиения, пытки. В комнате, у стены, на видном месте, лежали орудия истязания, специально изготовленные для этой страшной цели. Достаточно упомянуть хотя бы доску с отверстиями для ног, в которую зажимали провинившегося. Или перекладину на потолке. На ней вздергивали ученика, и так он висел вниз головой часами. Нет, это не на площади перед ханским дворцом, где совершались казни, — в школе. Связка свежих прутьев всегда красовалась в углу, и я не помню случая, чтобы ее не израсходовали.

Страх перед домуллой доходил до того, что некоторые ученики теряли контроль над собой, бились в истерике, впадали в беспамятство. Миртажангу казалось это естественным, и он не только не ослаблял своей системы, но, напротив, постепенно усиливал ее с помощью разнообразных средств физического воздействия. Он любил повторять:

— Палка способна даже из свиньи сделать муллу.

Кого он собирался сделать из нас? Если мулл, то никого этот сан не прельщал. Во всяком случае, я не слышал от своих одноклассников одобрительных слов в адрес священнослужителей. Вряд ли кто мечтал после нашего мактаба пойти учиться в медресе. Однако это не мешало Миртажангу привлекать нас время от времени к выполнению различных обязанностей при совершении религиозных обрядов. Прежде всего, мы ежедневно присутствовали при богослужении в мечети. Когда в махалле оказывался тяжелобольной и его надо было подготовить ко встрече с богом, вызывали нашего домуллу. Он брал себе в помощь нескольких учеников. Читать сорок раз подряд длинную-предлинную суру «Есин» было нелегко, и эту работу Миртажанг перекладывал на своих учеников. Сам он сидел рядом и с важным видом поглаживал бороденку. Верно говорят: «Тот, кто привык ездить верхом, и муху оседляет». Домулла оседлывал всех.

Правда, были и такие, которых оседлать не удавалось. Они или сбрасывали Миртажанга или просто давали понять, что им это не по нутру. С ними старик расправлялся самым бесчеловечным образом.

Были у нас два ученика — братья Сидик и Хамид. Не знаю, зачем им понадобилась школа. Видимо, родители, по примеру моей

матушки, решили сделать из сыновей образованных людей. Бедняки несли Миртажангу последние гроши в надежде, что когда-то их жертва воздастся сторицей. Наивные мечтатели! Гроши, всегда гроши, и домулла, умевший отличать медь от серебра и серебро от золота, сразу оценивал приношения по их достоинству. Лепешки и урюк его, как известно, не радовали. К тому же эти самые лепешки слишком редко появлялись перед жадными глазами Миртажанга. Постепенно домулла проникся лютой ненавистью к бедным братьям. Он терзал их придирами, лупил палкой, плевал им в лицо. Он хотел показать нам всем, насколько жалок и слаб человек, лишенный достатка. Он требовал от братьев унижительных слов раскаяния в несовершенных проступках, мольбы, слез и этим вознаграждал себя за просчет — ведь бедный ученик подобен нахлебнику.

Братья не раскаивались, не вымаливали прощения, не целовали со слезами полу халата домуллы. Он чернел от злости, глаза его суживались до того, что казались крошечными точками, двумя красными угольками и впивались огнем в братьев. Особенно твердым был старший — Хамид. Все побои и оскорбления переносил молча.

Однажды домулла поставил Хамида перед собой и стал наносить ему удары палкой. Толстая деревянная палица опускалась то на плечи, то на живот, то на спину, то на голову мальчика. Он принимал удары и лишь вздрагивал, но ни один звук не срывался с губ его.

Видя, что «палка воспитания» не действует на мальчика, домулла приказал самому высокому и сильному ученику снять с Хамида халат, оседлать непокорного и связать руки. А сам взял свежие прутья черешни и принялся хлестать Хамида по голой спине.

Это было страшное зрелище. Мы должны были наблюдать его, не прерывая чтения, не замедляя и не убыстряя течения стиха.

Ибрагим-халфа, привыкший за долгое время ко всему, все же не выдержал. Закричал Хамиду:

— Попроси же извинения, проклятое отродье! Попроси!

Но Хамид молчал. Ведь ему не за что было просить прощения: он ничего не совершал плохого. Так молча и упал на пол. Без чувств.

Был еще один несгибаемый среди нас. Тоже бедняк, впрочем подчеркивать это не следует: домулла боролся только с босоногими,

как звали детей неимущих родителей. Имя его было Сафар. А звали его ребята Сафар-чиканак за маленький рост, за ловкость и прожорство. В школе он был самым смышленным и памятьливым. Новый урок он выучивал мгновенно и тем поражал нас. Для домуллы эти способности Сафара-чиканака никакого значения не имели, наоборот, они раздражали Миртажанга, ему вовсе не хотелось ставить босоногого в пример байбачам.

Сафар торопился выучить урок, чтобы перейти к следующему, но, как вы знаете, всякая ступенька требовала приношения. А приношений домулла не видел. Больше того, намеки учителя проходили мимо ушей неразумных родителей Сафара.

Каждую неделю Сафар донимал отца:

— Подарите несколько таньга домулле.

Файзи-ака, отец Сафара, существовал тем, что шил из старых кошм подушки для седел и потники. Это давало возможность кормить семью, которая была немаленькой. Но только кормить, о лишней рубахе или паре кавуш не могло быть и речи. Так и отвечал сыну Файзи-ака:

— Молись богу, что сыт сегодня. Таньга, которые ты просишь для домуллы, понадобятся завтра для твоей лепешки.

По этой причине Сафара-чиканака постигла судьба братьев Сидика и Хамида. Миртажанг долго накапливал злость против босоногого. Мелкие наказания, как и маленькие глотки, не утоляют жажды. Она, кажется, от этого усиливается. Однажды во время молитвы кто-то пощекотал пятки байбаче. Тот зашумел и тем нарушил церемонию. Домулла сразу же обвинил во всем Сафара-чиканака. На этот раз Миртажанг должен был утолить свою жажду полностью. Он приказал связать мальчику руки и ноги, затем перочинным ножом надрезал пятки и набил надрезы солью. От боли Сафар закричал страшным голосом. Мы все замерли. Ничего подобного я еще не видел. У меня сердце похолодело от жалости и на глазах выступили слезы. Но Миртажангу этого показалось недостаточно. Он велел надеть на мальчика фалак — приспособление для скручивания ног, и крутить до тех пор, пока кожа не станет гореть. Он стонал, задышался от боли. Домуллу это не трогало.

— Под потолок его! — прошипел Миртажанг. И Сафара-чиканак за ноги подвесили к балке.

На наших глазах лицо Сафара стало синеть, глаза сделались огромными и, казалось, выкатывались из орбит. Он уже не кричал, не стонал, даже не дышал.

«Сафар умрет», — в страхе подумал я и заплакал. Плакали и другие ученики. Лица у нас были мокрые, губы дрожали, но никто не посмел защитить товарища, стыдно признаться, но воля наша была парализована, и мы, как бессловесные существа, молча глядели на пытку. Теперь я понимаю, насколько велик был страх перед домуллой, насколько глубоко проник в нас принцип непротivления, что даже чудовищный поступок Миртажанга не вызвал бунта.

Сафар-чиканак умирал. Бесчувственное тело его медленно вращалось, и это чем-то напоминало труп птицы, повисшей на ветке. И все-таки нашелся среди нас смелый. Все тот же Ибрагим-халфа. Правда, его смелость объяснялась особым положением юноши — он был помощником домуллы и пользовался некоторыми правами.

— Таксыр, простите Сафару его грех, — произнес он жалостливо. — Этот грех совершил я, а не Сафар... Простите, таксыр... Ребята, — обратился халфа к нам, — поклонитесь за Сафара нашему господину, попросите прощения. Никогда не повторится подобное, мальчик принесет подарок и будет нем и прилежен. Обещайте господину!

— Обещаем! — ответили мы хором.

— Обещайте подарок!

— Обещаем!

Домулла еще некоторое время смотрел на висящего вниз головой Сафара, словно раздумывал, как ему поступить. Потом поднялся и сказал недовольно:

— Снимите проклятого.

И чтобы не присутствовать при хлопотах и не слышать слов сострадания, вышел из комнаты.

Халфа расслабил веревки, и тело Сафара медленно опустилось на пол. Мальчик все еще был без чувств. С ног его стекала каплями кровь.

Мы, затаив дыхание, ждали воскрешения Сафара. Двери были открыты, и халфа помахивал над лицом мальчика полой халата. Никогда минуты и секунды не тянулись так мучительно медленно, никогда не испытывал я такого страстного желания увидеть открытые глаза Сафара-чиканака — живые глаза! Они открылись. Но были усталые и печальные. Он пережил слишком много для мальчишки, и не только для мальчишки. Не всякий взрослый вынесет подобную пытку.

Самое поразительное в этой истории — это отношение родителей Сафара к случившемуся. Ни отец, ни мать не упрекнули домуллу за столь жестокое обращение с их сыном.

— Господин, вы поступили благоразумно, — сказала бедная женщина, придя на другой день в мечеть. — От палки мальчик не умрет, а станет умнее. Мясо ваше, кости наши, таков был уговор, и мы не нарушим его. Только не изгоняйте его из храма, не лишайте нас надежды. Если он выучится чему-нибудь здесь, бог отблагодарит вас. И мы по бедности сделаем, что сможем...

— По бедности, — скривил рот Миртажанг. — По бедности отдайте своего непутевого сына в учение к сапожнику или гончару. Почему из сорной травы хотят вырастить образованного человека, открыть ему ворота истины. Из всех шестидесяти моих послушников лишь двое или трое достойны этого. Достойны потому, что их родители могут отблагодарить пастыря за непосильный труд, который он вкладывает, просвещая их чадо. За молитву, за одни добрые слова, кто станет нести это бремя. Я сам не богат. И у меня семья, и у меня заботы...

Мать Сафара, худая, усталая Хушруй-хола, ухватилась за эти слова домуллы:

— Знаю, что не богаты, оттого и пришла к вам. Разве богатый поймет нас? Кому нужны мы со своими несчастьями? Протяните руку бедному, помогите войти в ворота истины.

— Глупая ты женщина, — сказал раздраженно домулла. — Просишь о том, что самим богом тебе не дано. Подумай лучше, как найти мальчишке ремесло по силам...

Он повернулся и, бросив торопливо: «У меня время намаза», —

зашагал прочь.

— Уходите?! — со слезами крикнула Хушруй-хола. — Верно говорят — беги от голодного! Мы не нужны вам, у нас пустые карманы, худые чаши. Хорошо, знайте только богатых... Знайте!

В отчаянии она откинула за голову сетку паранджи, обнажила лицо. Может быть, ей хотелось, чтобы Миртажанг видел ее гневные глаза. А он бежал. Да, поспешно одолевал те несколько десятков шагов, которые отделяли центр двора от калитки. Не знаю, слышал ли домумлла последние ее слова, обращенные ко всевышнему:

— О боже, лучше бы ты не создавал нас, бедных!

Страшные слова. Наверное, они повторялись часто близкими мне людьми. Повторялись, но не западали в сердце. А эти запали, сказанные немощной, седой женщиной, матерью несчастного Сафара-чиканака.

Тогда и позже я задумывался над ними: зачем, зачем мы бедные стремимся к знаниям? Зачем матушке моей — образованный сын? Ведь в ворота истины пройти так трудно, почти невозможно.

Невозможно... Во всяком случае, в те ворота, ключи от которых находились в руках домумллы Миртажанга.

### **Святая пятница**

Ничему не научился я в мечети у Миртажанга. Может, только чужим словам, скрытым от меня тайной. Истина оставалась недоступной, и ворота к ней не растворялись, несмотря на мои старания, на подношения матери. Она, бедная, отрывала от семьи последнее, чтобы утолить жадность домумллы.

Я познавал истину без книг. Говорят же, идущий одолевает дорогу. Еще не ведая по малости лет, что иду вперед, я уже двигался тропой, именуемой жизнью. Она была куда сложнее уроков Миртажанга и, главное, куда интереснее. Необычное, яркое привлекало детский глаз. Ярким было шествие каландаров, оно когда-то заставило меня подняться на ноги после болезни. Такую же роль сыграли и «гап-гаштаки» — праздничные пирушки молодых, проводимые по пятницам в каждой махалле.



В преддверии богу угодного дня был еще один впечатляющий день — четверг, с которого я, как помнит читатель, начал свое повествование. И начал именно потому, что для города нашего четверг был базарным днем.

Кто знает Восток, кому хоть раз удалось глянуть на его пестрый ковер красок, тот не может не восхититься самым ярким рисунком в этом ковре — восточным базаром. Что говорить, базар — это частица Востока. Но видеть его издали, значит, испытать лишь одно из тысячи удовольствий. Надо войти в него, окунуться в звуки и краски, раствориться в толпе, представляющей вторую половину прелести и яркости базара, вот тогда можно понять и оценить сказанное мною. В четверг на базаре бывал весь Джизак. На гудящую, словно улей, площадь спешили и молодые и старые, и худые и толстые, веселые и хмурые, спешили независимо от того, была ли у них в этом надобность или нет. Кто хотел купить, кто продать, а кто просто потолкаться, как говорят, себя показать и на других посмотреть. И прежде всего, узнать новости, подивиться неожиданному и необыкновенному — где еще увидишь столько диковинного, где услышишь столько поражающих воображение рассказов. Базар теплел с утра, разгорался в полдень, затухал к вечеру. И в каждый час дня пламя его было особенным — то туманным, то ясным, то горячим, то прохладным. И голос звучал на все лады: базар умел шептать, петь, греметь, замирать... С рассвета, а то и с вечера, стекались в Джизак караваны и караванчики, звенели колокольца верблюдов, скрипели арбы, стучали копытами ишаки — и все грузенное, все переполненное, все гнется под непосильной тяжестью. Казалось, не только базарная площадь, весь Джизак не смог бы вместить того, что стекалось сюда ручьями и ручейками. А она вмещала. Лишь набухала, будто озеро в половодье, переполнялась, бурлила, готовая выплеснуться через край.

Да может ли что сравниться с предпраздничным базаром? Здесь соединялись людские интересы, решались судьбы, здесь разорялись, богатели, выигрывали и проигрывали. Один продавал лошадь и покупал ишака, потому что намеревался выйти из затруднительного положения, другой сбывал быка и приобретал телку, по той же

причине. Зерно менялось на халат, сало на кавуши, птица на пояс или серп. Крестьяне хотели одеться и обуться, ремесленники — запастись рисом и хлебом на неделю. И все торговались, и все спорили, боясь отдать больше, а получить меньше. При этом жарком до пота споре присутствовали обязательно те, кто ничего не продавал и ничего не покупал, кому не было никакой выгоды и никакого урона от торговли, но они тоже мучились, тоже потели, страдая за других. И всем, как считалось в городе, базар проветривал голову, освобождал перед праздником от забот, чтобы они снова в субботу могли неумоимо раскачивать колыбель жития, идти дальше дорогой, уготованной всевышним.

С тех пор, как я стал посещать мактаб, то есть школу при мечети, базар удалился от меня. Возвращаясь с занятий, мы лишь издали внимали шумам и запахам площади, видели облако пыли, висящее над ней. Для нас базар был теперь только преддверием пятницы, свободного дня, когда мы, отупевшие от зубрежки и угроз наказания, могли, наконец, отдохнуть, предаться своим детским забавам. С каким остервенением, придя домой, я отбрасывал свою торбу с книжками, как вздыхал облегченно! Свобода! Свобода... Мы лезли на крышу, на деревья, бежали в Каландархану. Бежали без цели, без каких-либо намерений осуществить что-то заранее обдуманное, лишь почувствовать себя вольно, видеть улицу, слышать ее. А уж там сама улица подарит нам интересное и удивительное.

И все же четверг с его базаром не был главным в наших радостях. Мы ждали пятницы. Подобно бесштаннику, грезящему о двух кусках бязи, я частенько видел во сне этот день — вольный, наполненный удовольствиями, как летний сад плодами. И плоды были доступными, хотя и не всегда полезными нам, мальчишкам. Впрочем, тогда мы этого не понимали. Мы просто тянулись к ним, потому что они были яркими.

Я возвращаюсь к сказанному выше, к «гап-гаштакам». Мужские пирушки устраивались в каждой махалле, а махаллей в Джизаке было несколько, и все по-своему особенные, примечательные. Об этом тоже следует поведать читателю, тем более, что он, видимо, не был в старом Джизаке, а если и был, то мог запомнить — время-то

утекло, а что утекает, то, как известно, обратно в касу не вольешь. Старого Джизака нет, есть новый Джизак. Так вот, в городе насчитывалось несколько махаллей, и отличались они друг от друга, как дети одного отца: вроде похожи, а разные, и не только лицом, но и характером. Больше — характером, склонностями. Ну, а о махалле и говорить нечего. Тут все определялось отношением жителей к делу — кто чем занимался, тот там и ставил свой дом. Например, махалли «Джизакская» и «Савунгарлик» приютили у себя мыловаров и кожевников. Над дворами здесь всегда плыл запах мыла. В больших чугунных котлах кустари выпаривали масло, смешанное с какими-то едкими кореньями и солями. И пока шло это вываривание — а оно не прекращалось до самой пятницы, — можно было вдоволь насытиться душистыми запахами серого мыла. Из-за мыла махалля и получила свое название «Савунгарлик», что означало — «Мыловарщики».

В «Джизакской» махалле пахло более приятно, для меня, например, — дубленой кожей. Приятно потому, что с этим запахом было связано представление о новеньких скрипящих сапогах, ремнях, уздечках, седлах. Мыло и кожа шли на базар, с базара — в кишлаки всего уезда, давали жить чорбазарчи, банщикам, шорникам, сапожникам.

Наш дом стоял на стыке других двух махаллей «Уратепе» и «Рават». Здесь не варили мыло и не дубили кожу, никаких ароматов дворы не источали. Зато слышался стук молотков, позвякивание железа и визг пил. В наших махаллях жили чеканщики по меди и серебру, ювелиры, кузнецы, ткачи, пекари. Все мастера, умельцы, прославлявшие Джизак своим искусством. Ну и, конечно, торговцы — и крупные и мелкие, содержатели магазинов и целых торговых рядов, владельцы лавок и лавчонок, просто лотков или еще меньше — хурджунов, то есть переметных сум, в которых хранился весь товар чорбазарчи. Жили здесь еще цирюльники, пекари, мясники — базар давал возможность применять свои склонности людям самых различных профессий. Базар порождал своих знаменитостей, и слава их порой переходила черту города. Те, кто хорошо улавливал пульс торговли, умел предугадать спрос, именовались «бозор пичоги» — ножами базара. Их мнение было законом для остальных торговцев.

Чаше всего такими «ножами базара» оказывались ташкентцы. Никто не мог сравниться с ними в деле купли и продажи. Центральные ряды рынка, как и центральные улицы города, принадлежали им. Впрочем, это легко можно объяснить, объяснить простой логикой коммерции. Джизак, как и другие города Туркестана, был пунктом проникновения столичных торговых фирм, и сюда стекались маклеры, скупщики и распространители товаров. Сюда же перебрасывали и опытных мастеров, которые должны были обслуживать фирмы. Мы этого не знали тогда и считали, что сама причастность к Ташкенту делает их опытными и знающими людьми. «Бозор пичоги» старались не ронять своего достоинства, и когда в пятницу выходили на улицу, то весь Джизак видел их нарядные халаты, их чалмы и бельбаги, вытканые лучшими мастерами. Они шагали степенно, заложив руки за спину, а мы, мальчишки, робко поглядывали на них из-за калиток и дувалов.

Да, пятница была удивительным днем. Все и всё преображалось. Улицы становились торжественными. То там, то здесь вдруг вспыхивал, как гром, перебор дойры или тихой птицей запевал нежный най, крикливо будоражил город задиристый сурнай или шептал едва слышно свою сказку шелкострунный дутар.

Центрами веселья становились чайханы. А в каждой махалле их было несколько десятков, или, как говорили тогда, — без счета. Верно, на базаре, вокруг базара, на каждом перекрестке, у каждого арька стояла чайхана, затененная талом или карагачем, устланная паласами, украшенная огромным самоваром и почти всегда дымящим котлом. Летом и осенью под сводами террасы выкрикивал свое «питьпильдык» неугомонный перепел. И всегда — в любое время года — звенели пиалы.

В чайханах, а чаще в михманханах больших домов, по пятницам проводились «гап-гаштаки». Проводились традиционно, с соблюдением правил и церемоний. Традицию сохраняла та группа мужчин, которая объединяла вокруг себя сверстников. Возраст был главным при решении вопроса — принять в компанию нового весельчака или нет. От двадцати до двадцати пяти лет — составляли первый круг, от двадцати пяти до сорока второй, от сорока и старше — третий. По усам и бородам можно было определить круг «гап-

гаштака». В группу входило до сорока человек, она и занимала михманхану на пятницу, веселилась здесь весь вечер. Новый, вступающий в круг, брал на себя обязательство арендовать михманхану на одну из недель года или, как говорили, признать себя должником. Принимали, конечно, не только по возрасту, но и по положению. Руководствовались принципом: ровня с ровней, а кизяк, то есть сухой навоз, с мешком. Уж если решил веселиться, то выбирай себе подобных. Богатые и дети богатых имели свою компанию, торговцы якшались с торговцами, ремесленники с ремесленниками, и даже среди ремесленников группы делились на состоятельных и несостоятельных.

Оба мои брата — Касым и Насыр — были кузнецами, но состояли в разных группах «гап-гаштака». И потому в разных, что один слыл бездумным гулякой, а другой степенным, уважаемым всеми человеком; один мало заботился о деле — другой жил работой, отдавал ей силы и душу. У Насыра были веселые руки — он играл на дойре и дутаре, а у Касыма — «искусные руки». Его так и звали: Касым-фаранг — искусный Касым. И еще величали аксакалом — белобородым, хотя борода у него была черная и лет минуло всего-навсего тридцать. Аксакал — это ум, мудрость, знание жизни, умение видеть истину.

Касым учил меня, когда я был совсем маленьким, делать бумажных змеев и запускать их против ветра, строить клетки для птиц, разжигать тандыр, а у Насыра я перенял интерес к веселым играм и песням. Насколько я помню, он всегда держал в руках или дутар, или бубен.

Компания Насыра была веселее, куда веселее, чем у Касыма. Там все предавались развлечениям с какой-то безумной радостью. Мне казалось, и головы у них кружатся, и сердца горят.

Почему мне казалось, что головы у них кружатся и сердца горят? Да потому, что собственными глазами видел их веселье. Я смотрел на друзей Насыра, как когда-то на шествие дервишей по аллеям Каландарханы. Было что-то заразительно яркое в «гап-гаштаке».

Как я попал туда, десятилетний мальчишка? О, мы с Акилом умели пробираться незамеченными в михманхану, где развлекались

молодые парни. И именно в ту михманхану, где был мой брат Насыр, где звучала его дойра. И звук ее мы узнавали безошибочно. Словно рассыпался сухой горох по листу жести и гремел на все лады, то падал, то отскакивал, то перекатывался. Только пальцы Насыра, мелькавшие в воздухе тысячами быстрых крыльев, способны были извлекать такие ликующие трели из обыкновенного бубна.

Подбираясь осторожно к михманхане, я уже представлял себе, как Насыр, склонясь над раскаленной мангалкой, греет дойру, стараясь довести кожу до такой упругости и звонкости, чтобы первое, даже легкое, прикосновение пальцев, вызвало раскаты грома. И верно, когда я достигал цели и, устроившись тихо за каким-нибудь косяком или столбом, бросал взгляд на середину круга, то заставлял своего брата именно за этим занятием — он готовил дойру к началу праздника.

На него смотрел не только я, все в чайхане следили за чародейством Насыра, будто огонь мангалки решал судьбу предстоящей вечеринки. Что ж, наверное, так и было. Еще шестнадцатилетним парнем Насыр прославился в махалле как самый искусный дойрист, как незаменимый участник любого праздника. Во всяком случае, свадьбы без него бывали бесцветными, и чтобы избежать скуки, жених и будущий тесть старались заранее получить согласие Насыра прийти на праздник. Много раз я слышал похвалу в адрес своего брата. И похвалу не простую. «В руках Насыра дойра обретает дар речи», — говорили одни. «А его дутар! — восхищались другие. — Стоит ему заиграть „Рахат“, как все живое на земле пускается в пляс». Иногда похвала окрашивалась поэтическими красками. «Что способен сделать человек, награжденный богом высоким искусством! Когда Насыр исполняет „Жаворонка“, на струны садится соловей и подпевает ему...»

Меня иногда спрашивали старшие:

— Назиркул, ты будешь таким же весельчаком и дойристом, как Насыр?

Я любил брата и восхищался его игрой. Глаза мои загорались, когда начиналось веселье и в середину круга входил с бубном в руках Насыр. Все подчинялось его колдовскому искусству, все замирало от

восторга — люди отдавали себя во власть Насыра. И сам он отдавал себя без остатка звукам, рожденным дойрой. Лицо его принимало какое-то фантастическое выражение, глаза туманились, словно он вместе со звуками дойры или дутара, вместе с песней удалялся куда-то в бесконечность. Так он играл, так бросал кости, так смотрел на состязания перепелов — весь целиком отдавался страсти. Это пугало меня...

И когда спрашивали старшие, каким я буду, таким, как Насыр, или таким, как Касым, я вспоминал все и отвечал:

— Таким, как Касым-фаранг...

Они смеялись. Но смеялись почему-то не осуждающе, а одобрительно, даже с завистью, словно им тоже хотелось походить на моего старшего брата, искусного Касыма, а не на весельчака Насыра...

— Ишь ты, — говорили они. — Неплохо решил. Касым — хороший парень. Золотые руки и мудрая голова у Касыма. Касым — Человек!

После этих слов мне становилось жаль Насыра — ведь он всех веселил, всем доставлял радость. Почему же никто не хочет быть похожим на Насыра! Даже я — его брат.

Позже я понял это. Жизнь людей проходила в труде, и труде нелегком. Порой мучительном. Тот, кто каждый день от зари до зари гнул спину, кому кусок хлеба давался в поте лица, тот ценил дар умельца. Золотые руки, прежде всего, нужны в деле — у наковальни и горна, у котла с мылом, у дубильного чана, а потом уже в праздничном кругу. Между прочим, Касым-фаранг являлся «джура-баши» в своей компании, то есть старшим на «гап-гаштаке». К его советам прислушивались, слово Касыма-ака было решающим, И в поведении и в одежде первенство принадлежало ему. Насыра тоже любили, тоже хвалили, но никто не избирал его «джура-баши». Одного умения владеть дойрой или безошибочно делать ставку на перепела-победителя было недостаточно для назначения на столь почетную должность в своем кругу.

И всё же Насыра любили. На него смотрели с восхищением, от него ждали веселья, удовольствий. И я ждал. Мне особенно

запомнился вечер в постоялом дворе, где обычно останавливались на отдых и ночлег приезжие. Большая комната, чисто оштукатуренная, с глубокими нишами в стенах, могла вместить сразу человек сорок, иначе говоря всю компанию. Гости располагались кругом на полу, устланном свежей соломой и покрытом огромным казахским ковром. Сверху еще набрасывали курпачи — небольшие ватные одеяльца. В центре стояла чугунная мангалка, обогревавшая зимой комнату. Мангалку зажигали до прихода гостей, и когда начинался праздник в складчину, она, раскаленная докрасна, полыхала жаром. Над этой самой мангалкой и грел бубен Насыр.

Одевался на эти вечера брат ярко, пестро. Голова повязана платком с узорами, правый рукав халата засучен до локтя, тонкая сильная кисть обнажена и свободно движется над огнем. Шелковый поясной платок — бельбаг — охватывает бедра и чуть спущен — это признак изысканности, особого шика. Сам Насыр с черными стрелками усов над чуть приподнятой губой, с загадочно сосредоточенным лицом кажется необыкновенно красивым, он собран, напряжен, и каждое движение его, как у серны, строгое, пластичное, гибкое.

Дома он бывал не таким. Дома он бывал обычным — молчаливым, скучным, злым. И некрасивым. Но лишь загорался в чайхане или михманхане керосиновый фонарь под потолком, обливая все вокруг голубым светом, как Насыр преображался. И лицо, и руки становились необыкновенными, от них нельзя было оторвать глаз.

Пока Насыр настраивал над огнем дойру, старший компании Курбанбай-палван, огромный детина с добродушным лицом, рассаживал гостей. Это был единственный человек здесь, который к моему любопытству относился без раздражения. Он даже поощрял меня, разрешая из-за укрытия перебираться в угол комнаты или на нишу и оттуда спокойно наблюдать за всем, что происходило на вечеринке. Его-то взгляд я и ловил, высовывая голову и поднимаясь на цыпочки. Тщетно поднимаясь: Курбан-палван меня не замечал — был слишком занят гостями.

Беспокойство охватило меня: а что, если Курбанбай так и не повернется в мою сторону. Рассадит гостей, станет спиной к двери,



снимет бельбаг, скрутит его, даёт этим сигнал к началу пира. А я? Что будет со мной? Слезы отчаяния готовы были хлынуть из моих, глаз. Вы помните, как легко я прибежал к их помощи в трудную минуту.

Но меня вовремя заметили. Правда, не Курбанбай, а мой братец Насыр.

— А ну, живо домой!

Теперь слезы действительно хлынули из моих глаз. Последнее, что я мог сделать для своего спасения, это посмотреть на всех с мольбой и надеждой.

Помогло. Один из гостей — Урдуш-ака откликнулся на мою мольбу:

— Не надо, Насырджан. У ребенка душа мягкая, грубостью можно покалечить. Пусть посмотрит. Урона от этого не будет...

— Не будет?! — не соглашался Насыр. — А если, как в прошлый раз, заснет и упадет с ниши...

— Сегодня не усну, — заверил я жалобно. Парни засмеялись.

— Ну, если не уснешь, то ты нам ровня. Пожалуй, примем в свой круг. Согласен?

Я еще не понимал, шутка это или нет. Мне хотелось сразу же кивнуть — мол, согласен, даже счастлив. Но взгляд брата был строгим, и я смолчал.

— Ну, кашляни! — подтолкнул меня Урдуш-ака. — Или боишься стать должником, пообещать устроить нам «гап-гаштак»?

Он говорил со мной как со взрослым. Может, на самом деле примут в круг и придется устраивать вечеринку. Детская голова иной раз совершенно реально воспринимает явно абсурдные вещи.

— Ну, отвечай! Мы, пожалуй, не будем настаивать на «гап-гаштаке», — продолжал подзадоривать меня Урдуш-ака. — Сделаем исключение. Кашляни!

И я поверил шутке. Отпадала самая трудная преграда — денежный взнос на угощение. Можно стать членом круга веселящихся по пятницам, приходиться сюда вместе с братом Насыром. Посмеет ли он после этого крикнуть: «Убирайся домой!»

— Если соглашусь, — со всей серьезностью ответил я Урдуш-ака, — вы тогда бросите курить анашу?

Это был удар. И удар неожиданный. Урдуш-ака тайком курил зелье, пропитанное опиумом. Добродушный парень, покладистый и в сущности безвредный, стеснявшийся собственной слабости, он растерялся. Услышать такое от мальчишки было стыдно. В парня вцепился Курбанбай:

— Слышали, друзья, что сказал Назиркул?

— Слышали! — хором ответили гости.

— А ты, Урдушмат, слышал?

Парень опустил глаза. Что он мог ответить? Он был виновен. Не раз товарищи предостерегали его, не раз останавливали, но яд уже вошел в сердце и противостоять пороку было трудно. Безволие привело его в обитель несчастья или, наоборот, несчастье сделало безвольным, податливым, как овца. Мне стало неловко за Урдуш-ака, даже больно стало. Своей просьбой я выразил необъяснимое еще, но требовательное желание спасти парня. Зачем пропадать доброму Урдуш-ака от какого-то зелья? Но выразив желание, почувствовал себя виноватым. Небось в душе Урдуш-ака сердится на меня, досадует, что выручил мальчишку, оставил на вечеринке, а сам пострадал из-за своей же доброты. Теперь уже от него не отцепится Курбанбай.

— Говорят про Урдушмата, — обратился ко всем старший круга, — а подумать надо каждому, кто заглядывается на хибарку Бово-банги. О, страшная эта хибарка! Кто войдет раз-другой, потом не выйдет. А если и выйдет, то уже не на ногах, а на руках, на брюхе, по-черепашьи. И, как черепаха, будет беспомощным и несчастным.

Курбан-палван снял с себя бельбаг и стал скручивать его жгутом. О, крутой, видно, нрав у йигитогаси, подумал я, как бы из-за моего языка не пострадал парень.

— Эй, Урдушмат! — хлопнув по ладони жгутом, крикнул йигитогаси. — Ты спрашивал Назиркула, теперь он спрашивает тебя. Что ответишь?

Попал перепел в силок, и показалось ему небо в овчинку. Ни вырваться, ни перекусить волос. Одно осталось — уповать на милость товарищей.

— Принимаю условие, — ответил Урдуш-ака мрачно. — Сегодня

принимаю...

— И сегодня, и завтра, — оборвал его йигитогаси.

— Наступит завтра — с ним и договоримся.

Большого, видно, с Урдушмата вытянуть нельзя было. Больше джигит не скажет — совестно. Каким будет выглядеть парень в глазах мальчишки? Тягостно ему, а мне тягостнее во сто крат. Испортил, кажется, веселье, на которое пробрался с таким трудом.

Нет, не испортил. Насыр-ака ударил всей силой среднего пальца по тугому, точно тетива, бубну, и тот выкрикнул одинокий звук, похожий на выстрел, и на падение камня, и на звон колокола. Все, сидевшие в кругу, повернулись к Насыру, замерли, давая понять этим, что готовы и ждут начала.

Начать должен был йигитогаси. В наступившей тишине Курбанбай прочел молитву, слова которой повторили гости. Молитва была короткой, настолько короткой и простой, что я запомнил ее: «Век нам жить, аминь!» При этом парни раскрыли ладони, словно просили всевышнего о благословении, а затем совершили омовение лица.

Я сидел уже на выступе ниши и, прислонясь к стене, во все глаза смотрел на торжественный круг, застывший в молитве. Не знаю, каким словом определить мое состояние, да и есть ли такое слово. Все слилось: и любопытство, и трепетное ожидание, и страх перед чем-то загадочным, неведомым, и восторг единения со всей этой празднично одетой массой людей. Было тихо, но я не верил в тишину, было торжественно, но мне она казалась придуманной, эта торжественность. И серьезные, благообразные лица не были настоящими — хитрые маски. Вот сейчас слетит важность, и все расплывутся в улыбке. Засмеются, захохотут — ведь люди пришли сюда не молиться, а пировать, радоваться, балагурить.

— Где блоха? — спросил строго йигитогаси и оглядел придиричивым взглядом круг. — Где Барака Назар?

Началось. Разве серьезно можно спрашивать о блохе? Шутка, веселая шутка. Все поворачивают головы к двери, у которой стоит юноша, с подоткнутыми за пояс полами яхтака, со сдвинутой на левое ухо тубетейкой. Он изображал блоху, как мог, конечно. Плечи его

были подняты и слегка вздрагивали, руки вытянуты вперед. Лицо — смесь удивления и лукавства, бровь то поднимаются, то опускаются.

— Ха-ха, хой! — закричали все, давая понять этим, что обнаружили затерявшуюся блоху. Лишь Азиз-медник, не понимая, что происходит, молча смотрел на друзей. Видно, он впервые попал на пирушку или просто стеснялся выражать так громко свои чувства. Курбан-палван не мог допустить подобное равнодушие и хлопнул Азиза по плечу, шуточно, конечно, своим крученым бельбагом. Тот сначала оторопело уставился на йигитогаси, потом спохватился и стал выкрикивать вместе со всеми: «Ха-ха, хой!»

А Барака Назар уже прыгал за спинами парней, изображая блоху и делая уморительные гримасы. Совершая прыжки, он постепенно приближался к центру круга. В такт его движениям парни выпевали слова шуточной песни «Душа моя, блоха». Запевал сам Барака Назар. Голос у него при этом вздрагивал, будто мешали слезы.

Барака Назар: Скончалась моя блоха!

Хор: Милая блоха, смелая блоха!

Барака Назар: Сам я стал ее мясником.

Хор: Милая блоха, смелая блоха!

Барака Назар: Дала она мне шестьдесят батманов мяса.

Хор: Милая блоха, смелая блоха!

Барака Назар: И еще шестьдесят батманов сала.

Хор: Милая блоха, смелая блоха!

Барака Назар: Голову отдал муэдзину.

Хор: Милая блоха, бравая блоха!

Барака Назар: А все остальное — вам!

Запевая так и перепрыгивая через ряды сидящих, Барака Назар раздавал мясо блохи. Делал он это настолько комично, что все покатывались со смеху. Так, например, нога, предназначенная одному из гостей, с трудом «выдергивалась» из туловища, печень «вырезалась» с помощью ножа, руки «вывинчивались». Наиболее почетным гостям доставалось мясо и сало, а кто заслуживал осуждения за свои неблагоприятные поступки, тому — хвост, рога, уши. Одарение сопровождалось откровенными намеками и вызывало хохот присутствующих. Не всем было приятно подобное разоблачение

недостатков, но коль скоро Барака Назар колол каждого, гости мирились и, вероятно, задумывались над своими промахами.

Мой смех был, кажется, самым громким, самым упоительным. Порой я забывал об опасности, которая подстерегала меня каждую минуту, — ниша была глубокой, но не настолько, чтобы сидеть в ней откинувшись, ноги мои болтались над головами гостей, руки держались за голую стену, и вот, когда, задохнувшись смехом, я хватался за живот, лишал себя точки опоры, создавалась реальная угроза скатиться вниз прямо в гудящий котел, на плечи, спины, пиалы и подносы, умыться зеленым чаем, извалиться в плове. И все же я шел на этот риск, терпел. Терпение, говорят, самое доступное и самое дешевое из всего того, что есть на свете. Тем более для мальчишки — ему вообще платить нечем. Так вот я рисковал и терпел.

Прежде всего, мне было жарко в нише, во-вторых, я хотел ужасно пить. Все утоляли жажду чаем — я глотал слюну. Но и ее запасы постепенно уменьшались. Если бы можно было без опасности оказаться замеченным Насыром-ака слезть с ниши и сбегать на улицу, я напился бы ледяной арычной воды. Но без посторонней помощи спуститься мне не удавалось ни разу — ниша высокая и стена ровная, без выбоинок. Вот я и сидел, узник. Но узник добровольный, готовый все стерпеть, все вынести, только бы посмотреть на веселые игры парней, насмеяться вдоволь. А смешного было много. Едва успели «разделить» между гостями блоху, на середину выскочил суслик. Кто бы мог подумать, что человек способен так изменить свое лицо! Тулача — круглый, низенький паренек, еще более похожий на откормленного суслика, чем длинноногий Барака Назар на блоху, — намазал щеки сажей от котла, вставил коротенькие тростинки между губами и ноздрями. С помощью этих неприхотливых приспособлений и наипростейшего грима, известного людям, наверное, с самых древних времен, он превратился в обитателя джизакских нив. Вынырнув из-под ног высоченного Курбана-тентяка, как из норки, суслик настороженно замер: «Нет ли опасности?» Потом кинулся в поле — в цепь сидящих парней за зерном. «Колосья» оживали, будто от ветра, и, покачиваясь, пели:

Суслик вольный, суслик!

Суслик вольный, суслик!

Песня не пугала зверька, но когда в конце каждой строфы раздавался хлопок в ладоши, он прижимал голову и, смешно кривляясь, бежал назад в свою норку — широко расставленные ноги Курбана-тентяка. Однако норка неожиданно захлопывалась. Растерянный Тулача запрыгивал на плечи Курбана и, начиналась скачка по кругу. Скачка была непередаваемо смешной. Тут не только я, все буквально катались по земле, корчась от смеха.

Да, ради такого веселья стоило торчать в нише и испытывать жажду. Жажда очень томила меня, хотя временами я забывал о ней, увлеченный представлением. Один шутник сменял другого, шла песня за песней, звенел то бубен, то дутар. Зрителей не было, кроме меня и, возможно, чайханщика или хозяина постоянного двора, — все исполнители. Все пели, хлопали в ладоши, задавали вопросы и отвечали на них. Это напоминало игру — большую, веселую игру, в которой было начало, но не было конца. Во всяком случае, я никогда не дотягивал до последней песни или последнего танца. Время и усталость давали себя знать, веки мои смежались, голова клонилась набок, и чьи-то руки принимали сонное тело.

В тот вечер я боролся со сном самым мужественным образом. Не хотел терять ни одной шутки, ни одного веселого танца. Главное, не хотел упустить момент, когда станет рассказывать свои истории Али-шутник. А рассказывал он так интересно, так смешно, что люди, открыв рот, сидели не шелохнувшись. Покинуть круг во время рассказа Али было бы кощунством. Да никто не посмел бы сделать такое. Говорили, в шутку конечно, что объяви слушающему о рождении сына, он прежде допьет, словно пиалу чая, рассказ Али-шутника, а потом уже побежит домой поздравить жену и полюбоваться младенцем. Даже пожар в махалле не способен был бы прервать нить истории, которую раскручивал Али. Его называли колдуном. Верно, этот ничем не приметный с виду человек умел завораживать людей словом. Только словом. Лицо его всегда оставалось скучно спокойным, простовато наивным. И от этого становилось особенно смешно слушателям. Они настойчиво вглядывались в рассказчика, ждали улыбки, хитрого прищура глаз, но

видели лишь бесчувственную маску. Большинство рассказов Али я знал, помнил, даже отдельные фразы, но это не мешало мне с живым интересом прослушивать их вновь и вновь. Особенно мне нравились смешные истории «Столб», «Невеста», «Похититель винограда», «Кладбище»...

Этих рассказов я и ждал, одолевая сон. Почему-то Али-шутник в тот вечер не торопился предстать перед товарищами, в кругу его не было, в соседней комнате тоже. Любимец джизакцев, он посещал по пятницам несколько компаний и, как артист, едва поспевал с концерта на концерт. В нашу махаллю ему предстояло, видимо, прибыть где-то в полночь. Непосвященный в расписание вечера, я терпеливо высиживал в своей нише и тер упорно смежающиеся веки.

Кто-то спросил Курбанбая:

— Мой бойцовый петух прокричал, не пора ли класть рис?

Йигитогаси посмотрел в окно, за которым дымился котел для плова, и кивнул:

— Если петух прокричал, значит, время. Кладите!

Шум в комнате приутих, незаметно возникла осторожная грустная песня, сопровождаемая дутаром, тоже осторожным и грустным. Я еще раз протер глаза, но недостаточно энергично, они снова слиплись и теперь уже крепко. Сон одолел меня. Исчезла куда-то михманхана, утонули звуки. Все утонуло.

Когда я очнулся, то был уже не в нише, а за порогом комнаты. Меня нес на руках брат Насыр.

— А где Али-шутник? — запротестовал я, поняв, что покидаю «гап-гаштак».

— Какой тебе Али! Спать пора!

С этими словами он опустил меня на землю и легонько толкнул в плечо, поддал мне скорость и направление.

— Беги домой!

Холодный зимний ветер накинудся на меня, пронял в одно мгновение до косточек. Я съежился и побежал по темной улице. Побежал навстречу неприятности — дома меня ждала встревоженная матушка и ее строгая рука. Я должен был расплачиваться за удовольствие...

## **Овца думает о жизни, а мясник о сале**

Путь к воротам истины долог и, как я уже говорил, тернист. Но главное, он не прочерчен прямой линией. Иногда сворачивает в сторону и далеко, далеко обходит место, к которому человек должен стремиться. Поначалу такое обилие поворотов раздражает, вызывает досаду, но потом, спустя годы и десятилетия, когда обретается житейская мудрость, подобная витиеватость пути кажется правильной и единственно возможной. Она раскрывает мир в многообразии, в его богатстве и сложности.

Моя тропка от дома до Каландарханы, потом до калитки Хикматой-отин, а затем до мечети была коротка и бедна. Чуть удлинилась она, когда я перешагнул порог детских интересов и заглянул в храм взрослых. Он показался мне вначале странным и даже непонятным. Но вызывал любопытство. «Гап-гаштак», во всяком случае, пробуждал только любопытство. На этих пирушках молодых людей для меня все было удивительно: на людей и их поступки я смотрел, широко открыв глаза и затаив дыхание. Бездумное веселье всегда будоражит чувства ребенка, ему хочется делать так же, подражать старшим, не задавая себе вопроса — зачем это делается.

Существовал еще мир, более широкий, более загадочный, отзвуки которого слышались в словах тетушки Хушруй: «О боже, лучше бы ты не создавал нас, бедных!» В этом мире постоянно возникали вопросы: зачем и почему? И обращал я их к себе и к другим.

В таком мире жил отец. Почему жил? Да потому, что видел отца я мало, — он всегда куда-то ездил, где-то пропадал и к нам возвращался ненадолго. Обычно поздно ночью, когда мы уже спали.

Из того таинственного, огромного мира, наполненного страшно важными событиями, отец навевался к нам, и когда навевался, то был всегда усталым и озабоченным и говорил с матерью почти шепотом. Говорил о вещах скучных, связанных с повседневными тяготами. Из этого я заключил, что мир тот какой-то серый, тоскливый, хмурый. В нем лишь одни треволнения по поводу хлеба и



денег.

Я плохо, вернее, мало знал своего отца, зато другие знали хорошо. Говорили, будто нет человека в Зааминском, Янгикурганском районах Джизакского уезда, который бы не слышал о моем отце, не узнавал бы его издали. Даже в Равате, Молтобе, Пишагаре, в Усмате и Бахмале, в селениях ущелья Огаджан, в общем, в самых отдаленных кишлаках Сафар-чойпруш был известен всем — от мала до велика. Подобно лошади с белой отметиной на лбу, он запоминался людям. И это было естественно. Чорбазарчи раз-два в неделю навещался в кишлак со своим скудным хурджуном, предлагая дехканам в обмен на зерно и отруби — чай, сахар, нитки. Наподобие русского коробейника чорбазарчи объезжал селения, выполняя роль крошечной передвижной лавки. В кишлаке он был нужен каждому — где взять землепашцу, живущему вдали от города, от проезжих дорог, тот же чай или те же нитки, не говоря уже о соли. Вот он и ждет Сафара-чойпруша. Благо чорбазарчи не требует за свой товар денег. Нет денег у кишлачного жителя — он платит тем, что дает земля, — зерном. Нет, кстати, денег и у чорбазарчи — свой товар он берет в долг у городского торговца. Отец мой пользовался кредитом джизакского бая Ходжи Усмана. Бай этот вел розничную и оптовую торговлю. Но взамен зерно и отруби не принимал. Отцу приходилось прежде сбывать зерно, а потом уже расплачиваться с Ходжи Усманом.

Не знаю, что давало отцу такое посредничество; кроме вздохов и охов матери и криканий родителя, никаких результатов я не замечал. Мы всегда нуждались, всегда копейка была на строгом учете, а кусок сахара на столе считался роскошью. Забот и труда в свое предприятие он вкладывал много. Лишь поздно ночью наступал для него час отдыха — весь день в пути, весь день под солнцем, ветром, дождем. Особенно тяжело приходилось ему зимой, когда предгорья заметало снегом, а дороги задувал буран.

В один из таких зимних вечеров мы ждали отца. Ждали с тревогой на сердце — весь день шел снег, а в сумерки небо очистилось и ударил мороз. Такой мороз, что выглянуть за дверь было страшно — холод обжигал лицо, забытый на дворе медный кумган с водой лопнул. Улица замерла — ни звука, все попрятались в домах,

прильнули к сандалам. Я тоже сидел под одеялом, ловя робкое тепло саксаульных углей.

Чем больше удалялось время заката, тем острее была тревога. С минуты на минуту мы ждали стука в калитку: отец, когда приезжал, то, не слезая с лошади, ударял черенком камчи о доски. Это был сигнал. И вот минуты, часы шли, а сигнала не было, не раздавался знакомый стук.

— Что случилось с отцом? — спрашивала матушка, беспокойно глядя в окно. — В такую погоду...

Старший брат, сам охваченный тревогой, пытался утешить ее:

— Заночевал где-нибудь. Мало ли кишлаков на пути.

— Нет, нет, — качала головой матушка. — С ним такое не бывает. Завтра же базарный день, если упустить, потом неделю ждать придется, да и Ходжа Усман не согласится терять столько дней... Ох, бедный отец, что только не приходится ему выносить ради нескольких танга... Убереги, бог, его!

Плененные тревогой знают, что такое ожидание. Капля за каплей падает на сердце холод отчаяния, и оно становится боязливым, как птица, чутким, как тишина. Слух ловит звуки, которых нет, но которые он хочет услышать. Так и я услышал голос отца.

Из темноты он позвал меня:

— Назиркул!

Радостный крик вырвался из самой души моей:

— Отец! Отец приехал!

Никто не поверил, хотя всем хотелось этого. Ведь никто, кроме меня, не слышал его голоса. Никто. Но матушка и брат прислушались. Тишина была могильная, и в ней ни стука, ни шороха.

— Ну где же? — со слезой сказала матушка. — Где? Тебе померещилось, сынок...

— Нет, нет, я слышал...

— Если ты слышал, то и мы должны услышать...

Снова пришла тишина, и вдруг на самом деле раздалось шарканье чьих-то сапог на террасе. Мы замерли в испуге и надежде — если отец, то почему не постучал, как всегда, почему бродит впотьмах? Но пусть все-таки отец. Только отец!

Ожидание наше длилось мгновение. Вслед за шарканьем возник голос. Но не отца.

— Живы ли? Откройте ворота, дядя приехал. Застыл с дороги.

Теперь мы узнали голос Мумиджана — сына нашего соседа, аксакала Уста Юлдаша.

Стоит ли говорить, с какой поспешностью мы бросились за дверь, толкая друг друга, стараясь обогнать самих себя. Оказавшись на улице, я, кажется, глотнул кусок льда и чуть не поперхнулся им, таким жестоким был мороз. Не знаю, кто отворил ворота, возможно, матушка, возможно Мумиджан-ака, но мне они представились уже открытыми, и в них въезжал на сплошь покрытой инеем лошади отец. Иней был и на груди лошади, и на ногах, и на морде, и на уздечке — какое-то белое изваяние. Белым был и отец — я запомнил его заиндевевшие брови и бороду.

— Помогите мне слезть! — попросил он. Попросил таким незнакомым голосом, что матушка, да и все мы, еще больше напугались. Отец никогда не говорил вяло, с хрипотцой, а тут едва выдавил из себя эти три слова. Мы буквально сняли его с седла и повели в дом. Мумиджан-ака стянул с лошади хурджун, и она, не ожидая понукания, поплелась сама в конюшню, мордой отворила дверь, торопясь укрыться от лютого мороза.

Да, это был лютый мороз. Такого, кажется, не знал Джизак. Я по крайней мере за свою жизнь не испытывал ничего подобного в наших южных краях — мир стыл от ледяного дыхания.

В комнате с отца сняли казахскую шапку из лисицы и овчинный тулуп. Где он раздобыл их — неизвестно. В Джизаке ничего подобного не носили, как не носили и валенки, оказавшиеся на отцовских ногах. Видно, в каком-то дальнем ауле его одели в дорогу крестьяне.

— Зачем же вы испытывали судьбу? — сокрушалась матушка, снимая с отца одежду. — С такой погодой не шутят, можно было бы пропустить один базарный день, не умерли бы с голоду...

Я стоял рядом озябший и клацал зубами: в комнате было холодно, а промерзший тулуп отца, как снежный ком, источал мороз.

— Ты-то почему студишь себя! — проворчал отец. — Лезь под

сандал.

Мне и самому хотелось укрыться в тепле, но я стыдился сделать это один — ведь всем было холодно, а отцу особенно, он, наверное, отморозил себе лицо и ноги. И чтобы как-то разделить тепло между всеми, я позвал вместе с собой отца:

— Садитесь к углям, здесь жарко, сразу согреетесь...

Отец промолчал, а матушка замахала на меня руками:

— С мороза нельзя... Никогда нельзя сразу к огню, пропадут ноги... А ты полезай под одеяло и спи. Уже поздно...

С мороза нельзя! Это было ново и непонятно. Даже странно как-то звучало. Замерзшего надо отогревать, а люди продолжают держать его в холоде, ему же трудно, больно. Лежа под одеялом и блаженно улыбаясь от ощущения тепла, я раздумывал над словами матушки. Тогда они не согласовывались с моими нехитрыми представлениями о жизни, лишь позже, много позже я узнал, что не всякое тепло облегчается холодом и не всякий холод — теплом.

Рассуждая сам с собой, я смотрел, как возвращается покой в наш дом, как по-обычному переодевается отец, как хлопчет мать, и мне было отчего-то радостно. До того радостно, что сжималось сладкой болью сердце и глаза наливались счастливыми слезами. Миновала тревога, все рядом со мной, тело обнимает тепло, и хочется спать. Пусть на дворе мороз, пусть где-то воет ветер злой, пусть метет снег. Что мне до того. Я утопаю в мягкой, чуть пахнущей дымком постели, медленно, счастливо засыпаю...

Нет, не засыпаю. Я слышу, как ходит матушка по комнате, как ставит перед отцом чайник с ароматным горячим чаем и касу с густой хурдой — мясным супом. Она всегда в день возвращения его варит мясную хурду — с дороги надо подкрепить силы — с утра до вечера в седле, поесть негде и некогда. Я чувствую запах супа, и это тоже заставляет меня улыбнуться. Улыбнуться оттого, что есть на свете такое вкусное блюдо, и если бы меня сейчас позвала матушка, я бы вскочил и сел рядом с отцом окунул бы лепешку в касу с желтым от наvara супом. Окунул и отправил в рот, захлебываясь от удовольствия. Но меня не позовут, потому что я уже макал сегодня лепешку и захлебывался от удовольствия. Это осталась доля отца,

продрогшего, уставшего, голодного.

Я люблю отца. Не знаю еще почему, но люблю. Просто так. Потому, что он отец, наверное.

Теперь можно уснуть. Но я опять не засыпаю. Уже не шаги матушки отвлекают меня — она все подала отцу и теперь села напротив и пьет чай — слова ее.

— Хватит, бросайте этот чорбазар, — говорит она, нахмутив брови. — Пусть несытно будет, пусть поменьше будет, но здоровье сохраните и свое и детей. Сбережете здоровье — остальное бог пошлет...

Отец хоть и вернулся благополучно и отогрелся в комнате, но не радуется этому. Глаза его печальны, а лицо озабоченно:

— Создатель наш что-то не посылает нам ничего, — отвечает отец. — Все самому надо добывать. Дороги становятся все длиннее, а лепешка все меньше. От кишлака до кишлака дня не хватает.

— Вот и бросьте дорогу. В Джизаке поищите что-нибудь.

Отец покачал головой:

— В Джизаке все ищут, бродят нищими по дворам за несчастной таньга. Детям на хлеб не заработаешь.

— А много ли заработали в кишлаках? Там ведь тоже таньга не валяются!

— Какие там таньга, — вздохнул отец. — Самому бы целым остаться.

— Э-э! — насторожилась матушка. — Вы чего-то не досказываете. Или беда стряслась?

Отец помолчал. Не хотелось ему, видно, расстраивать матушку. Старательно отпивал чай из пиалы, вспоминал что-то или решал, говорить или нет. Потом сказал все же:

— Волки.

Более неожиданного слова нельзя было представить себе. Матушка так и вскрикнула:

— О бог праведный!

Я забыл, что изображаю себя спящим и поднялся на постели. Испуганно и удивленно посмотрел на отца. Мне тотчас же захотелось увидеть на лице его, на руках, на всем следы борьбы с волками.

Матушка тоже глядела, но в ее глазах был только испуг.

— Ну, ну! Рассказывайте же!

Нехотя, очень тихо отец поведал о случившемся.

— Сама знаешь, какой день был. Снег с самого утра шел не переставая. И ветер еще донимал, так в лицо и бьет, так глаза и слепит. Мы уже решили заночевать где-нибудь, пока буран не стихнет. Но к вечеру стало поспокойнее, и все, кто был из Джизака, отправились домой. Снег сыпал мелкий, дорога проглядывалась хорошо, вот только мороз усилился. Но что мороз! Не впервые нам приводилось испытывать его силу в пути, правда, такого лютого мы не ожидали. Уже в степи он пронял нас, и я пожалел, что рискнул ехать. Хорошо, запасся у раватцев тулупом, не то до дому не дотянул бы. А тут еще ветер встретил нас, берет с земли снег и бросает в лицо, заставляет коня останавливаться. Едем как слепые. Мои чалый самым сильным оказался, и все решили пустить меня вперед пробивать дорогу.

Так мы ехали до темноты. Буран усилился, и степь будто превратилась в раскаленный казан, в который плеснули ковш воды: белый туман, шум, вой, все вокруг вертится, летит куда-то. Вдруг лошадь моя остановилась и пугливо захрапела. Всмотрелся в дорогу, вижу что-то темнеет на снегу. Прислушался — стон. Как будто человек. Но разобрать ничего в такой кутерьме нельзя. А товарищи мои, что ехали сзади — нас было шесть человек: пять, как я, чорбазарчи, а шестой — мулла, — закричали испуганно:

— Волки! Волки!

Я поглядел в степь и действительно увидел серых бродяг, они вертелись у самой дороги, то возникая из белого тумана, то пропадая в нем. Наверное, своим появлением мы спугнули волков, и теперь они не знали, как подступиться к тому темному пятну, что преграждало нам путь. Рыча, словно собаки, скуля и взвизгивая, волки выражали свое нетерпение — им не дали растерзать жертву, и это ожесточило голодных зверей. Слезать с лошади в окружении целой стаи было опасно, поэтому мы принялись советоваться, как поступить: человек тихо стонал, а может, и не стонал, в вое ветра все кажется живым, все плачет, зовет. Единственное, что подсказал нам здравый смысл, это

попытаться отогнать волков.

Каждый, как мог громко, стал науськивать собак, которых у нас не было. Мы просто изображали из себя охотников и пугали волков. Но попытка наша оказалась наивной. Волки несколько отступив — их насторожили крики, — снова приблизились к нам. Теперь они уже не рычали. Сначала один, а потом остальные принялись выть. Протяжно, тоскливо. По-моему, они сзывали со всей степи своих собратьев.

Что делать? Пройдут какие-нибудь полчаса — и у дороги соберется уже не маленькая, а огромная стая волков. Тогда ни наши голоса, ни наши лошади не помогут.

— Попробуйте отогнать серых плетью, я слезу посмотреть, кто лежит на снегу, — предложил я.

Товарищи тронули коней и стали махать плетками — волки отступили. Я слез с седла и пошел к бугорку, что темнел впереди...

Рассказ отца был слишком страшным, и когда дело дошло до того места, где он один приблизился к стонущему человеку, а рядом были волки, я с перепугу залез под одеяло и укрылся с головой. Оттуда, из своего укрытия, дослушал конец истории.

— Он был еще жив... Что-то, кажется, сказал мне, когда я окликнул его, но понять смысл слов было невозможно. Да и слова ли это были? Может быть, хрип или стон, или бессвязное бормотание. Аллах уже брал его к себе. Несчастный обеими ногами стоял в другом мире и вернуть его назад могло лишь чудо. А чудес, сама знаешь, не так много на земле. Волки разорвали все внутренности бедняги, и, страшно вспомнить, все это лежало рядом на снегу в крови.

Было еще рано делать омовение лица и произнести «бисмилло!», однако было поздно думать о спасении человека. Я вернулся к товарищам и сказал:

— Он умирает...

Никто не знал, как поступить. И мы обратились к мулле. Кто, кроме него, ближе всех стоявшего к богу, мог решить судьбу мусульманина.

Мулла подумал, поднял свои святые очи к небу и сказал:

— Видимо, этому человеку суждено стать добычей голодного зверя. Никто не может изменить начертанное богом, противиться

тому, что угодно всевышнему. И предать земле тело не дано нам, видите, как неистовствует ветер и как ужасен мороз, руки наши не в силах вырыть могилу. Да смилостивится бог, примет его душу на небеса. Помолимся, правоверные!

Он стал читать молитву, а мы под шум ветра и завывания волков повторяли слова. Несчастный уже не стонал. Должно быть, муки его кончились.

Едва наш караван отделился от страшного места, как волки набросились на свою жертву. Они взвизгивали и рычали, деля добычу. Это было настолько ужасно, что мы заторопили своих усталых коней, погнали их рысью...

Отец смолк, а матушка заплакала.

— У этого бедняка, верно, дети... Каково им сейчас. Ждут отца, не ведают что с ним...

— О, не трави душу! — взмолился отец.

Все еще объятый страхом, я вылез из-под одеяла и глянул на отца и мать. Глаза отца были закрыты, хотя лицо выражало какое-то внимание, словно он видел перед собой собеседника или слушал его. Наверное, в эту минуту отец переживал вновь ужасное событие, произошедшее на степной дороге. Матушка кончиком платка вытирала слезы — они все лились по щекам, тихие, печальные.

Мне сделалось не по себе от этого молчаливого страдания взрослых, и чтобы как-нибудь оборвать тишину, я вскрикнул:

— Мама!

Она оглянулась:

— Что тебе?

Я не знал, что мне нужно. Наверное, покоя, прежнего покоя и ясности, знакомого мне мира, без стужи и ветра, без волков, без умирающего человека в степи, без этого молчания отца и слез матери. Без всего, что навалилось на меня, мальчишку, в зимнюю ночь. Но объяснить этого я не мог.

— Лампа коптит, — сказал я. Она действительно коптила.

Матушка поднялась и стала поправлять фитиль. Но он не поддавался и одним краем выпускал шлейф копоти.

— Керосин кончился, — предположил отец. — Время уже за



полночь. Гаси!

Короткая молитва слетела с губ отца, такая неожиданная и непривычная. Редко нам, домашним, приходилось слышать, как он молится. Сегодня отец молился.

Я снова укрылся с головой одеялом. Страшные образы из отцовского рассказа витали надо мной, касались меня, и не было, кажется, места, где я мог бы спрятаться от них. Сон не приходил. Все шорохи ночи — а в тишине они всегда громкие и отчетливые — звучали в моих ушах. Зло гудел ветер на дворе, он будто грозился пробраться в комнату и наброситься на меня. Я лежал и думал: хорошо ли матушка заперла дверь, нет ли щели в окне, через которую буран пролезет. Едва шум усиливался, как я весь съеживался под одеялом и замирал.

Не спал отец. Ворочался, вздыхал. Матушка сказала тихо:

— Не терзайтесь, того, что прошло, не возвратишь и не изменишь.

Отец ответил с болью:

— И не надо возвращать. Домулла сказал: «Бог предначертал судьбу этого человека. Ему суждено стать добычей волков».

— Так зачем же мучить себя думой?

— Зачем? — спросил отец. — Он-то, несчастный, этого не знал. Он видел, как подъехали люди, подъехали и дали волкам разорвать живого... Не защитили. Человек человека не защитил...

Матушка застонала от отчаяния:

— Что вы могли сделать? Что?

Отец помолчал.

— Не знаю... Но что-то должны были сделать. Бороться с этими серыми, гнать их, душить!.. А теперь не простит нам этого несчастный. О-о! Не простит.

— Ну, ну... Домулла избавил вас от ответа перед богом, — робко заметила матушка. Мне показалось, что она верила своим словам, но отец не принимал их.

— Избавил от ответа перед богом, — повторил он как-то горько. — А перед собственным сердцем? Кто избавит?!

Этого матушка не знала. Ничего не ответив, она стихла, и долго-долго длилось молчание. Я начал уже дремать, когда опять зазвучал

голос отца, теперь тихий и таинственный:

— Говорят, новый налог требует царь...

Мне казалось, что матушка спит. Я ошибся, она сразу отозвалась.

— О господи! Что еще за налог?

— Налог на войну...

— Э, видно, царь собирается продолжать ее, — сделала заключение матушка. — А люди-то гибнут... Хоть и не мусульмане, а жалко.

Отец вздохнул:

— От войны все страдают: и не мусульмане и мусульмане. А спрашивается, зачем война?

— Это воля божья, — заметила матушка.

— У тебя — все от бога, разве он велит царям драться? Они сами затевают. Вот германский царь начал войну, кто его просил... Сидел бы себе на собственной земле и радовался, что вокруг тихо.

— Герман, значит, забияка?

— Выходит так, — подтвердил отец.

Матушка сейчас же изложила свою точку зрения: она была очень проста и даже мне понятна.

— Если один глуп; как петух, и лезет в драку, зачем же другому брать с него пример. Смолчал бы русский царь и все...

— До чего же наивная ты, ташкентская, — усмехнулся отец. Когда он хотел подтрунить над матушкой, то всегда называл ее ташкентской — матушка была родом из Ташкента. — До чего же наивная! Если герман завоюет Россию, он сбросит Николая с престола, сядет на его место. Вся земля, весь народ будет принадлежать герману...

— У, чтобы сдохнуть этим царям! — в сердцах произнесла матушка.

— Эти сдохнут — другие найдутся. Род султанов и эмиров не переведется никогда, потому что страна без царя не бывает. Только один царь умнее, другой глупее.

— А что проку от ума царского, — продолжала сердиться матушка. — У глупого один налог для народа, а у умного десять. Как говорят: «Овца думает о жизни, а мясник о сале». Царям одна забота

— побольше содрать с нас.

Я впервые слышал разговор о царе. Конечно, мы, мальчишки, знали про существование белого эмира. Но это было что-то общее, отвлеченное. Далеко-далеко, в большом городе Петербурге на золотом троне восседал белый царь и управлял всей страной. Дальше этого наши представления о власти не простирались, да большим мы и не интересовались. Знали еще, что идет война и что жизнь поэтому стала хуже: нас, маленьких, попрекали лишним куском хлеба. А тут я узнал о несправедливости царей, о бессмысленности войн, которые они ведут. Я почувствовал жалость к людям, а против царя возникла злоба: почему он мучает людей. Захотелось тут же задать тысячу вопросов отцу, но я побоялся это сделать, так как притворялся спящим и тихо, словно мышь, тайлся под одеялом.

Вообще эта ночь была удивительной и страшной. Наверное, я повзрослел сразу и потому, что произошло все неожиданно, в какой-то очень короткий промежуток времени; мои детские представления рушились стремительно, принося боль, горечь, разочарование и в то же время освобождая место для новых мыслей и чувств. Главное, я вдруг увидел своего отца и через него мир, в котором все было не детское, суровое и беспощадное. В том мире не находили себе места наши забавы, наши радости и мечты. Не находила места там, кажется, и мечта моей матери об ученом сыне.

Оттого она так и сокрушалась, так кляла царей.

— Если конца царям не будет, — сказала матушка очень грустно, даже с каким-то отчаянием, — то мы и умрем, не увидев светлой жизни...

— Какая уж там светлая жизнь! — отбросил всякую надежду отец. Это было последнее, что я услышал в ту ночь. Наверное, звучали еще какие-то слова, о чем-то еще говорили отец с матерью, но сон все же одолел меня. Под монотонное завывание ветра я уснул.

Конечно, на другой день вся махалля узнала о ночном происшествии на степной дороге. Люди приходили к нам узнать подробности встречи с волками. Удивлялись, качали головами, вздыхали. Некоторые произносили молитву — погиб мусульманин и надо было позаботиться о переселении его души в рай. Самым

неутомимым рассказчиком был, естественно, я. От меня историю узнал старший брат Мансур, затем все остальные домочадцы, соседские ребята и однокашники по мактабу — школе при мечети. За этими волками как-то потерялся царь и даже война. Волки были ближе и страшнее всего остального.

Естественно, для обширных описаний требовались подробности, мои слушатели хотели знать все — сколько было точно волков, как они выглядели, как выли, откуда дул ветер, почему серые не набросились на верховых. Пришлось за разъяснениями обращаться к отцу. И отец рассказывал подробно, но скучно, без фантазии. Он, увы, не считал волков, не заметил их роста, не прислушивался к голосам серых. А мне были необходимы все эти мелочи. Пришлось сочинять самому.

И все-таки отец оставался для меня героем той ночи. Он ничего не совершил, никто ничего не совершил, но сама встреча со стаей волков что-то значила. Не всем выпадает видеть рядом волка. Правда, событие не наложило героического отпечатка на лице моего родителя. Напротив, он стал почему-то грустным и еще более молчаливым. И по кишлакам уже не ездил. Соседям он сказал, что чорбазарчи пустое дело — в кишлаках нет зерна, не на что менять соль и чай. Видимо, это была правда.

Теперь отец чаще бывал дома, и я чаще слышал его разговор с матерью. При мне, конечно, они не особенно распространялись, но ведь существовали в доме и особенно во дворе всевозможные загородки, стены, углы. Из-за этих укрытий я и вел наблюдение за старшими. Постепенно интерес к волкам и всей истории с ними угас, его сменило любопытство ко всему таинственному и неведомому. Особенно к тому, что произносилось вполголоса или шепотом.

Вполголоса обычно говорили о войне и каких-то законах или указах.

— Николай собирается взять в солдаты мусульман, — сказал как-то отец.

Матушка всплеснула руками:

— Вай, вай!

— Но губернатор Туркестана отсоветовал ему, — продолжал отец

тихо. — Им, говорит, доверять оружие нельзя. Пусть лучше помогают воевать с германом хлебом, мясом, маслом, хлопком...

— Хороший человек этот губернатор, — заключила матушка.

— Хороший, не хороший, а рассудил умно. Так-то царю выгоднее — сейчас ему нужны не солдаты, а хлеб и одежда. В городах, говорят, голод, да и армию кормить надо...

— Да, да, — согласилась матушка. — Однако от кого вы все это узнали?

— Ха! Есть сведущие люди. — Отец еще более понизил голос.

— От Мирзы Хашима. Он каждый божий день читает газету в своей лавке.

Матушка удивилась:

— Газета?! А что такое газета?

— Э-э, ну как тебе сказать! Ну, лист бумаги, на котором записывают все новости. Поняла?

Понятливости матушке не надо было занимать ни у кого: она легко догадалась, как выглядит газета. Вот только неясным было отношение Хашима к этому листку.

— И что же эту бумагу посылают лавочнику Мирзе?

Вопрос поставил отца в затруднительное положение. Он не поинтересовался у людей, каким образом газета оказывается в руках лавочника. Да это его не занимало. Главное, новости.

— Да, видимо, так, — решил он.

— Про налог зерном и мясом тоже сказал Мирза Хашим?

Отец кивнул:

— Именно. В листке все написано.

— А сколько солдат у русского царя и сколько у германа, не спросили?

В глазах отца выразилось крайнее недоумение:

— Зачем тебе это знать?

— Как зачем! Раз вы платите налог, то должны поинтересоваться, у какого царя больше солдат, кто из них выиграет войну.

Довод, кажется, убедил отца. Он задумался.

— Пожалуй, за такой вопрос могут в зиндан посадить. Разве царь объявляет, сколько у него солдат? Такую тайну в темном мешке

хранят... Впрочем, народ толкует, что герман сильнее Николая.

— Что это за народ?

— Э-э!.. Народ и народ, какая разница... Без ветра верхушки деревьев не качаются, идет слух... Наше дело ловить да помалкивать... Оставь свои речи, ташкентская, они до добра не доведут.

Сказал это отец строго и даже оглянулся, словно боялся, что кто-то чужой может услышать.

Так я узнал о существовании тайны. Оказывается, были слова, произносить которые запрещалось, они касались царя и войны. И не только запрещалось, из-за них могли посадить человека в зиндан.

А отец говорил. И матушка говорила. И все это я слышал собственными ушами. Ко мне попала тайна, беречь которую было страшно. И еще страшнее было обронить ее случайно, потерять. Если найдет кто из царских слуг — неминуемо наказание...

Да, я стал старше в тот год. И не потому, что вырос, а потому, что многое узнал.

### **Время цветения тюльпанов**

В тот год зима никак не хотела покинуть мир. Задувала ветрами, засыпала снегом. Джизак продрог, как овца в ветхом кутане.

— Хоть бы бог смилостивился над нами, — сокрушалась матушка. — Ведь не всем тепло, не у всех сандал топится.

— Еще девяносто дней не миновало, — объяснял отец. Он хорошо знал счет времени, и когда у кого-нибудь возникал вопрос о рождении месяца или его уходе, мог точно ответить. — Пршла только чилля — сорокодненье, а вот хийла не завершилась. А потом надо перетерпеть и старушечьи дни, самые злые и холодные в конце зимы...

— Да уж одно к одному, — вздыхала матушка, — пусть и старушечьи лютуют, лишь бы кончилось этим наше мучение. — Ей больше других приходилось испытывать на себе удары непогоды, думать о тепле в доме.

— Сорок дней терпела, потерпишь и сорок первый. Больше

прожито, меньшее осталось. После ахман-дахмана придет садпок, а потом и твой савр...

Почему отец назвал савр материнским, я не знал. Для меня это было просто время цветения тюльпанов, время, когда все кругом зеленеет, поднимается к солнцу, когда можно угорелым телком носиться по первой траве, купаться в ней, как в речке.

— Я люблю саврский дождь, — вмешался я в разговор старших. Мне очень хотелось выразить свою радость.

Меня не поняли. А может, и поняли, но сочли нужным не заметить.

— К лицу ли несмышленому ягненку подавать свой голос на совете отца с матерью. Сиди и слушай, если хочешь что-нибудь узнать.

Я прикусил язык и поглубже залез под сандал.

Отец все же пояснил:

— Два дождя хамала не стоят одного дождя савра. Саврский дождь кормит бедняка весь год...

— Да сбудутся ваши слова, — закивала головой матушка. — Хоть бы всевышний не обошел бедных. Если к войне еще и вторая беда прибавится — погибнем все...

— Бог милостив, — неопределенно заключил отец. — Подарит людям светлый Навруз.

При упоминании Навруза — дня Нового года, который у мусульман совпадает с 21 марта, лицо матушки посветлело. Она заговорила радостно, молодым голосом.

— О Навруз! Бог дал его женщинам в награду за мученичество.

— Не думаю, что бог, — заметил отец. — Когда женщина открывает лицо за порогом дома — это уже грех.

— Значит, вы и одного дня свободы в году не желаете нам?

— Э-э... Нужна ли человеку свобода, тем более женщине? За свободу слишком дорого платить приходится.

— Не говорите такие слова. Пусть хоть один день люди живут с крыльями, один день летают.

Я никогда не видел матушку такой взволнованной, такой необыкновенной. Значит, есть что-то на свете, кроме «гап-гаштака»,

кроме тутовых плодов и бумажного змея, что способно так зажечь, так осчастливить человека! Это — свобода.

Что такое свобода? Я не понимал значения этого слова. В глубине сердца свобода смутно представлялась мне ветром, несущимся над полем, над маковками деревьев, над всем миром. Или горным потоком, низвергающимся с высот. Или вольно парящим в небе орлом. Наша шумная беготня после школы, наши крики, наши проказы тоже чем-то походили на свободу.

Но матушка говорила о другой свободе, о какой-то светлой, великой и в тоже время порождающей грех. Так сказал отец. Я помнил Навруз. День, когда все покидали дворы и выходили на поляны, в рощи, в сады, к берегу реки. Выходили нарядными, веселыми, с песнями, музыкой. Женщины снимали паранджу — там, в рощах, на воле. Об этой свободе, видимо, говорила матушка. Снова приподнялся полог, загораживавший от меня смысл всего происходящего. Щель, через которую я смотрел на мир, стала шире. Приближающийся Навруз уже иначе представлялся мне. Нет, он не потерял своей радостной привлекательности, не поблек, но наполнился чем-то незнакомо таинственным, новым и важным. И прежде всего, понятием свободы.

Задолго до Нового года началась подготовка к празднику. Еще бесновалась непогода, еще сыпал снег и гудел зло ветер, еще опасно было выглядывать без шапки на улицу, а в каждой семье уже встречали весну. Шили платья, рубахи, тубетейки, собирали деньги на кавуши и ичиги, выдумывали украшения. Все, что имелось в доме из зимних запасов — сушеные фрукты, рис, сало, — запиралось на замок до Навруза. А если запасы иссякли, глава семьи шел к махаллинским богатым и брал продукты в долг, под осенний урожай. На осень все надеялись, осень должна была выручить. До осени расписки лежали в сундуках, а потом превращались в мешки зерна, куски дубленой кожи, живых овец, куски ткани. Радость одного дня дорого обходилась простым джизакцам. И все-таки они лезли в петлю, затягивали ее на своих тонких шеях, чтобы потешить душу, взлететь подобно птице. Один раз всего.

Едва повеяло мартовским теплом, люди словно переродились.



Только и разговору, что о Наврузе. Молодежь ночами бредила праздником. Возле дворов, как зайдет солнце, затевались песни. Юноши звали весну, торопили соловьев, вздыхали по любимым — любимым, которых никогда не видели, но которых мечтали увидеть в день Навруза.

К этим песням трепетно прислушивались девушки в ичкари. По голосу пытались представить себе зовущего и страдающего. Отзывались биением сердца, румянцем на смуглых щеках, тихим и грустным напевом дутара.

Сколько боли, радости и надежды таилось в их чистых душах! Какой пламень жег их сердца! Какие светлые слезы лились из их глаз! Если бы кто мог увидеть! Если бы кто мог проникнуть за высокие дувалы двора, за глухие стены ичкари — вечной темницы женщины. Юные узницы, как и всякие узницы, желали свободы. Искали ее. И один раз в году она даровалась им. В день Навруза.

Женщины собирались вместе каждую неделю, а перед праздником почти каждый вечер — надо было что-то дошить, довязать, довышить. Трудились и пели песни. Грустные песни — о горькой женской доле, о девичьей любви, что обещается и никогда не дарится, как не прилетает священная птица лайлатулкадр, делающая людей богатыми, о цветах, что увядают, не расцвев. И среди этих грустных песен были и песни надежды, песни Навруза, который единственный мог обронить девушкам счастье. Лишь каплю, но ясную, сверкающую.

Так перекликались песни улицы и песни ичкари. Пусть одни были тихими, робкими, пусть их не слышали измученные любовным томлением джигиты, но догадывались о них, чувствовали сердцем девичью тоску. И слезы тоже чувствовали. Сколько слез проливалось в ичкари!

Я слышал и видел. Видел потому, что был маленьким и мне открывались двери женской половины дома, любого дома, запретные для всех. Здесь существовал другой мир, мир робости, вечной покорности и вечного страха. Сюда не ступала нога постороннего мужчины — только отца, только братьев и сыновей. Отсюда начинался путь девушек в жизнь, прикрытую сеткой чачвана, и здесь

заканчивался.

Столетия могут приучить человека ко всему, но не к неволе. Тоска по солнцу, свободе таилась в глазах пленниц. Рождалась она еще в детских глазах, в глазах подростка, когда жизнь превращалась в ожидание близкого заточения, близкой тьмы. Вот почему с такой страстностью, с таким ожесточением они сбрасывали в двадцатых годах паранджу, жгли ее на кострах, топтали ногами. Жгли символ неволи. И умирали потом от ножей осатанелых фанатиков, но уже свободные.

Тому, кто не видел женщину прошлого, не понять весь ужас и всю трагедию ичкари. Трагедию юности. Не понять, почему так ждали они Навруза — единственного свободного дня.

И вот он наступал....

Все было готово к его встрече в каждом дворе, на каждой улице. Еще до рассвета звенели стекляшки бус и посеребренная медь браслетов. Уже заплетены и переплетены косички на девичьих головках, покрашены усмой брови, насурмлены ресницы. Все от мала до велика нарядно одеты. Все ждут восхода солнца. Оно появляется над Джизаком из-за гор, из-за золотого Зеравшана, из-за далеких степей и пустынь. Тих и темен город, но он не спит. Он ждет первых лучей Нового года.

Наконец посветлел восток, разлилась каплей голубого серебра утренняя звезда и погасла. Золотой туман на кромке земли известил о рождении Навруза. В это же мгновение ожили улицы. Из тысяч калиток и ворот вышли люди, выкатились арбы, потекла пестрая толпа через город, наполняя его шумом и весельем. Заревели кармаи, запели сурнаи, загремели дойры. «Бака-ум-банг» — именно так звучали они еще до рассвета, подогретые музыкантами.

Два места было в Джизаке, где проводился праздник — в горах «Кутир-блок» и на аллее «Хожигазиен». Почему здесь? Потому, что ко дню Нового года предгорья покрывались буйной зеленью и цветами, голубой простор поднимался над головами и ясно светило солнце. Все напоминало давние времена, когда предки наши жили в степи, когда не было еще ни веры мусульманской, ни черных пологов неволи, принесенных ею. Навруз — не религиозный праздник, он не

связан с почитанием каких-либо святых. Это память прошлого, символ единения с природой пастуха и земледельца, которые хотели жить в дружбе с могучими силами земли и неба.

Ни молитв, ни церемоний, лишь омовение лица перед дастарханом. Муллы и дервиши всячески переиначивали Навруз на свой божественный лад. Шли впереди праздничной толпы, окуривали травами пищу, выпрашивали у верующих дань в пользу мечети и монашеского ордена каландаров. Но это все было только платой мусульман за старания и навязчивость слуг аллаха. Сама суть праздника была далека от всего религиозного. Стоило лишь посмотреть на просветленные лица людей, на улыбки, на тюльпаны, горящие в руках и волосах девушек, чтобы понять, как чужда мученическая идея религии ликующим весной людским сердцам. А муллы, смущенные, испуганные этим проявлением любви к жизни и свободе, цепляются за подолы мусульман, забегают вперед, шепчут молитвы, напоминают о божьей каре. И тянут, тянут деньги. Тянут, пока добры и веселы джизакцы, пока их души полны братской щедрости и каждый готов поделиться всем, что у него есть, даже последним.

И каким укором шариату предстают печальные лица женщин, молодых женщин, идущих на праздник, лица девочек-матерей.

Я увидел дочь соседа с ребенком на руках. Девочку, с которой мы недавно играли. Она немного старше меня, но все же девочка. И мать.

Боже, как она изменилась! Бледное изможденное лицо, впавшие глаза, до того впавшие, что кажется, их вовсе нет, только глубокие ямки и темное тусклое дно. И все это обрамлено черной полосой накрашенных бровей. Безжизненная тень. Худенькие ручки не в состоянии держать дитя, и пальцы напряжены до синевы. Тринадцатилетняя жена идет робко и неуверенно за свекровью — полной, рыхлой женщиной, за бабушкой — костлявой старухой. Не радуется юная мать ни своей юности, ни своему материнству, ни этой весне, что льется с ясного неба, с гор, усыпанных первой зеленью и первыми тюльпанами. И все же губы ее чуть-чуть улыбаются, грустно улыбаются, но не в ответ на дыхание весны. Это отблеск минувших весен, детских, безмятежных, невозвратимых, когда она была еще

свободной и здоровой. Теперь она больна и угасает, как огонек в степи.

— Бедненькая, — шепчутся между собой женщины, бросая скорбные взгляды на девочку. — Родила лишь одного ребенка, а превратилась в обмылок.

Я забегаю вперед и смотрю бесцеремонно, со свойственной детям жестокостью на молодую мать. Я хочу уяснить смысл сказанного женщинами, хочу понять, куда девалась веселая Рано, та Рано, что бегала с нами взапуски по берегу Наймана, бросала через дувал подругам черешню, смеялась громко, когда видела, как кружатся наши змейки на ветру. «Обмылок» — что это значит?

Сзади слышен чей-то вздох:

— Не долго протянет...

Умрет. Рано умрет — это мне понятно. Девочка, почти сверстница моя, должна покинуть мир, и ее понесут, покрытую белым саваном на кладбище. Сейчас она идет в праздничной толпе, увешанная бусами — дешевыми стекляшками всевозможных цветов, серьгами и браслетами, которые сваливаются с ее худых до неимоверности рук, а с ней рядом — смерть. И я понимаю, что остановить эту страшную, безжалостную тень нельзя, она уже сроднилась с девочкой, держит ее, считает своей. Может быть, для нее сегодняшний Навруз последний в жизни. Поэтому из глубины, откуда-то из прошлого, из детства, она смотрит с грустной надеждой на весеннее небо, ясное, синее, вечное. Сейчас от меня ничего не зависело, как не зависело ни от одной женщины, идущей рядом с девочкой, хотя они и были добры, строги, умны, осенены мудростью жизни. Торжествовал закон шариата, против которого бессильно все человеческое. Протест — это уже грех. Кто возьмет его себе на душу? Никто. Рано должна умереть.

И она уже умирает...

Мы идем к Хужагозиен. И она идет, бессильная, стараясь не упасть перед началом торжества.

— Бедненькая! — вот все, что смогли выразить погибающему ребенку люди.

Аллея Хужагозиена уже гудела тысячами голосов. Окаймленная высоким дувалом, устланная ковром молодой травы, увешанная

гирляндами первых листьев, она, как остров весны, манила к себе джизакцев. Едва вступив в сад, они растекались по его зеленому ковру, отыскивая места по душе: кто любил глубокую тень, тот избирал подножие старого развесистого карагача, уже обрядившего свои ветви цепочками изумрудных монеток; кто любил легкую, словно шелк, сень, устраивался у воды под ивами; а кто дружил с ветром и ясным небом, садился рядом с тополями, гордые головы которых упирались в самую синь. Тополя только что отцвели, сбросили мохнатые сережки и предстали перед людьми в ярко-зеленых халатах. Да, мир был юн и прекрасен в день Навруза.

Здесь, в Хужагозиене, царствовали женщины. И дети. Мы, мальчишки, пользовались особой привилегией, могли менять место — то быть возле матерей и сестер, то присоединяться к мужчинам, которые находились за пределами сада.

В саду нам больше нравилось. Хужагозиен походил на луг, усеянный самыми разнообразными цветами, — так красили его платья девушек, платки и сюзаны, развешанные и расстеленные всюду, паласы и курпачи — словом, все, что люди принесли с собой, что одели на себя.

Середина сада была особенно яркой. Здесь, вокруг большого хауза с кристальной голубоватой водой, высились глинобитные террасы — супы, украшенные коврами и паласами. Каждая семья избирала место и располагалась как дома. Рядом устраивались очаги для котлов — когда поднимется высоко солнце, в них зашипит масло и по всему Хужагозиену разнесется запах жареного лука, а потом и мяса. В день Нового года каждый старался сварить плов с мясом — праздник!

За какие-нибудь два-три часа сад оказался заполненным, но поток людской не иссякал. Ворота, распахнутые настезь, принимали все новые и новые толпы джизакцев. Они растекались по аллеям, пытались найти свободный зеленый уголок. Однако все было занято. Если бы вдруг поспел персик и вздумал упасть с дерева на землю, то обязательно угодил бы в тубетейку джизакца. И все же люди не оставались неприкаянными. Кто пришел первым и уже имел место, приглашал опоздавшего.

— Не ищите понапрасну того, чего нет, — говорили добрые джизакцы. — Идите к нам: посадите невестку на почетное место, а сами располагайтесь рядышком. И самовар наш велик, и котел не мал, на всех хватит...

В то время, как взрослые устраивались на супах, готовили угощение, мы взбирались на высокие ветви карагачей и привязывали качели. Катание на качелях было самым веселым и захватывающим развлечением на празднике. Девушки оспаривали первенство, взлетая высоко над садом. Но это позже. Пока они ходили стайками по аллеям и рассматривали невест.

Невестам не полагалось покидать супу. Они обязаны были встречать гостей, то есть всех, кто приближался к дастархану. Наряженная как можно ярче и богаче, девушка на выданье стояла возле супы и церемонно кланялась. При этом правая рука ее, поднятая над золотистыми бровями, придерживала шелковый платок, прикрывающий волосы, а левая лежала на груди. Каждый поклон сопровождался тихим звоном украшений, которых было множество и на шее, и на голове, и на руках. Звон этот напоминал собой какую-то мелодию из песни и был очень приятным. Руки, умытые хной, словно опаленные рубиновым пламенем заходящего солнца, сияли кольцами и браслетами. В ушах горели простые, но приметные слезинки серег из бирюзы, а на груди колыхалась целая волна разноцветных бус. Невеста, которая не хотела остаться незамеченной во многоликом таборе Хужагозиена, должна была одеть еще и платье из атласа или шелка, или хотя бы из цветного ситца, и жилет из бархата.

Наряжалась она так не ради соседок, не ради проходящих посмотреть на невесту девчонок. Знала, что о новом наряде ее станет известно за стенами сада, где толпятся парни и среди них жених ее. Жених, которого она не видела и который тоже не имеет представления о своей будущей подруге. Он рисует ее портрет по описаниям старухи свахи или собственной матери и сестры, имеющих доступ в ичкари. Но сегодня Навруз, и он сможет одним глазком глянуть на нареченную и, возможно, уже купленную за калым. Одним глазком...

В этом помогаем жениху мы, мальчишки. Я уже говорил, что

детям разрешалось перебежать из одного лагеря в другой. За дувалом Хужагозиена целый базар. Здесь торговцы жареной рыбой, лепешками, халвой, нишалдой, изюмом, пловом, шашлыком. Расторопные чайханщики раскинули походные чайные прямо у стен, парикмахеры расположились на берегу арыка, бакалейщики весь свой товар держат на плечах. Ну, а где базар, там шум, крики, смех.

— Подходи! Подходи! — зовет один. — Леденцы — язык проглотишь!

— Испробуй моего шашлыка! Из молодого барашка. Сам растил, сам резал, сам готовил — тебе предлагаю! — кричит другой. — За деньги — шашлык, без денег — запах, все равно сыт будешь!

— Молодой ремень! Сочный ремень! — перебивает третий. — Ни хлеба, ни мяса не надо. Сочный ремень!

А там и четвертый, и пятый, и шестой:

— Лепешки ширман! Лепешки ширман! Только что из тандыра, пальцы обжигает!

— Чак-чак! Половина — сахар, половина — мед!

Мы сновали между торговцами, отыскивая женихов, настоящих и будущих. Собственно, их и искать не приходилось: сами попадались.

— Эй, не хочешь ли отведать халвы с орехами? — так звучал примерно условный сигнал.

Конечно, хотим. Какой воробей откажется от конопляного зерна? Нет такого воробья. Нам вручают кусок халвы с орехами, или с маком, или с миндалем, или просто леденец, тог самый леденец, что известен во всех частях света в виде гребешастого петушка или райской птицы. Потом излагают просьбу. Излагают, заикаясь, вздыхая: парню надо передать любимой или нареченной подарок. Пустяшный гостинец, вроде того же куска халвы или горячей лепешки с ломтем аппетитно пахнущей жареной рыбы, или палочки бараньего шашлыка. Главное — не рыба и не лепешка, а внимание, которое оказывается невесте. Сейчас подобное преподношение, возможно, вызвало бы насмешку девушки. Но тогда и рыба и палочка шашлыка были лакомством, не часто касавшимся губ узницы ичкари.

Умный и дальновидный жених, кроме невесты, обязан был позаботиться и о будущей теще — ей тоже посылался гостинец, опять

же рыба, шашлык, нишалда или халва.

Все это мы, мальчишки, переправляли в сад. Находили там невесту по описаниям парня. Но это было не просто: полгорода в Хужагозиене, попробуй отыщи нужную девушку среди сотен, а может, и тысяч подобных. Но мы смело принимались за дело и, конечно, вручали подарок той, которой он предназначался.

Самой сложной и даже рискованной была другая миссия — заочно познакомить парня с девушкой. Тут уж требовалась находчивость и хитрость. Никто не должен был знать о намерении юноши — ни мать, ни сестры, ни соседи. За подобное знакомство наказывали. Прежде всего посылали проклятия на голову «беспутной и падшей» дочери, посмевавшей думать о постороннем мужчине, искать с ним встречи, любить не нареченного. Главное, открыть лицо перед ним. В этом, собственно, и заключалась суть греховной затеи.

— Запомни! — говорил мне какой-нибудь отчаянный парень, потерявший от любви голову. — Запомни, никто, кроме Кумри, не должен знать об этом. Пусть тайком улизнет от матери.

— О?! — испуганно произносил я и тем подчеркивал опасность затеи.

— Ничего, ничего... Если любит, пусть решится.

— А что она скажет матери?

— Да что-нибудь... Мол, хочет посмотреть невесту в другом конце сада.

— А потом?

— Потом пройдет в сторону кладбища, к большому мазару... Я буду ждать там. Понял?

— Понял.

— Ну, беги.

— Ой, страшно.

— Тебе-то почему страшно?

— Узнают старшие — уши оторвут.

— Не зевай.

— Да и Кумри достанется. Вдруг шейхи заметят.

— Шейх не заметит, а если заметит, так отвернется. Мы на глаза ему положим пару серебряных...



— Тогда бегу к Кумри.

— Беги и не забудь сказать ей, чтобы у кладбища повернулась лицом к дувалу. И пусть не боится. Ни одна душа, кроме нас, не узнает об этом...

Так, украдкой, таясь чужих глаз, рискуя навести на себя гнев шейхов, молодые люди ловили счастье. Призрачное счастье. Редко, редко оно касалось своими лучезарными крыльями влюбленных. Чаще всего, да, пожалуй всегда, судьбу двух сердец решала традиция. Безжалостная, подчиненная религиозному закону. О чувствах тут не могло быть и речи. Ведь по мусульманским обычаям любить разрешалось лишь нареченного, то есть того, кто был сосватан еще в детстве и от которого получен калым. Он мог оказаться уродом, калекой, немощным существом, однако закон принуждал женщину становиться его женой и рабыней.

Но это потом! В Новый же год традиции уступали место естественным чувствам людей. Вспыхивал огонь, таившийся в каждом юном сердце, он жег его радостью, надеждой. Кружил головы. Толкал на риск и геройство. Опасен был день Навруза. И прекрасен...

Я отвлекся от самого торжества, следуя тропинкой влюбленных, которая вела в глубь сада Хужагозиен, даже к кладбищу вела, зеленому, цветущему в то время года.

Вокруг хауза разгоралось веселье. То там, то здесь возникали кружки, в центре которых танцевали девушки под дутар и бубен, пели песни, читали стихи. Стихи Навои, Суфи и свои собственные. Не просто пели и не просто читали. Шло состязание, горячее, вдохновенное — талант противостоял таланту, красота спорила с красотой. Все лучшее, что таилось в ичкари, представало озаренное солнцем перед тысячью глаз. О, какие брови, какие косы, какие руки мелькали под дробь дойры! Как изгибался стройный стан, как очерчивались юные линии под легким шелком! Если были в неземных садах Эдема чудесные перы, то именно в день Навруза они спускались на аллеи Хужагозиена. Это они пленили всех своей юной красотой, своими танцами, своими стихами...

А что могло сравниться с игрой на чангавузах! Звук этого

нехитрого инструмента, состоящего из тонкой, словно лепесток розы, пластинки, прикладываемой к губам, покорял всех. Девушки выстраивались в ряд и по кивку головы крайней начинали песнь. Да, песнь, потому что чангавузы обладали удивительным сказочным голосом, тонким и тихим, как далекий шум ветра, шепот воды или звон серебряной струны. Или все вместе соединенное. Звук этот откликался в душе человека радостным трепетом, легкой грустью и мечтой. Что-то сладостное, убаюкивающее было в пении чангавузов, словно погружалось сердце в прохладные волны и они несли, несли его куда-то в бесконечное, озаренное голубыми сумерками.

Услышав пение чангавузов, люди замирали, охваченные светлым чувством. Слушали не дыша. Понимали звуки чангавузов, разгадывали их:

Жених, жених! Кому жениха? Жених, жених! Кому жениха?

Жених, жених — мне жениха! Жених, жених — тебе жениха!

Тебе жениха, тебе жениха... бие-бие, бие-бие...

На этом «бие-бие» чангавуз замирал мечтательно, а может, и огорченно...

Другой берег пруда в это время оглашался дерзкими выкриками дойры: «бака-ум-банг!» Там девушки плясали и пели частушки. А где частушки, то обязательно смех — веселый, заразительный, охватывающий все вокруг быстрым горячим пламенем. Простившись с грустным напевом чангавузов, я бежал к огню веселья, чтобы услышать лапары — частушки. Мы, мальчишки, знали лапары наизусть, да и кто их не знал, кто не певал в дружеском кругу. Однако обычное исполнение не шло ни в какое сравнение с исполнением на празднике. И голоса звучали иначе, и слова казались более острыми и смешными. А ужимки, а мимика! Тут уж нельзя было удержаться — все вокруг буквально покатывались со смеху.

За лапарами следовали спокойные, размеренные и грациозные танцы. Один пленительнее другого. Запомнилась мне одна исполнительница. Танец ее был особенным. Вся пронизанная каким-то внутренним огнем, девушка плыла по кругу под упругие, подчиненные волшебному ритму удары дойры. Каждую минуту, при каждом изменении магического ритма танцовщица преображалась: то

летела подобно птице, кружась и расправляя крылья-руки, то скорбно замирала, трепетом плеч передавая страдание, то падала на колени, прося о чем-то, то снова, подхваченная вихрем, светло и счастливо устремлялась ввысь. Глаза ее при этом опалялись солнцем, горели торжественно и победно. И красота, дарованная ей судьбой, представала перед всеми: лицо, резцом невидимого творца очерченное плавными линиями; миндалевидные веки с густыми ресницами, тяжело и томно опущенными на щеки; нежные губы, чуть приоткрытые, словно истомленные жаждой и просящие утolenия; точеная шея; тонкая и гибкая талия, подобная лепестку тюльпана, перетянута шелковой тесьмой. И вся она казалась то восторженной и смелой, как Ширин, то ласковой и печальной, как Лейли.

В тишине, что рождена восхищением, девушка закончила танец и замерла. Наградой ей были громкие возгласы одобрения и благодарности.

После танца, как и после пения чангавузов, было сладко и необыкновенно хорошо на душе. Мне самому хотелось петь, плясать, мчаться по зеленому ковру сада, делать необыкновенное. Кричать, чтобы все вокруг знало о моей радости.

И я бежал по саду и что-то выкрикивал, как и остальные мальчишки, смеялся безо всякой причины.

Было еще одно зрелище, восхищавшее меня в день Навруза, — катание на качелях, тех самых качелях, что мы подвешивали перед началом праздника. Некоторым удавалось подвязать их на очень длинных веревках — метров в десять-двенадцать — к самым высоким деревьям или между деревьями. Вот на этих больших качелях состязались девушки в удали и смелости. Я не мог смотреть без замиранья сердца на этот полет в поднебесье.

Полет начинался с медленных раскачиваний, когда, пружиня ноги, приседая и вытягиваясь в рост, откидывая головы с десятками веселых косичек, устремленных в разные стороны, будто стая ласточек, бесстрашные красавицы бросали себя ввысь, туда, где царил весенний ветер и горело солнце. Там, именно там, была свобода. Оттуда, с высоты, на короткое мгновение они, эти вечные затворницы ичкари, бросали земле свой трепет сердца, свой вызов.

Если бы можно было оторвать нити, связывающие их души и тела, и полететь. Полететь вольными журавлями, которые в дни Навруза проплывали курлыкающими треугольниками над Джизаком, маня за собой узниц!

Не рвались крепкие нити, не улетали девушки. Только казалось, что они летят.

Иные вспархивали так высоко, что люди внизу кричали:

— Ой, страшно!

Но разгоревшееся сердце не слушалось, не могло остыть от чужого возгласа, и все летело и летело, пока голова не начинала кружиться. Самой смелой и неудержимой в полете была все та же юная танцовщица, покоровшая всех своей красотой и своим искусством. Она забралась так высоко, что тонкое тело ее вырвалось подобно соколу на простор, над макушками деревьев и одиношенько парило там. Все в солнце, все в ветре!

— Остановись! — предостерегали внизу.

Она не слышала людей. Казалось, уже покинула их навсегда и теперь породнилась со свободой. Лицо ее горело румянцем, глаза были широко открыты, голова запрокинута назад. Когда она пролетала над нами и короткое мгновение мы были близко от нее, я видел, что губы у девушки улыбаются счастливо и светло, как в волшебном сне, и ничего, ничего не нужно ей, кроме высоты и этого упоения волей.

Не знаю, почему такие прекрасные, свободолюбивые существа, способные излучать для других радость и счастье, сами не пользуются этим счастьем. Они живут над миром и погибают, едва коснувшись земли. Красавица танцовщица как самая обычная узница ичкари была продана в дом богатого, но нелюбимого человека и через несколько месяцев умерла. Не то отравилась сама, не то ее отравили старшие жены мужа.

Этот Навруз для девушки был последним. Судьба сроднила ее с несчастной Рано. Но та шла на праздник уже больной, угасающей, смотрела на весну печальными глазами гостьи, а эта жадно и страстно вдыхала в себя ароматы цветения. Пила радость молодости, захлебывалась ею. Ведь она была красива и сильна, как бывает

красива сама жизнь в эту пору рдения тюльпанов. И все же смерть подстерегала ее и настигла. Настигла в ичкари, там, где рождались и умирали женщины Востока.

Но смерть была где-то впереди. В тот день мы не видели ее, не ждали.

День горел, пламенело веселье. И я думал, что это тоже вечно, как вечен Джизак и все, что окружало меня.

### **Родник ишана не утоляет жажду**

Не зря в народе говорят: «Нет цены речке, протекающей рядом». Эту истину джизакцы уяснили хорошо и берегли ручьи, с давних времен наводнявшие город. Вернее, то были не ручьи, а арыки, вытекавшие из канала Туятортар и пересекавшие Джизак в разных направлениях. Насчитывалось их двенадцать. Почему именно двенадцать, не знаю, возможно больше, возможно меньше, во всяком случае, арыков этих хватало для того, чтобы напоить людей, сады и скот, полить улицы, принять в себя сотни ребячьих тел, изнывающих летом от жары. Если кончалась вода в хаузе — в июле он пересыхал, — люди шли с ведрами и кувшинами к арыкам. А теперь не стало воды ни в хаузе, ни в арыках, ни в самом Туятортаре...

Ушла вода, и почему — мне тоже не было известно. Но пить хотелось. Кто знает азиатское солнце, не станет спрашивать, отчего так мучит жажда летом. В доме — ни капли. Матушка посылает меня в дом ишана Абдуга-фура, или, как его звали в махалле, ишана-ювелира, владельца мастерской по изготовлению украшений из золота, серебра и драгоценных камней. У ишана был свой собственный колодец, и в трудную минуту люди ходили к нему за ведром воды.

Я взял два небольших ведерка, повесил на коромысло и пустился по дороге. Вприпрыжку пустился. И не потому, что мне было очень весело. Напротив, поручение матушки не вызывало в моем сердце никаких восторгов. Просто земля была настолько раскалена палящим с совершенно чистого неба солнцем, что ступить босыми ногами на нее и тем более держать какое-то время их в горячей пыли мог лишь

человек, приговоренный к пытке. Поэтому я, словно курица, скидывал то одну, то другую ногу, спасаясь от огненных поцелуев земли, сравнимых по температуре, пожалуй, только с прикосновением нагретой докрасна сковородки.

Нужно еще объяснить, почему поручение матери не вызвало в моем сердце восторга. Провожая меня к ишану, она сказала:

— Не смей к колодцу подходить один. На дне прячутся злые духи, подкарауливают детей. Если услышишь свое имя — Назиркул, — не вздумай откликаться! Знаешь кривого Карима? Вот таким станешь и ты...

Мне не хотелось быть криворотым, да и кому хочется ходить всю жизнь со скошенными набок губами. Прыгая, как курица, с ноги на ногу, я не особенно торопился выполнить поручение матушки, тянул время, надеясь попасть далеко не первым к дому Сидикхана. И все же оказался первым. Во всяком случае, никого поблизости не было.

Что делать? Бессовестные духи сидели в колодце и ждали, когда я появлюсь один-одинешенек, чтобы тут же начать свое колдовство. Нет, лучше потерпеть, дожидаться кого-либо из взрослых. С этой мудрой мыслью я устроился возле калитки. Конечно, когда солнце печет и рот сухой, будто его целую неделю выветривали и прогревали под сандалом, никакие другие мысли, кроме как о воде, не лезут в голову. Я смотрел на улицу, а думал о тенистом дворе ишана, о чудесном колодце, где глубоко-глубоко плещется прохладная влага, способная мгновенно утолить жажду. Да что прохладная — ледяная, стоило лишь прильнуть губами к краю ведра, наполненного свежей колодезной водой, как сводило губы от холода. Чудесный колодец у ишана. Человек, прихвативший пару ведерок воды из него, уподоблялся счастливцу, нашедшему на дороге кошелек с деньгами.

В этот раз мне не пришлось долго высиживать у калитки. Появились люди. Много людей — шумные, злые, нетерпеливые. Не попытались пройти в калитку, а стали стучать в нее. Оказывается, она была закрыта, а я, чудак, думал, что нет желающих войти во двор ишана и набрать ведро холодной воды. И еще оказалось, люди эти уже второй, а может, и третий раз барабанили по толстым карагачевым доскам, просили хозяина открыть калитку и, не

добившись ничего, уходили. Теперь они снова вернулись.

— Откройте дверь, господин! — кричали люди.

Господин, или, как называли богатого и влиятельного человека в наших краях, — таксыр, не откликнулся.

— О наш пир! — не унимались люди, — смилостивитесь над жаждущими, дети с утра не видели капли воды.

Пир, то есть духовный наставник, как и положено всякому духовному наставнику, просьбу людей переадресовывал богу.

— На все воля всевышнего, иссякла вода в колодце. Я сам жаждущий и с пустой пиалой сижу в ожидании. Или вы думаете, мои дети не мечтают о капле воды.

— Да, да, мы сочувствуем, господин, — не унимались столпившиеся у калитки, — но разрешите нам своими глазами увидеть пустой колодец и тем самым охладить жар сердец.

Ишан был хитер, иначе ему не пришлось бы нести на себе бремя этого титула. Он ответил людям:

— Если бы вода текла в колодце, то и дверь была бы открыта, таково мое правило. Раз дверь закрыта, значит и вода прекратилась. Или ваши разгоряченные головы не могут понять подобной истины?

— Вы мудры, таксыр, но разрешите нам устыдиться собственных подозрений, дайте глянуть в колодец!

— Так что же, я должен посторонним показывать свою собственность? Греховные мысли недостойны правоверного! Ведь никто из вас, упаси аллах, не поднимет чачван и не покажет чужому лицо своей жены. Зачем же вы требуете подобного от меня?

Ишан был похож на нашего домуллу своим умением выворачиваться из любого, даже самого трудного положения. Видимо, все, причастные к духовным делам, были изворотливы и лицемерны. Я тогда еще верил Сидикхану, и мне казалось, что люди напрасно настаивают, пытаясь уличить ишана во лжи, — он говорил усталым, жалостливым голосом, и слова его звучали убедительно.

Я верил — люди, толпившиеся у калитки не верили.

— Откройте, таксыр, нехорошо испытывать чужое терпение.

— А хорошо ли испытывать мою доброту и без единой таньга черпать ведрами воду.

Вот, оказывается, в чем дело: в городе нет воды и ишан решил заработать на собственном колодце.

— Разве благородно отказывать в подаении жаждущему? — спросил молодой парень, громче всех стучавший в калитку. Спросил зло и поднял ногу, чтобы пнуть с силой дверь.

— Не вам учить меня, ишана, благородству, — ответил Абдугаруф. — Сказано, нет воды — и проваливайте подобру-поздорову!

Прояви большую сдержанность ишан не произошло бы того, что случилось в следующее мгновение. Толпа налегла на калитку и стала сотнями кулаков и ног колотить ее. Крепкое дерево глухо и недовольно отзывалось на удары, но стояло непоколебимо. Тогда тот зло спрашивал у Абдугаруфа, бросил свое ведро и крикнул:

— Да что ждать от ишана!

Это была уже не просто злость, а злая решимость. Парень кинулся к дувалу.

Мне стало страшно. Прихватив ведерки и коромысло я прижался к стене и испуганными глазами смотрел на разгневанных людей. Стук, крики взбудоражив улицу. Самыми страшными были не крики, не гнев а греховная суть самого события: верующие поднимали руку на ишана, на духовного наставника, человека, освященного самим богом, иначе говоря, поднимали руку на самого бога. Конечно, они ничего не сделают с ишаном, а вот возмущенный властитель небес ответит страшной карой. Вот чего я боялся.

Вера моя в святость ишана была непоколебима. Это я уяснил от матушки, от всех старших. Ведь меня со дня рождения отдали под защиту святого Шахи-Зинда, я знак этого отрастили косичку на моей голове. Матушка часто водила меня к одному из ишанов Джизака Баба-хану, соседу Абдугафура, который совершал всякие заклинания, долженствующие оберегать посвященного от несчастий. В прошлом году Бабахан по просьбе матушки гадал, какая дорога ждет меня в будущем. Матушке, конечно, хотелось видеть сына образованным, даже ученым человеком, и она с надеждой смотрела в глаза ишану.

— М-да, — произнес Бабахай. — Будущее открывается не по простому желанию человека, а лишь после приношения жертвы,



угодной всевышнему. На смутном пути мальчика видится мне ягненок с белым пятнышком на лбу, через него мы только и узнаем истину.

Матушка поняла ишана. Собрала деньги, заняла какую-то сумму у дяди и подалась на базар отыскивать ягненка с белой отметиной на лбу. Оказалось, что такие ягнята рождаются не часто, во всяком случае, не каждый день и, следовательно, стоят дороже. Бедная моя матушка снова обратилась к дяде и, увеличив долг, приобрела, наконец, жертвенное животное, которое отчаянно брыкалось и блеяло, не желая идти в дом ишана. Мы приволокли ягненка на аркане. Приволокли и стали перед мудрым Бабаханом, ожидая решения собственной судьбы: слева матушка, справа я и рядом со мной ягненок, украшенный белым пятнышком.

— Именно этого ягненка я видел на смутной дороге будущего, — произнес ишан, разглядывая жертву. — Великое счастье! Создатель сам отдал в руки матери судьбу сына.

Легко понять, какой радостью наполнилось сердце моей матушки при этих словах. Слезы благодарности богу, надо полагать, скатились с ее глаз.

— Привяжи ягненка вон к тому дереву, — сказал мне Бабахан, — а сам пройди в мою комнату. О матери позаботятся служанки.

Я сделал все так, как велел ишан, и оказался в небольшой, но богато убранной комнате, устланной мягкими шелковыми курпачами. Бабахан сидел у стены, а мне указал место напротив. В глубокой тишине прошло несколько минут. Ишан, закрыв глаза, шептал что-то беззвучное своими толстыми, отвислыми губами, потом приподнял слегка веки, глянул в мою сторону и обронил таинственное:

— Куф-суф!

Непонятное слово было подкреплено легкими ударами четок о мою голову и плечи. Затем он снова закрыл глаза, снова пошевелил губами и снова коснулся четками моих плеч и головы. Так повторилось несколько раз. Придавленный окружавшей меня таинственностью, онемевший от страха, я сидел не шелохнувшись и не сводил глаз с ишана, с его лица, выражавшего полное отрешение от всего земного. Он находился в эти минуты где-то далеко и,

возможно, разговаривал сейчас с самим богом. И разговаривал обо мне, босоногом мальчишке по имени Назиркул. Да, тут было отчего потерять дар речи. Что там решит всевышний? Исполнит ли желание моей матушки, сделает ли меня образованным человеком?

Больше всего я робел при ударах четок и слове «куф-суф!». Что-то важное и, наверное, решающее было в нем. Но вот оно прозвучало последний раз. Ишан открыл глаза, устало глянул на меня и сказал:

— Позови мать!

Я выскочил во двор испуганный и ошалелый. Приказание Бабахана, видно, связывалось с каким-то решением бога и сейчас это решение в присутствии матушки будет объявлено. Когда я вернулся с ней в комнату, там уже находились прислужницы. Они держали бедного ягненка, который все еще упирался и жалобно блеял. Ишан на наших глазах сделал надрез на кончиках ушей ягненка и, подставив пиалу, набрал в нее крови. С пиалой он удалился, пробыл где-то минут десять-пятнадцать и вернулся уже с бумагой, свернутой несколько раз. Сквозь белую ткань просвечивали красные буквы молитвы, написанной кровью.

— Возьми! — сказал ишан, протягивая матери записку. — Здесь заклинание...

Матушка бережно приняла бумагу пальцами, прикрытыми рукавами, чтобы не осквернить святость простым прикосновением, поцеловала и завернула в платок, снятый с головы.

Дома заклинание было зашито в черную саржу треугольником и прикреплено навечно к моей тубетейке.

Ягненок к нам не вернулся, как не вернулись и к другим мусульманам ягнята, взрослые бараны, козы и даже телки годовалые. Несчастливым людям хотелось с помощью жертвы защитить себя от напастей, что валились на них, как из рога изобилия. Наивные, они, отрывая от себя последнее, надеялись задобрить с помощью ишана судьбу свою. Ишана задабривали, а вот судьбу — нет. Она продолжала быть к ним жестокой и беспощадной.

Новая напасть — безводье. Оно привело толпу жаждущих к дому Абдугафура. Привело без жертвоприношений, с пустыми ведрами. И калитка оказалась закрытой.

Всегда, сколько я помню себя, закрытая калитка в доме мусульманина была священным рубежом, переступать который не смел никто. Отворявший ее насильно не мог надеяться на снисхождение или прощение. Хозяин имел право убить незваного гостя. И вот священный рубеж одолевали с громким шумом жаждущие. После каждого залпа кулаков я закрывал глаза, боясь небесной кары. Мне чудилось, что в следующее мгновение загремит гром или ударит молния и испепелит все вокруг.

Но гром не гремел, и молния не сверкала. Звучали лишь удары кулаков. Вдруг они смолкли. Люди замерли, пораженные небывалой смелостью парня, о котором я уже упоминал: он кинулся к дувалу и в какую-то секунду взобрался на гребень. Перевалил его, спрыгнул во двор — мы слышали стук сапог — и скинул щеколду с двери. Толпа втекла во двор, как в горлышко кувшина, и заполнила его телами, криками, угрозами.

Это было равносильно светопреставлению. Страх перед духовным наставником, перед силой богатого смяли возбужденные и озлобленные. Смяла жажда. Пир стоял на террасе и махал руками, призывая правоверных к благоразумию, предостерегая их от необдуманных поступков. Его не слушали. Люди торопились к колодцу, где хранилась живительная влага.

Колодец ишана был страшно глубоким, дна, во всяком случае, никто не видел, оно терялось где-то в прохладной темноте. Не увидели его и сейчас. Облепили кирпичное кольцо десятки любопытных, перегнулись через барьер и замерли в недоумении.

— Тихо! — крикнул кто-то. — Откройте уши, если вода есть в колодце, мы ее услышим.

Желание обнаружить воду было настолько велико, что толпа сразу онемела, словно люди проглотили языки.

Минуту или две царила тишина, потом самый чуткий из жаждущих неуверенно произнес:

— Журчит, кажется...

— Тсс... В самом деле журчит.

— Вода, вода! Есть вода! — зашумели все радостно. — Скорее веревку!

Веревки не оказалось. Длинной веревки, с помощью которой спускали в колодец ведро и поднимали его обратно наверх, не было на обычном месте.

— Эй, где веревка?

— Ведра с кольцом тоже нет!

— Вот до чего доходит жадность ишана — богом созданную влагу отнимает от людей.

— Ишан верно жаден. Может, попросим ишаниху, у женщины сердце мягче — мать все-таки!

— Э-э, птенец делает то, что видит в гнезде. Не от нее ли ишан выпитал все худшее. Небось материнское молоко было с ядом.

Так рассуждали огорченные джизакцы, стоя у колодца и мечтая о воде. И не было в их словах ни уважения к важному человеку в городе, ни страха перед святостью его сана. Вообще ничего не было, кроме злости.

Я не понимал этих людей. Как могли они нарушить запрет, как посмели ворваться в дом ишана и поносить его всяческими словами? И главное, почему бог не покарал их? Первое сомнение, ровно искра, вспыхнуло в моей голове. Вспыхнуло и принесло с собой недоумение. Значит, можно! Можно отворить калитку, растоптать все преграды, смело крикнуть духовному наставнику, что он лжец и обирала. Теперь подобный вывод может показаться наивным, а сомнения ничтожными. Тогда, более полувека назад, мое открытие было грандиозным. В мыслях мальчика, носящего косичку в честь святого Шахи-Зинда, недавно прикрепившего к тубетейке заклинание ишана, произошел целый переворот. Впервые он убедился в беспомощности святого пира, в слабости богатого человека. И пораженный этим открытием, я стоял посреди двора подобно заколдованному джейрану, который обрел дар речи, но боится произнести слово, так как считает, что при первом звуке превратится в песок и будет унесен ветром.

Так, замерев от робости и изумления, прижимая к себе коромысло с пустыми ведрами, я услышал тихий голос:

— Назир! Назиркул!

Вот и расплата за сомнения, подумал я. Злые духи, упрятанные на

дне колодца, подкараулили вероотступника с косичкой на голове и сейчас заманят в преисподнюю. Помня слова матери, я крепко сжал губы, чтобы не откликнуться.

— Назир! Назиркул!

Голос прозвучал громче и не со стороны колодца, а с улицы. Однако мысль моя работала в прежнем направлении. Хитрят, решил я, на то они и злые духи, чтобы прятаться в разных местах и кричать на разные голоса. Меня не проведешь. Вода была уже забыта, да и все событие, связанное с посрамлением ишана, отошло куда-то на второй план. Главное, не поддаться злым духам. А они, бессовестные, заливаются:

— Назиркул! Назиркул!

Подумать только, до чего настойчивы темные силы, хотят все-таки обмануть меня. Напрасные усилия! Буду молчать, как матушка велела.

— Ты что, не слышишь? — толкнул меня в бок один из шумевших у колодца стариков. — Зовут тебя!

Тут я усомнился в настойчивости злых духов: если другие слышат, значит, дело обстоит не так уж таинственно. Возможно меня просто зовут товарищи! И я побежал на улицу. Правда, губы так и не разжал, чтобы не откликнуться, не оказаться кривым. О существовании злых духов я еще помнил, во всяком случае, побаивался их.

Оказалось, с улицы меня звал старший брат.

— Куда ты запропастился с ведрами? У матушки котел перегорел на огне.

— Я ждал воду.

— Эх ты, непутевый Афанди. Вода уже бежит в реке. Скажи людям, пусть идут к берегу.

Новость была настолько неожиданной, что я открыл рот и смотрел на брата, ничего не понимая.

— Да ты очумел совсем. Говорю же — в реке вода появилась.

Только тогда я пришел в себя и закричал:

— Вода! В реке вода-а!!!

И первый кинулся, гремя ведрами, к берегу...

Верно, канал, пересекающий город, был наполнен водой, и она, прохладная, неторопливая, сверкая своей голубой спиной, устремлялась на запад. Куда девались огорчения наши, кому отдали люди свою злость! Став добрыми и радостными при виде воды, они падали на колени, а то и просто на животы и, припав сухими губами к влаге, пили и пили ее до одурения. Мы с братом нырнули в воду как утята, стали барахтаться в ней, плескаться, наслаждаясь невесть откуда павшим нам счастьем.

Счастье действительно пало.

— Вода! Откуда вода? — удивлялись старики, смачивая влажными ладонями лицо и бороду. — Не наша очередь пить ее. Прежде должен утолить жажду Янги Курган.

— Зачем гадать, чей сад, — отвечали молодые, — был бы виноград в нем. Ешьте, мусульмане!

Третьи с благодарностью возносили руки к небу:

— Аблаух акбар — великий бог! Да будет имя твое на устах каждого, кто коснулся этой влаги!

Дядя Джайнак, приведший к берегу свою лошадь, чтобы напоить и искупать, проявил обычное спокойствие и рассудительность. Он сказал:

— Никакого чуда здесь нет. И вообще бывают ли чудеса на этой грешной земле? К нам пришла «вода сангзара», самая чистая вода мира. Пришла не в назначенный срок. Кто-то направил ее в Джизак от снежных гор, сейчас там таяние, и ручьи торопятся вниз, в долину...

— Кто бы ни сделал это доброе дело, пусть его жизнь будет такой же обильной, как эта вода, — ответили старики дяде Джайнаку.

— Его жизнь и так обильна, — нахмурился он. — Разве бек воды Мулла Хакберды в чем-нибудь нуждается? Каждая капля у него звенит серебром.

— Много же серебра соберет бек воды за нашу реку. У кого есть такое богатство, чтобы заплатить ему, — сомневались старики.

Дядя загадочно покачал головой:

— Тут другая плата... Пострашнее серебра...

Что имел в виду дядя, мы не узнали у реки. Да и не пытались узнать. Бежала, звенела вода, и это было главное. А там само собой

все решится.

Трудно было оторваться от прохладных струй. Брат торопил, стыдил меня — там матушка ждет не дождется воды, а ты тут, как утенок, плескаешься.

— Не позволяй себе больше дозволенного, — строго заключил он и первым вылез из реки.

Что ж, пришлось расстаться с упавшим так внезапно счастьем, наполнить ведра и идти домой...

Дома мы узнали причину появления воды в жаждущем Джизаке. Узнали от муэззина Ашурмата. Он ходил по махалле, стучал в каждую калитку черенком камчи и выкрикивал:

— Кто слышит, пусть запомнит и передаст соседу. Кто слышит, пусть запомнит... Его превосходительство уездный начальник соблаговолили завтра пополудни посетить наш город... Чтобы все улицы были политы, выметены, очищены. Слушайте и запоминайте, дабы потом знали, за что вас наказывают... Чтобы знали...

Вот почему появилась так неожиданно вода в Джизаке!

### **Пыль, которая не оседает**

Как ни старались люди, как ни уливали дорогу, горячее летнее солнце быстро иссушило пыль, спекло сверху корочку и едва копыта коней коснулись ее, она лопнула и задымила желтым дымом лесса. Дым этот так и вился, пока коляска уездного начальника проследовала по городу к дому известного в Джизаке богача муллы Хафизбая. Это был самый дорогой и самый красивый дом. Стоял он на тихой узкой улочке за мечетью. Чтобы попасть в него, коляска миновала Каландархану, въехала на мост, простучала на нем своими негромкими колесами на шинах, потом свернула влево и покатила по мягкой влажной пыли.

Коляску уездного начальника сопровождали полицейские — один скакал впереди, двое — сзади. Они были грозными и свирепо поглядывали на стоявших вдоль дувалов жителей махалли. С левого бока у каждого из сопровождающих болталась шашка, в правой руке красовалась нагайка. Нагайка была самым страшным и самым

знакомым для жителей махалли оружием. Ее чаще всего пускал в ход полицейский по имени Юлдаш, наблюдавший за порядком в нашей махалле. Звали мы этого рослого детину Юлдаш-полицейский. Многие сейчас даже не предполагают, что в роли полицейского мог выступать местный житель. Все представляют себе полицейского краснощеким, курносым рязанцем или оренбуржцем, пузатым усачом с бляхой на груди и с кокардой на фуражке. У Юлдаша от всего этого остались лишь усы и бляха. Вместо резиновой палки камча — плетка. Ею он орудовал виртуозно, и мало кто из нас, мальчишек, не имел на спине красных и синих полос. Юлдаш-полицейский подстерегал всевозможных нарушителей в самых невероятных местах, появлялся внезапно и так же внезапно опускал камчу на их головы и плечи. Доставалось не только мальчишкам, но и взрослым. Ни в какие объяснения Юлдаш не вступал, ни на какие уговоры не шел. Говорили даже, что он неподкупен. Но кто мог это проверить! Босоногие, на которых он обычно нападал, не имели денег, а богатых Юлдаш не трогал.

Ну, я отвлекся. С Юлдашем-полицейским мы еще успеем встретиться и не раз, а у нас идет речь о пыли, что подняла на улице коляска уездного начальника его превосходительства полковника Рукина. Нельзя сказать, что полковник сам по себе был причиной такого исключительного внимания. Его знали, его видели не раз. В праздничные дни он появлялся со всей семьей в доме муллы Хафизбая и отдыхал и развлекался здесь. Для отдыха и развлечений дом бая был приспособлен. Если кто склонен к фантазии, то может представить себе эту чудесную обитель, схожую с райскими садами. Я однажды переступил порог дома — меня пригласил байский сын, с которым мы вместе учились в мактабе при мечети и иногда помогали друг другу. Сам порог был великолепен — широкие ворота, окрашенные в ясный голубой цвет, такой же ясный, как купола самаркандских мечетей. За порогом начинались террасы, подступавшие к проходу своими узорчатыми стенами и устланные яркими паласами и коврами. Проход выводил вас в сад. Нужно ли говорить, что сад этот был огромным и тенистым. Беседки из виноградных лоз тянулись строгими рядами, своды тяжелели от



бесчисленных гроздьев — то янтарных, то розовых, то белых, то черных. Они манили к себе медовой сладостью, радовали, заставляли улыбаться; когда видишь сказочные дары природы, невольно сердце наполняется блаженством. Тенистые беседки звали вас куда-то в сумеречную зеленую даль. Вы подчинялись беззвучному зову и оказывались на берегу речки Мулкалик. Не на простом берегу. На цветущем, который был основанием для айвана — веранды, переброшенной через воду. Она, подобно паланкину, окаймленному с трех сторон застекленными стенами, украшенная причудливым орнаментом, возвышалась над вечно бегущими, неустанно шепчущимися струями Мулкалика. За этой верандой стояла вторая, тоже над водой и тоже огороженная стенами. Но крыша ее была особенная: мастера изобразили ночное небо, осыпанное звездами. Когда угасал день и над садом воцарялась тьма, слуги зажигали скрытую в потолке лампу. Искусственные звезды, споря в яркости и красоте с настоящими, вспыхивали на искусственном небе, услаждая гостей бая.

Что было в доме бая, я не видел. Туда меня не пустили. Но, думаю, комнаты утопали в дорогих коврах, ниши ломились от фарфора и серебра. Такой человек, как Хафизбай, владевший чуть ли не половиной Джизака, не мог впустить гостей в пустые комнаты.

В этом доме проводил праздники полковник Рукин, уездный начальник, доверенное лицо самого генерал-губернатора, друг и покровитель богатейших людей уезда. Ходил по тенистым аллеям, пил и ел на айване, перекинутом через Мулкалик. Ничего удивительного, как я уже сказал, в этом не было. Однако полковник на сей раз появился не в праздник, не в традиционный день. Появился, когда Джизак был взбудоражен безводьем, а окраины и ближние кишлаки дрались с мирабом из-за влаги.

И еще совпал приезд полковника с волной всяческих слухов — тревожных и печальных. Говорили о голоде, о новых налогах, о волнениях в городах России, о неудачах царя на фронте и недовольстве людей и войной и самим царем. Еще что-то доносил «узун-кулок — длинное ухо». Но никто не верил этому «что-то». Не хотел верить, ибо это «что-то» было страшное и необъяснимое...

Когда все напряжено и каждый мучается опасениями и страхом, когда хлеб дорожает с каждым днем и воды нет, и растут долги бедняков, тогда внезапный приезд уездного начальника кажется очень важным. Он усиливает страх, порождает предчувствия. Даже те, кто отвергал слухи, начинают неволью в них верить.

Ничего, ничего необычного не делал полковник Рукин. Проследовал через город в сопровождении трех полицейских, проследовал тихо, кажется, даже с улыбкой на лице. Коляска напоминала скорее увеселительный экипаж, нежели что-то официальное, предназначенное для совершения торжественных выездов. Кроме Рукина, в коляске сидела его жена и две дочери-барышни. Они весело оглядывали улицы, оживленно переговаривались, словом, вели себя так, как ведут праздные господа, направляющиеся на прогулку. Для них это, возможно, и была увеселительная прогулка, в конце которой приятный вечер в полусказочном саду Хафизбая, ужин над водой под искусственным небом, пение перепелов.

Впрочем, мы, мальчишки, тоже представляли себе приезд семьи уездного начальника как прогулку. Бежали за экипажем, ловили пыль, летевшую из-под колес и копыт, весело смеялись. Нам было интересно взглянуть на полковника, на его дочерей и жену, открытых для обозрения, толпиться у ворот Хафизбая, пока Рукин слезает с коляски, а услужливые полицейские поддерживают его за локти, всматриваться в зеленый полумрак сада, что открывался перед нами, когда на несколько минут распахивалась калитка и сам Хафизбай, прижав руки к сердцу, приглашал гостей в дом. И потом, после окончания этой напыщенной церемонии, после приветствий хозяина и ответных слов гостя, бесчисленных улыбок, поклонов, визга красивой голубой калитки, закрывающей все от посторонних глаз, всегда любопытных и ненужных, мы продолжали крутиться возле дома Хафизбая. Крутиться, хотя на горизонте вырисовывалась внушительная фигура Юлдаша-полицейского и угрожающе поднималась его плеть. Он шел охранять покой хозяина и гостя.

Да, ничего необычного не было в появлении полковника Рукина на улицах Джизака. Так, во всяком случае, решили мы, мальчишки.

Иначе думали взрослые. Без веселого любопытства смотрели они на коляску. Их не занимали ни наряды барышень, ни синий кафтан кучера, ни его великолепные усы. Мрачно, злыми глазами провожали они уездного начальника. Недобрый шепот летел вслед пылящей коляске, а когда в воротах встретились Рукин и Хафизбай, кое-кто погрозил им кулаком...

### **Тайна тетушки Марьям**

Есть слова, которые произносят, только прикрыв калитку, да еще подперев ее бревном. И произносят в темноте ночи. Такие слова принесла в наш дом тетушка Марьям.

— Беда, беда, милые мои, — сказала она по-русски. И хотя никто из нас не знал русского языка, все хорошо поняли ночную гостью.

Почему поняли? Да потому, что в тот вечер все думали лишь о несчастье, что вот-вот падет на джизакцев. Его ждали, к нему готовились. И торопливый стук в калитку, и тревожное лицо женщины, и ее печальный шепот красноречивее слов подтверждали существование опасности — несчастье близко! Оно за порогом.

А почему тетушка Марьям говорила по-русски? Тут тоже есть объяснение. Она была русской, эта тетушка Марьям, и звалась по-настоящему Марией. Это мы перекрестили ее в Марьям, в привычное для узбекского уха имя. Позже я узнал, что, кроме имени, у тетушки Марьям было еще и отчество и произносилось оно так — Александровна. Целиком — Мария Александровна. По-нашему же, Мария дочь Александра, так же, как я — Назиркул сын Сафара.

Самое непонятное во всем сказанном мною — как тетушка Марьям попала в наш дом? И зачем попала?

О, это целая история!

Мой брат Мансур работал учеником в кузнице дяди. Не знаю, старательным он был учеником или нет, но каждый вечер жаловался отцу:

— Весь день махать кувалдой и получать за это одну лепешку — есть ли работа неблагодарнее!

Отец и матушка на эти жалобы обычно отвечали:

— Хлеб ученика всегда горек, но когда руки твои станут крепкими, лепешка покажется слаще и сытнее. Ремесло даст тебе не только хлеб, но и масло.

Однако брат мой не попытался вникнуть в суть этой мудрости. Он бросил кузницу и перешел в медницкую, к мастеру Азизу. Джизак славился двумя медниками — уста Шайманом и уста Азизом. И если старого Шаймана называли первым в числе волшебников медницкого искусства, то Азиз был вторым. На его черном от жара и копоти лице всегда жила улыбка, а губы роняли душевные слова. Умел уста Азиз во всем находить светлое и радостное, конечно, это не спасло его от печали расставания с миром, но говорили, что и на смертном одре в последнюю минуту медник улыбнулся.

Вот к такому доброму человеку и пошел в ученики мой старший брат Мансур. Видимо, характером они сошлись, потому что теперь, возвращаясь домой, брат больше не жаловался на тяжесть молота и на ущербность хозяйской лепешки. Через год из рук Мансура стали выходить поблескивающие в лучах солнца кумганы и половники, не говоря уже о всяких немудреных хозяйственных мелочах, так необходимых в каждом доме.

— Слава богу, Мансур наш узнал вкус хлеба, приобретенного собственным трудом. Он может прокормить не только себя, но и семью, — сказала как-то отцу матушка. — Не пора ли подыскать сыну невесту.

— Погоди, ташкентская, — ответил отец. — Хлеб — это еще не все. Пусть почувствует, где у человека правая, а где левая рука, и превратится из ученика в мастера.

Мне казалось, что Мансур давно уже мастер. Он ловко действовал паяльником и из старой, вовсе никудышной вещи мог сделать почти новую. На моих глазах дырявый, позеленевший от времени и почерневший от копоти кумган превращался в сказочный сосуд, поблескивающий на солнце золотом — чистая медь так похожа на золото!

Возвращаясь из школы в свою махаллю, я часто заглядывал к брату. Мне доставляло удовольствие смотреть, как он чародействует у горна, как умело двигаются его руки. Мансур обычно просил меня

раздувать мех, что я делал весьма охотно. Рядом все было нагляднее и понятнее, да и огонь согревал — в холодное время в Джизаке трудно отыскать тепло.

Однажды в конце дня я по обыкновению зашел к брату, чтобы посидеть у горна до закрытия базара, а потом вместе отправиться домой. Но Мансур уже закрывал мастерскую.

— Пойдем к мингбаши, — сказал он. — Надо отнести эти ведра.

На пороге стояла целая компания белых, сверкающих цинковыми боками ведер. Мне Мансур дал два ведра, остальные нацепил себе на руки. Так, гремя железом, мы зашагали на край базара, к канцелярии тысячника. Ведра гремели глухо и сердито, как будто понимали, что их несут не куда-нибудь, не к простому мыловару или кожевнику, а в канцелярию мингбаши, к самому правителю Джизака. Честно говоря, я тоже испытывал некоторую гордость и робость — не так-то часто приходится мальчишкам переступить порог канцелярии его превосходительства мингбаши и не просто переступить порог, а с сознанием своего права на это: ведь я был братом мастера, изготовившего такие красивые и такие необходимые для управления городом вещи, как цинковые ведра. Господин мингбаши их ждет не дождется.

Увы, мингбаши я не увидел. Он не снизошел до того, чтобы принимать ведра. Во дворе канцелярии нас встретил писарь — русский мужчина лет пятидесяти. По-узбекски он говорил плохо, настолько плохо, что мы с братом ничего ровным счетом не поняли, лишь по жестам писаря догадались — нам надо стоять на месте и ждать, когда вынесут деньги. Прежде чем удалиться, писарь старательно просмотрел ведра на свет — нет ли дырок, проверил пайку швов и прочность дужки.

Мы приготовились к долгой и утомительной процедуре вытягивания денег у писаря. Оказывается, сделать ведра и сдать их заказчику не так уж сложно, сложно получить вознаграждение за свой труд. Можно стоять час и два, а то и полдня, пока о тебе не вспомнят и не вынесут несколько серебряных монет. Будь лето или даже осень, такое ожидание мне лично доставило бы удовольствие — стой или присядь на корточки и смотри, как пробегают полицейские и как

кричит на них эллик-баши — во дворе помещался и полицейский участок. Однако была зима, точнее, начало зимы, и холодный ветер довольно бесцеремонно хозяйничал в дырах наших халатов. Головам и рукам доставалось изрядно, не говоря уже о ногах, ничем не прикрытых, если не считать коротконосых кавуш. Переминаясь и поеживаясь, мы стояли так и ждали возвращения писаря.

Не знаю, долго ли бы мы так продержались? Но, на наше счастье, отворилась дверь, не из канцелярии, нет, и не из полицейского участка, а из небольшой пристройки, что ютилась рядом с воротами, и из нее выглянула женщина, уже немолодая, с негустой сединой в волосах, и поманила кого-то пальцем. Именно кого-то. Мы с братом не могли предполагать, что жест этот адресован нам, и продолжали приплясывать на холоде — холод, увы, от присутствия старушки несколько не уменьшился. Тогда она перешагнула порог и еще старательнее помахала рукой.

— Эта женщина, кажется, смотрит на нас, — сказал брат. — Не подойти ли нам к ней?

— Конечно, подойти, — согласился я и согласился не ради удовлетворения любопытства брата, а ради того, чтобы сдвинуться с места и отогреть немного озябшие ноги.

Старушка принесла нам удачу. Едва мы сделали попытку приблизиться к ней, как отворилась дверь канцелярии, вышел писарь и вручил Мансуру деньги. Засунув серебро в бельбаг — поясной платок, брат решительно шагнул к пристройке, на пороге которой все еще стояла женщина. Она распахнула дверь настежь и жестом пригласила войти. Не знаю, как брат, но я охотно принял это приглашение — из комнаты доносилось хоть и невеликое, но все же тепло. Мы сняли кавуши и ступили босыми ногами на коврик, цветастый, мягкий, сотканный из множества лоскутков.

Комнатка была чистенькая и беленькая, но уж слишком маленькая. Кажется, сделай шаг-другой и упруешься в противоположную стену. Потолок свисал прямо на голову. Крошечное оконце, занавешенное марлевыми квадратами, глядело во двор канцелярии. Через него-то женщина и увидела нас — занавеска была чуточку отдернута. В углу стояла железная кровать, покрытая

серым одеялом, поверх которого, у изголовья, лежала подушка. Подушку венчала накидка из кружев или какой-то узорчатой ткани, почти прозрачной. Такая же ткань выглядывала ровным ободком из-под одеяла. У оконца уютился небольшой столик под светлой клетчатой скатертью и на нем вазочка, не то для сахара, не то для конфет. Но ни сахара, ни конфет в ней не было.

Обстановка удивила меня, и я с самым откровенным интересом разглядывал ее. Мы дома жили на полу — сидели, спали на паласах, под сандалом. Здесь, у русской женщины, каждая вещь была поднята на ноги и довольно длинные: стул, например, и особенно стол имели высокие, как у козы или коровы, ноги. Кровать тоже высилась на подставках. Но самым необычным была белизна, режущая глаз. Все белое, даже шкафчик, пристроившийся в самом углу комнатки. Шкафчик этот занимал меня больше всего. За его стеклянной дверцей поблескивали какие-то бутылочки, баночки, стаканчики. И от них, именно от них, исходил незнакомый запах, щекочущий нос своей остротой и необычностью. Такого запаха я не встречал еще. Потом я узнал, что это запах лекарств.

Женщина смотрела на брата, и лицо ее становилось почему-то ласково-добрым, словно старушка узнавала кого-то в Мансуре. И на меня она смотрела так же. Не знаю почему, но я ответил улыбкой. Бывает такое между чужими, незнакомыми людьми — глянут друг другу в глаза и улыбнутся. Наверное, в глазах старушки светилось что-то приветливое.

Потом она опустила взгляд на мои ноги — босые, синие от холода — и покачала сокрушенно головой. Ей невдомек было, что босым я хожу всегда и привык к холоду, как привыкают к ветру, жаре, дождю и снегу. Старушке хотелось чем-то помочь нам, но единственное, что она смогла сделать, это предложить нам сесть. Брат поколебался с минуту, потом не совсем уверенно опустился на табуретку, на самый край. Противоположный край занял я. Так, уподобившись двум воробьям, оседлавшим одну ветку, мы замерли, ожидая, что последует далее.

Старушка рассмеялась, но не обидчиво, и мы тоже рассмеялись. Потом она торопливо заговорила. Что она говорила, ни я, ни брат не

поняли. Руки ее помогали губам, и не только руки — и глаза, и брови, и даже морщинки на лице, — все двигалось, все силилось что-то передать, объяснить. Я ошибся, сказав, будто мы ничего не поняли. Брат, оказывается, понял. Он поднялся, прошел в угол, осмотрел его, потом поднял глаза к потолку и что-то там выглядел. Ладонями нарисовал круг и повел его от пола вверх. При этом он улыбался, и старушка улыбалась и кивала головой.

— Печка, — сказала она.

— Печка, — повторил брат.

Старушка опять заговорила, но теперь уже спокойно, и руки ее больше не кружили в воздухе. Они лежали на груди, придерживая края большой серой и, наверное, теплой шали, которая укрывала ее худые плечи. Теперь я почувствовал, что в комнате было прохладно, и эта прохлада, не замеченная вначале, подбиралась и ко мне, заставляла поеживаться.

Заказ был принят. Мансур поклонился, давая понять хозяйке, что нам пора уходить. Она порылась в своем белом шкафчике, достала кошелек, долго перебирала в руках монеты, которых, видимо, было слишком мало для платы за будущую печь, и нерешительно протянула брату. Мансур отстранился.

— Потом, — сказал он. — Сейчас не возьму...

Кроме слов, рукой выразил свой отказ и тем смутил старушку.

Она недоуменно покачала головой.

— Потом, — повторил брат. — Твоя якши мамашка...

Из этого старушка должна была понять, что ее считают хорошим человеком и верят ей.

Перед дверью она остановила нас и, показав пальцем на брата, произнесла:

— Как тебя звать, сынок?

На этот раз мы действительно не поняли ничего. Но, как говорится, птица слышит песню подружки, даже когда та молчит, поэтому брат уловил смысл вопроса, хотя и не знал, как ответить. Хозяйка помогла ему. Показала на себя и сказала:

— Мария... Мария Александровна.

— А?! — догадался брат. — Мансур... Я — Мансур.



— Спасибо, Мансур, — улыбнулась старушка и похлопала брата по плечу.

Мы должны были идти домой. Куда еще может направиться человек после трудового дня, проголодавшийся и перемерзший. Но брат потащил меня снова на базар, в медницкую, что, прямо скажу, не доставило мне никакого удовольствия. Однако брат есть брат, к тому же старший. Пришлось подчиниться.

— Холодно старушке, — пояснил он, отворяя дверь мастерской. — Надо посмотреть, хватит ли железа на печь и трубы.

Смотрел он долго. Я думаю, это была хитрость. Разве измеряют железо с помощью ножниц и молотка? А именно ножницами Мансур орудовал, пока я, прижавшись к остывшему горну, смотрел, как соседи, закрывали свои мастерские и почти бегом покидали холодный базар.

— Эй, Мансур! — говорили некоторые, заглядывая по пути в медницкую. — Уж не приглянул ли ты невесту и не готовишь ли дорогой калым... Или разбогатеть решил смолоду...

Брат не отвечал — невесты у него не было, это я знал точно. А вот насчет богатства следовало задуматься. Мы только что сдали шесть ведер мингбаши и получили плату. Зачем же опять спешит мой брат? Или хочет за день переделать всю работу, которая есть в Джизаке, и собрать все деньги, припрятанные у заказчиков?

Наивный, я не подозревал истинных чувств Мансура. За эту работу он не взял со старушки ни таньга, лишь вернул стоимость железа. Ну, об этом стало известно потом. Пока же я, замерзший, изголодавшийся, судил брата самым безжалостным судом и называл мысленно последним скрягой Джизака.

Домой мы вернулись поздно, и когда матушка спросила о причине задержки, брат мой, вместо того чтобы свалить все на писаря, вынудившего нас ждать расчета, стал рассказывать о тетушке Марии и ее печке. Самое странное было в том, что матушка не поругала брата, напротив, повздыхала вместе с ним и в заключение произнесла:

— Пусть хоть тепло скрасит одиночество несчастной женщины.

Вот так случайно и незаметно вошла в наш дом тетушка Марьям.

Вошла и стала близким человеком. Вы удивитесь! Из чего это видно, что она вошла в наш дом. Э, вы не знаете, что произошло вслед за историей с железной печкой. Брат, взявший на себя заботу о старушке, сказал матери:

— А не пригласить ли нам бедную женщину в гости. Ведь, кроме мингбаши и полицейских, она никого не видит из своей комнаты...

Легко догадаться, что матушка тотчас откликнулась на слова Мансура, и в следующий четверг в наш дом пришли гости — тетушка Марьям и уста Азиз. Почему уста Азиз? Да потому, что он умел говорить по-русски, и еще потому что был душевным и общительным человеком и без него вечер был бы не теплым осенним вечером, а холодной зимней ночью.

Так это был теплый осенний вечер, хотя на дворе и гулял холодный ветер. На сердце каждого светлел добрый огонек. Всем было хорошо у сандала. Я сидел рядом с матушкой и смотрел на гостей. Особенно на мастера Азиза, который выполнял роль переводчика, превращая незнакомые слова тетушки Марьям в ясные и понятные всем. С его помощью мы узнали, как эта русская женщина попала в Джизак. Оказывается, дорога к нам не проста и полна горестей и слез. Тетушка Марьям потеряла сына — не просто потеряла, он не умер, полиция арестовала его и сослала в Туркестан. За любимым сыном поехала мать, чтобы поддержать его в изгнании, быть рядом, сбересть от невзгод. Но сына своего Мария Александровна не нашла. Его снова судили, уже в Туркестане, за участие в антивоенной демонстрации и упрятали в самаркандскую тюрьму. Жить в большом городе матери политического преступника не разрешили, и вот она оказалась в Джизаке. В старом Джизаке под надзором полиции. Власти решили, что здесь она, не зная местного языка, не сможет общаться с населением и, следовательно, распространять антиправительственные идеи. Работала Мария Александровна медицинской сестрой в больнице и каждую неделю регистрировалась в полицейском участке. Благо участок находился тут же во дворе.

Я мало что понял в этой сложной человеческой истории. Да и тетушку Марьям не понимал. Она была не похожей на других

женщин. Глаза ее, очень синие и добрые, светились какой-то решимостью, каким-то негасимым огнем, таким неестественным для старой женщины. И в то же время в них постоянно жила скорбь. Скорбь эта чувствовалась и в ее словах, в голосе, хотя он и звучал мягко и ласково. Я подумал тогда, что тетушка Марьям очень любит своего сына, если поехала так далеко. Одно меня озадачивало — зачем люди так мучаются, нельзя ли попросить царя освободить парня и вернуться вместе в Петроград и жить спокойно. Вопросы такого я не задал, но он донимал меня.

Не скажу, что сердце мое сразу потянулось к доброй старушке. Я любил людей веселых, улыбочивых, таких, как уста Азиз. Не понимал еще, в чем красота человека. Но все сказанное ею запомнил. Надолго запомнил. А вот остальные как-то сразу приняли Марию Александровну. И прежде всего моя матушка. Она весь вечер не спускала с нее глаз и каждое слово гостьи выслушивала с волнением. Кивала головой сочувственно и вздыхала. Матушке была понятна судьба этой бедной женщины.

В тот вечер тетушка Марьям была лишь гостьей нашего дома, доброй гостьей, и никто не знал, что простое знакомство перерастет в дружбу и даже своеобразное родство и что судьба джизакцев станет судьбой этой одинокой русской женщины.

Минуло немного времени, и мать назвала тетушку Марьям своей сестрой. И произошло это следующим образом.

В ту зиму мать моя захворала. Холодный ветер, что метался по Джизаку и достигал каждого, лишённого теплого халата, ожег и матушку своим ледяным дыханием. Сгорая от жара и неистово кашляя, она слегла. Трудно было свалить с ног неустомимую Рахат, это знали все. Да и я впервые увидел мать, беспомощно лежавшую в постели. Глаза ее сверкали болезненным блеском, и он пугал меня.

Когда человек заболевает, значит, в него вселились злые духи, так говорили в Джизаке. Так говорила матушка. Поэтому она послала мою старшую сестру Хамри к знахарке Навватбахши, известной в округе изгонительнице всякой нечисти из человеческого тела.

— Навватбахши можно верить, можно не верить, — поддержали решение матушки соседки, — но оттого, что пригласишь ее, ничего

не убавится в доме, кроме овцы или козы.

Овцы у нас не было, не было и козы. Однако коза стояла дешевле, и матушка, вынув из своего старого сундука несколько таньга, береженных на черный день, велела Хамри купить у соседей козочку. Козочка предназначалась духам в качестве жертвы.

Изгнание духов — событие. Все соседки и не соседки стеклись в наш дом. Не знаю, зрелище ли привлекало женщин, или коза, наверное коза, сваренная в коротком бульоне. Ее полагалось раздавать по кусочку всем присутствовавшим. Народу, во всяком случае, оказалось много. Когда приехала на своем черном осле Навватбахши, дом был полон. Знахарка, едва переступив порог, велела заколоть козу и положить ее в котел, а потом уже направилась к больной. Она не посмотрела на матушку, метавшуюся в жару, а распорядилась зажечь светильники. Огни расположили на белой бязи кольцом, в центре оказалась матушка. Таким же кольцом сели старухи, явившиеся вместе со знахаркой. Грохнул бубен. В такт ударов старухи опускали руки на тело матушки и так тяжело, что она каждый раз откликалась стоном. Избивая больную, старухи будто бы изгоняли из ее тела духов. Навватбахши в это время производила какие-то таинственные движения руками, закатывала глаза к небу и шептала никому не понятные слова.

Так продолжалось минут тридцать-сорок. После этого Навватбахши поинтересовалась, как варится коза и не слышно ли запаха готового мяса. Поскольку коза была молодой, то спела на огне быстро, и аромат мяса разносился по двору. Сделав еще несколько движений под бубен, знахарка прекратила церемонию, заявив, что духи, кажется, уже покинули бедную Рахат и теперь надо поскорее приобщиться к жертве, то есть к козе, сваренной в коротком бульоне.

Собственноручно Навватбахши разделила козу на части. Спину и ляжки положила в таз, привезенный ею, и накрыла холстом — это был куш самой знахарки; голову, ноги, ребра раздала своим голодным старухам, остальное досталось присутствовавшим на церемонии соседкам. Я лично не удостоился даже косточки, хотя именно мою бедную матушку били нещадно старухи и именно наши таньга пошли на покупку несчастной козы...

Матушка не поправлялась. Да и с чего было поправиться? Кулаки старух не такое целебное средство, как казалось Навватбахши. Думаю, что если бы матушка съела ту долю козы, которую увезла знахарка на своем черном ишаке, то у нее хотя бы сил прибавилось в борьбе с недугом. А теперь она вовсе ослабла, стала задыхаться и хрипеть. Надо полагать, духи не покинули ее тела, наоборот, они почувствовали себя в нем хозяевами.

Соседи горестно качали головами, сестры плакали — они уже прощались с матушкой. Вот тут-то и появилась тетушка Марьям. Привел ее брат Мансур. Помню, она вбежала в наш дом встревоженная до крайности. И первые слова ее были:

— Ах, боже, боже!

А когда выслушала матушку, то сокрушенно покачала головой и погрозила пальцем Мансуру — это надо было понимать как укор. Брат слишком поздно обратился за помощью.

Я не знал силы медицины, она просто не существовала для меня, джизакского мальчика. Таинства Навватбахши были впечатляющими, они выходили за рамки реального и потому заставляли трепетать благоговейно каждого, кто видел ее священнодействия. К появлению же тетушки Марьям я отнесся как к чему-то обычному и был разочарован, увидев в ее руках маленький чемоданчик из фанеры, пахнувший лекарствами. Чемоданчик не таил в себе ничего необыкновенного — бутылочки, скляночки, трубочки. Все это скромно пристроилось на полу и время от времени бралось в руки. Ни бубна, ни светильников, ни загадочного шепота.

Тетушка Марьям провела у нас почти всю ночь. Ушла перед рассветом, а утром вернулась с пожилым человеком, украшенным небольшой седой бородкой. Фамилия его была Самецкий. Родители мои знали этого человека и обрадовались, когда он переступил порог дома. Самецкий являлся врачом городской больницы. В доме запахло еще сильнее лекарствами. И хотя я не любил противный их запах, пришлось дышать им, и дышать не один день. Что ж, это не такая уж большая плата за счастье видеть матушку здоровой. На другой день она почувствовала себя лучше, а через неделю вообще встала с постели.

Отец сказал тогда:

— Оказывается, для спасения человека вовсе не нужна коза. Нужна наука, или, как ее называют, — медицина...

Матушка не приняла в расчет слов отца о медицине. Она в своем спасении увидела только доброту человеческого сердца.

— Э-э, что там наука ваша, — махнула она рукой. — Если бы не Марьям, Рахат давно бы лежала в земле. Жизнью обязана я сестре своей...

С того дня тетушка Марьям считалась нашей родственницей — сестрой матери. Наш дом был всегда открыт для нее, и ее дом — для нас. Ни один семейный праздник не обходился без Марии Александровны. И не только праздник. Бывало, сварит матушка плов и сейчас же зовет Мансура:

— Ну-ка, сынок, снеси эту касу тете Марьям, пусть отведает горячего плова.

Со свежими лепешками обычно бегал я. Прямо из тандыра в платок — и в канцелярию. Руки по дороге жжет от горячего, но терпишь. Зато Мария Александровна останется довольна. Принимая гостинец, она, конечно, немного пожурит меня. Скажет:

— Ну, зачем... Ну, зачем! — А потом улыбнется и погладит меня по голове: — Вот ведь как бывает... Не гадала, не чуяла, что обрету близких вдали от России. Как мне отблагодарить вас?

Эти слова Марьям-апа повторяла часто, уста Азиз перевел их нам. Я помнил эти слова и когда слышал их, то улыбался. Для меня они стали понятными.

Мне хотелось сделать своей тете что-нибудь приятное. Самому сделать. Мысль эта вынашивалась долго, но жизнь мальчишки и его дела так далеки от жизни взрослых, что никак не найдешь желаемого. Но вот однажды...

Впрочем, об этом надо рассказать подробнее. Радость не приходит вдруг, ее отыскиваешь. Я отыскал.

Было это весной. Ранней весной. В такие дни джизакцы обычно собирали в степи шпинат. Женщины делали из него начинку для самсы — пирожков, испеченных в тандыре. За шпинатом посылали нас, мальчишек. Прихватив торбочки, мы шли в степь и там на еще

влажной от весенних дождей и недавнего снега земле находили крепкие, сочные стебли шпината.

Не всегда, конечно, поиски завершались успехом. Мной раз ходишь-ходишь по ложбинкам и склонам холмов и, кроме жухлой прошлогодней травы, ничего не увидишь. Так случилось и на этот раз. Посылая меня в степь, матушка предупредила:

— У нас будут гости, без шпината не возвращайся.

Прихватив с собой ребят, я отправился к холмам. День выдался солнечный. Теплый, весенний ветерок подгонял нас, и через какие-нибудь полчаса мы оказались у склонов. Здесь нас, увы, ожидало разочарование. Шпината не было. Вообще ничего не было — голая земля, от которой поднимается вверх, навстречу солнцу, легкий прозрачный пар.

Мы побродили по склонам, поиграли в чехарду, поохотились на сусликов, только-только выбравшихся из своих нор, и решили вернуться домой. Другьям моим возвращение не сулило ничего неприятного, но матушка предупредила меня о последствиях такого торопливого решения. Поэтому я сказал друзьям:

— Что я отвечу матушке, когда она спросит о шпинате?

— Ответишь, что он находится в пути из царства зимы в царство лета.

— Мой ответ в самсу не вложишь и не испечешь в тандыре.

— Значит, не будет самсы, — засмеялся Акил.

— А будут обыкновенные лепешки, — добавил Сафар-чиканак.

Я рассердился:

— Вам весело, а каково мне? Пойду поищу шпинат.

— Ну и ищи, если ног не жалко...

Мне было жаль ног, но все же я побрел по склону. Упрямство толкало меня на новые поиски, а может, и не одно упрямство — не хотелось представлять перед матушкой с пустыми руками. Во всяком случае, я шел и еще внимательнее, чем прежде, оглядывал землю. И тут судьба подарила мне удачу.

На южном скате холма, под самыми лучами солнца я вдруг увидел три крошечных стебелька, сплетенных бледно-зелеными, почти белыми пальцами над нежно-желтой горошинкой. Все это едва

поднималось над землей и казалось случайно оброненной кем-то серьгой. Прошла вроде по склону весна и уронила солнечный цветок. Только что уронила — ведь я недавно был на этом месте и ничего не видел. Чудо родилось в какое-то мгновение.

Сердце мое забилося от радости — не каждому удастся увидеть первый весенний цветок. Именно первый. Он приносит счастье. Я упал на колени и ножичком вырыл подснежник из земли, вместе с луковкой вырыл, И лишь когда цветок оказался на моих ладонях, я закричал:

— Подснежник!!!

На крик прибежали ребята. Радость всех была настолько велика, что никаким словом нельзя было ее выразить. Акил запрыгал, как ягненок, а Сафар-чиканак стал кувыряться, на что был великий мастер. Потом все вместе мы хором прокричали:

— Подснежник! Подснежник!

На всю степь разнеслась наша радость, и окажись поблизости кто-нибудь из взрослых, он, безусловно, поспешил бы к нам, чтобы увидеть вестника весны: подснежник приносит счастье.

— Теперь бежим в город и будем показывать людям цветок! — предложил Акил. — Нас одарят подарками.

— Бежим! — согласился я.

— Дай хоть подержать его, — попросил Сафар-чиканак. — Я никогда не держал в руках подснежник, может, он принесет мне счастье. А то учитель все бьет и бьет меня...

Мне не хотелось расставаться с цветком, но просьба друга была такой душевной, что я дал ему подснежник. Подержать, разумеется. И когда он насмотрелся на него и еще поцеловал, цветок вернулся на мою ладонь.

У калитки первого же дома мы запели громко и радостно, как могли:

Сквозь землю сырую пробился,

Вестником солнца явился —

Подснежник,

Подснежник,

Мал твой зеленый росток,



Но золотом светит глазок —  
Подснежник,  
Подснежник!  
Кто первый глазок приметит,  
Тот счастье в жизни встретит —  
Подснежник,  
Подснежник!

Из калитки выбежали дети и женщины. Самая молодая, что, конечно, мечтала о счастье, высыпала в наши пригоршни сушеного урюка, старуха дала мне лепешку с тмином.

— Пусть будет изобилие, — сказала она, — а все худое пусть сгинет!

Дети пошли за нами. Теперь уже не три голоса, а целый десяток повторял слова песни. Каждая калитка награждала нас добрыми словами и сладостями, и когда я вошел в собственную калитку, бельбаг мой был полон всякой всячины, а рот набит урюком и изюмом. Я уже не пел, только показывал подснежник и улыбался счастливо. Мне казалось, что обладание первым цветком весны уже само по себе предопределяет мое счастливое и беззаботное будущее и ни о чем не следует беспокоиться, кроме как о сбережении цветка. Поэтому я держал его крепко в руке и показывал людям лишь на короткое мгновение, как величайшую драгоценность.

Матушка, конечно, обрадовалась, но не настолько, чтобы забыть о шпинате. Пришлось без улыбки объяснить ей, каково положение в природе и повторить слова Акила насчет долгого пути от зимы к лету. На «нет», говорят, и суда нет. Поэтому матушка, поцеловав меня в лоб и поздравив с удачей, принялась заменять шпинат луком — самса должна была все же появиться на свет.

— У нас гости, — сказала она и посмотрела как-то странно на мой подснежник. — Как ты думаешь, Назиркул, кому, кроме тебя, еще необходимо счастье в жизни?

Этого я не знал. Тогда матушка вздохнула и показала на михманхану, где слышались голоса гостей. Два голоса — уста Азиза и тетушки Марьям. Но матушка, кажется, слышала лишь один голос — своей сестры Марьям. Я понял. И не только понял: сердце мое

вспомнило, да-да, вспомнило о желании сделать Марьям Александровне что-нибудь приятное, очень приятное...

Я кивнул матушке и пошел в комнату.

Все почему-то смолкли, когда я остановился на пороге. На лице моем, наверное, было написано величайшее счастье, торжественность была написана. Я запел песенку про подснежник и протянул Марии Александровне цветок. Оказывается, она знала этот цветок. Глаза ее засветились улыбкой, и вся она засветилась. Приняла подснежник. Потом обняла меня и поцеловала. И когда поцеловала, я почувствовал на своей щеке горячую каплю. Тетя Марьям плакала. Почему плакала, не знаю. Наверное, от радости. Ведь это радость получить в подарок цветок весны...

Теперь, рассказав все и объяснив, как русская женщина оказалась в нашем доме, я могу уже не описывать подробностей того тревожного вечера, взволновавшего весь Джизак. Тетушка Марьям вбежала в калитку, и первыми ее словами были слова несчастья:

— Беда, беда, милые мои!

Матушка ввела гостью в комнату, а отец затворил крепко калитку. Затворил и сказал нам:

— Вы взрослые, нужно ли предупреждать вас, что вы не видели тетюшку Марьям и не слышали ее слов?

Мы кивнули.

После этого он тоже вошел в комнату. Вошел и захлопнул за собой дверь.

Теперь я понял: действительно нас настигла беда...

### **Капуля, переполняющая чашу**

Да, наступил день, когда люди должны были узнать правду...

Кто-то должен был сказать ее, громко, открыто. Но эту правду скрывали. Видно, нелегко и небезопасно объявлять то, что направлено против человека, уже хлебнувшего из чаши бедности немало горя.

Пожалуй, чаша — не то обозначение. Допустим, мир — огромный пруд, или хауз, как мы его называем, и он полон до краев заботами и

лишениями. Наши отцы и матери в те далекие времена, терзаемые голодом и жаждой, пили из этого хауза не воду, а горе. С какой бы стороны ни подходил к пруду бедняк, как бы ни ловчился, как бы ни пристраивался, надеясь хлебнуть живительной радости, в рот ему попадала соль слез и горечь отчаяния.

Еще глоток ему предстояло выпить из этого хауза. Последний глоток. Вот почему Джизак так взволновался и так ожесточился. Еще точно не зная, какова мера последнего глотка, люди уже стонали и плакали. Неизвестное всегда кажется страшным. Оно с каждой минутой растет в своем стремлении напугать человека. И в конце концов он в отчаянии вступает в борьбу с этим неизвестным.

Весь Джизак пока что метался в страхе. Почти весь, если не считать хафизбаев, бабаханов, сидикханов и прочих баев города, которые после посещения полковника Рукина успокоились и затихли. Когда какой-нибудь наивный дубильщик кожи или ткач обращался к ним с беспокойным вопросом — что же будет? — они, подняв глаза к небу, отвечали:

— На все воля божья!

Конечно, ссылка на бога мало что объясняла дубильщику, и он шел дальше, к другим, более простым людям, за советом.

Задающих вопросы было так много, что, естественно, они не могли втиснуться в доме или дворе. Они собирались на перекрестках — гузарах, где, как правило, стояли чайханы и ютились лавчужки со всякой хозяйственной мелочью. Базар нашей махалли был самым оживленным в городе. Здесь пролегали дороги за город, и бесчисленные арбы постоянно сновали взад и вперед. Арбакеш, минуя гузар, нет-нет да и задержится на минутку, а то и на часок, выпьет чаю, поболтает со сведущими людьми, сам что-нибудь расскажет. Задерживались здесь и горожане: мало ли что требуется человеку, хотя бы тот же чай или та же соль, без которой самая добрая шурпа кажется пресной. Или спички, или обыкновенный гвоздь. В общем, на перекрестке всегда люди. Много людей.

Каждый гузар славился чем-нибудь. То богатой чайханой, то кузницей, то лавкой со сладостями. А то и того проще — вкусными лепешками, жирным пловом, какими-нибудь свистульками или

куклами. Наш гузар был известен самсой деда Урунбая. Не помню уже, чем она отличалась от самсы, скажем, какого-нибудь Хашима или Гафура, но слава ее была велика. Чуть ли не со всей махалли люди стекались к нашему гузару, чтобы отведать самсу Урунбая.

О самом Урунбае тоже шла добрая слава. Он продавал самсу, но никогда не брал в руки денег. Появившись на перекрестке, Урунбай-ата ставил таз с самсой на супу чайханы, а сам удалялся в мастерскую Мирбака. Я назвал мастерской крошечный навесик старого паяльщика посуды. Но пусть будет так. Бедному Мирбака, составлявшему из осколков чайники и пиалы бедняков, приятно именовать собственный закуток мастерской, а себя считать владельцем дела. Так вот, Урунбай-ата оставлял тазик с самсой на супе и шел к паяльщику отвести душу беседой. Беседа доставляла удовольствие, к тому же сопровождалась чаепитием; старый Урунбай-ата запасался щепоткой чая у чайханщика, всыпал ее в крошечный чайник, когда-то спаянный тем же Мирбаком из осколков, заливал крутым кипятком и, выждав положенное церемонией заварки время, сцеживал полученный напиток в пиалу, опять-таки составленную из кусочков Мирбаком. Напиток несколько раз попадал в пиалу и столько же раз возвращался в чайник, пока крепость его и аромат не достигали нужного предела, лишь после этого чай касался губ требовательного Урунбая-ата. Он отпивал глоток за глотком из своей пиалушки, причмокивая и вздыхая от удовольствия, а чайник в это время покоился рядом, укутанный бельбагом — поясным платком. Урунбай-ата продолжал свое важное дело — превращал напиток в еще более крепкий и ароматный, вытягивая в тепле из крошки чайного листа все его живительные силы.

Пока текла неторопливая беседа мастера самсы и мастера пиал, тазик на супе постепенно опустошался. Обычно маленький чайничек хранил в себе еще глотки ароматного напитка, а в тазу не оставалось уже ни одного пирожка и покупатели начинали спор, кому съесть последний, взятый со дна. Так, без хозяина, шла торговля, выручка складывалась тут же около тазика, и люди сами меняли деньги и брали сдачу, если она им полагалась. Когда кто-нибудь подходил к Урунбаю-ата и высказывал на ухо свои сомнения или подозрения,

мастер самсы равнодушно отмахивался:

— Э-э, зачем мне считать деньги, — говорил он. — Пусть сам бог пошлет справедливость и обилие.

— Нехорошо, — укорял Урунбая-ата сомневающийся. — Деньги счет любят, мало ли на свете бесчестных...

— Так пожелайте им совести, брат!

— Мои пожелания или даже молитва мало что прибавят таким людям. Ведь у человека пять пальцев, и все разные.

— Вы правы, брат, лес без волков не бывает. Но слава аллаху, сорок лет кормлю и людей и семью этой самсой и пока еще здравствую. Не был голоден, но и не лопнул от сытости. Стану ли теперь богаче, если начну подсчитывать выручку!

Так отвечал сомневающимся Урунбай-ата и приносил новый тазик горячей самсы и ставил на прежнее место.

Утоляя жажду крепким чаем и потчuya им пайщика посуды, Урунбай-ата нет-нет да и положит перед Мирбака пару румяных самса. Тот жужжит своим сверлом, старательно углубляя дырку на фарфоре, чтобы вставить в нее потом клепку и соединить осколки, и не смотрит на угощение. Бедному посуднику хочется отведать горячей самсы, но неловко сделать это без вознаграждения, а вознаградить пекаря нечем — гроши, которые зарабатывает он, ремонтируя битую посуду, нужны семье. Урунбай-ата знает это и еще ближе подсовывает другу самсу.

— А ну, кончайте, дружище, работу, — говорит он. — Мирские заботы никогда не иссякнут. Отец ваш не знал покоя, да так и расстался с нами в хлопотах. Прервитесь, чтобы отведать горячей самсы, всех дел все равно не переделаешь. А эта самса особенная, она увидела лик божий. — И Урунбай-ата переворачивает самсу, показывая испачканный золой бок. — Слетела со свода тандыра, не дождавшись пока ее снимут. Торопящихся глянуть на небо я отдаю только своим друзьям. Отведайте-ка, дружище!

Конечно, разве можно устоять против такого соблазна? Мирбака берет самсу и кладет в рот, а пекарь наливает ему в только что отремонтированную пиалу свежий чай и приговаривает:

— Поражен вашим искусством, Мирбака. Вы вернули жизнь

пиале, которая раскололась на девять частей. Стоит ли чапан заплаты. Дешевле купить новую пиалу, чем ремонтировать старую.

— Видать, милый отец, вы не знаете, что есть и пить из посуды, которая живет вторую жизнь, дело благодарное.

— Конечно, хотя их благородие ишан Бабахан или его светлость Хафизбай, я слышал, пьют чай из китайских пиал прозрачного фарфора с серебряным звоном. А клепаная пиала, как известно, звона не издает. Впрочем, тонкое ухо может услышать звон и в разбитой пиале, именно по этой причине я пользуюсь своим старым чайником, который давно отжил свой век и не раз побывал в ваших искусных руках...

— Вы делаете доброе дело, — заключает Мирбака, проглатывая остатки самсы, «увидевшей лик божий». Бог не забудет вас на том свете...

— На это я надеюсь, — соглашается Урунбай-ата.

Как читатель уже догадался, горячая самса и добрый пекарь Урунбай были причиной того, что народ всегда толпился на гузаре. Когда бы вы ни заглянули на перекресток, там шумели десятки джизакцев, пили чай или ели самсу, кроме, конечно, пятницы, когда мусульманам полагалось днем поститься.

Но в эту пятницу правило было нарушено. Народ шел к гузару, хотя в чайханах ничего не подавали и Урунбай-ата не ставил тазик с самсой на супу. Шел возбужденный, встревоженный. В числе нарушивших покой пятницы я увидел самого Урунбая-ата и его сына Курбана. Оба были одеты соответственно праздничному дню, но лица не выражали смирения и кротости, приличествующей истинным мусульманам. Рядом шагал дядя Джайнак. Вернее, не рядом, а в окружении джизакцев — ткачей, кузнецов, шорников, кожевников. Эта движущаяся, разбегающаяся и снова собирающаяся масса людей обтекала дядю, и он то тонул в ней, то вырывался вперед. Он говорил — они слушали. Слушали жадно, стараясь не проронить ни слова. А говорить дядя Джайнак умел хорошо, это я знал. Но не его умение говорить привлекало сегодня людей. Красноречию вряд ли кто придавал значение. Джизакцев потрясали и удивляли сами слова. Дядя ругал богатеев, мулл, мингбаши и элликбаши, честил царя. Всем

доставалось от Джайнака. Впервые так открыто звучала запретная речь. И это пугало и в то же время гневало людей, наполняло их сердца смелостью. По лицам я видел, как огонь мужества снисходит на джизакцев.

Чтобы понять, почему мой дядя оказался впереди толпы, надо познакомить вас с этим, таким же необычным, как и Урунбай-ата, человеком. Прежде всего Джайнак-ака не был ревностным мусульманином, никогда не ходил вместе со всеми в мечеть, и никто не видел его молящимся. Одно это делало дядю приметным среди жителей окраины Джизака, где он имел небольшой клочок земли и занимался хлебопашеством. Кое-кто сторонился безбожника, кое-кто побаивался, но большинство соседей уважало Джайнака за трудолюбие и смелость, за умение говорить так, что душа загоралась.

Домик его был простым и бедным. Помню, зашли мы как-то зимой с Акилом, дружкой моим, к дяде и остановились изумленные на пороге. Шел снег, а крыша и стена кухни глядели на белый свет своими дырами и принимали снежинки словно желанных гостей. Сам дядя сидел под навесом и, несмотря на ужасный холод, что-то мастерил: не то зашивал хомут, не то потник. Зашивал, хотя вещам этим давно было место на свалке. Тут же лежали хозяйственные принадлежности крестьянина: омач — деревянная соха с медным наконечником, такая же деревянная борона, колесо от телеги, лукошко для рассеивания зерна. На стене висел белый лук, красный перец в сухих связках, какие-то мешочки с крупой или семенами. За навесом стоял сам дом дяди, и через открытые двери мы увидели женщину, жену хозяина, стряпавшую у самого очага.

Прямо с порога мы поздоровались по всем правилам, причем слова произнесли громко, настолько громко, что жители дома должны были если не повскакивать со своих мест, то во всяком случае бросить дела и посмотреть на нас. Но ни дядя, ни его жена ничем не проявили своего удивления или интереса. Дядя, правда, повернул голову и, не прекращая работы, сказал:

— Здравствуйте, сыночки. Смело входите и не бойтесь — у нас нет ни тигра, ни волка, ни даже собаки...

Издали женщина спросила:

— Чьи это дети?

— А я и сам не знаю, — пожал плечами дядя. — Лица вроде знакомые, но вот где я их видел, убей — не помню.

Он внимательно посмотрел на нас, подумал, ничего для себя не решил и спросил озадаченно:

— Ну, так в чем дело, сыночки, какая просьба ко мне?

Я смолчал, обескураженный приемом, а дружок мой Акил ответил:

— Отец прислал меня...

— А кто твой отец, сын мой?

Это было уже забавно, и мы с Акилом переглянулись насмешливо.

— Неужели вы не узнаете? Я сын Салима-ака...

— Вай! самого Салима-хуроза сын! — Дядя назвал отца Акила Салим-хуроз, то есть Салим-петух, за его вспыльчивость. — Ведь ты был беленьким мальчиком! Когда же оспа села на твое лицо?

— Прошлым летом, — ответил Акил и опустил голову. Лицо его было покрыто оспинками, которых он стыдился, и каждый раз краснел, когда ему напоминали о них.

— Ну, ну, — успокоил мальчика дядя. — Будь мужчиной. Отнимает у тебя природа красоту, так ты умом бери, силой побеждай. Вот нога у меня припадает, что ж теперь делать, не слезы же лить. Держусь...

Утешения нужны, однако они мало помогают страдающему. Мой Акил никак не мог привыкнуть к оспинам и смириться с тем, что они вечно будут на его лице. Иногда я видел его плачущим где-нибудь в укромном месте. Мне становилось нестерпимо жаль друга, но я не подходил к нему в такие минуты, дабы не показывать свое сострадание и не увеличивать боль мальчика. Взрослые этого часто не понимали. Учитель наш Миртажанг, чтобы подчеркнуть неестественный цвет лица Акила — оно стало после оспы черным, — называл его «Ак бала — белый мальчик». Так это прозвище и осталось за Акилом.

— Да вы, наверное, замерзли, сынки мои! — спохватился дядя. — Идите к очагу погрейтесь. Эй, мать! Принимай гостей!



Холод был такой, что отказываться или даже просто медлить с принятием приглашения не следовало. Мы подошли к очагу, который источал не только жар, но и аромат кукурузы, фыркавшей и подпрыгивавшей на раскаленном дне казана. Белые, словно сахар, раскрывшиеся, как цвет акации, зерна выскакивали из котла, и мы со смехом ловили их. Когда тепло и рядом пахнет лакомым блюдом, мир кажется веселым и светлым. Даже снег, летевший в распахнутую дверь, не пугает, а наоборот, радует. Мы, получив по горсти жареной кукурузы, сидели у очага, грели ноги и смотрели на озорно метавшиеся снежинки.

— Вот снег заладил, — пожаловалась тетя. — Негде детям поиграть.

— Не будь неблагодарной, мать. Бог смилостивился над нами, а ты ропщешь, — откликнулся из-под навеса дядя. — Это не снег, как думают люди, а хлеб. С неба сыплется хлеб!

Для нас слова тети были более понятными. Снегом все же не наешься, хотя его назови хлебом десять раз, а вот играть нам в такую погоду действительно негде. Да и холодно: у меня на ногах, например, только кавуши — ни чулок, ни носков. Глубокий снег так и забирается внутрь, так и жжет голые пальцы. Но тетя не собирается отстаивать свою, нам с Акилом кажущуюся правильной, точку зрения. Она вспоминает о боге.

— Знаете, дети мои, каждая снежинка находится на плече ангела. Когда ангелы ведут хоровод, снежинки срываются с их плеч и падают на землю.

Я всегда верил всему необычному и таинственному. Мне захотелось увидеть ангелов, и я поднял голову к небу и стал смотреть в молочный хаос, что царствовал в вышине. Однако, кроме снега, пляшущего под унылый вой ветра, я ничего не нашел.

— Тетя, что-то не видно ангелов...

— Сыночек ты мой глупый! Разве ангелы показываются людям? Они открываются лишь пророкам и святым.

— Каким святым? — допытывался я. Мне подумалось, что ишаны тоже святые.

— Которые близко к богу.

— А где они находятся? На кладбище? — Могилы святых я видел на кладбищах.

— Да, дитя, на кладбище. Кладбища — это святыни, — неуверенно и испуганно пояснила тетя.

Громкий смех прервал ее. Смеялся дядя:

— Откуда вам все это известно, мать? Не из затрепанных ли книг отинбуви?

— Не сомневайтесь в вере, это озлобит всевышнего! — всплеснула руками тетя.

— Как можно не верить вашим словам, уважаемая, — продолжал смеяться муж.

— Да не моим словам, а откровениям всевышнего!

— Со всевышним я спорить не могу. Знаний не хватает, всю жизнь прожил и ни одной суры корана не выучил. Некогда было. А вы, дети мои, каждый день небось в школу ходите, твердите молитву за молитвой, что вы можете сказать по поводу угроз тети: гневлю я всевышнего или нет...

Дядя подошел к нам, остановился у порога и, подняв голову, стал что-то высматривать на крыше — так мне показалось, а может, на верхушках деревьев. Потом поманил нас с Акилом пальцем. Мы торопливо поднялись и тоже уставились на небо.

— Видишь? — шепотом спросил дядя.

— Что?

— Как что?! Ангелов...

— Н-нет, — смущенно признался я.

— А ты? — обратился дядя к Акилу. Тот отрицательно покачал головой.

— Да что, у вас глаза или дыры в овчине? — смешливо возмутился дядя и тронул пальцем мои брови. — Ну как же вы не видите ангелов? Каждый из них как большая цапля...

— Умереть мне на этом месте, — по-взрослому поклялся Акил, — если на небе что-то есть. Пусто...

— Ах, я забыл, — огорчился дядя. — Ведь ангелы показываются только тем людям, которые совершают омовение, а вы, видно, не соблюдаете правил, установленных пророком...

Все это дядя говорил серьезно, и мы не знали, верить ему или нет. Вот только глаза его как-то лукаво искрились, и искры эти смущали меня. Видя мое колебание, дядя наклонился и шепнул на ухо:

— Позови тетю, она, верно, совершила омовение и сможет увидеть ангелов...

Я был слишком робок и потому отказался.

— Тогда ты, сынок, — обратился дядя к Акилу, — спроси тетю, совершила ли она омовение сегодня?

Акил, не задумываясь, крикнул:

— Тетя, вы совершили омовение?

Ответа, конечно, не последовало: тетя даже не посмотрела в нашу сторону. Тогда веселый дядя подтолкнул Акила:

— Подойди и ласково попроси рассказать, сколько ангелов на небе?

Друг мой тотчас подскочил к тетушке и защебетал, как воробей:

— Милая тетушка, пожалуйста...

— Сколько ангелов на небе, ведомо лишь хозяину, — спокойно ответила тетя.

— А кто хозяин?

— Хозяин — бог, который создал меня, тебя, землю, небо и дядюшутника... Он один знает и имя и число всего созданного...

— И число немалое, — вмешался дядя. — Ведь у каждого ангела на плечах по снежинке, значит, их целая армия.

— Грех выведывать тайны всевышнего, — отмахнулась тетя.

— Зачем же выведывать, зачем грешить, когда и так видно — снег валит, словно тысячи мешков муки высыпают с неба. — Дядя опять подмигнул нам. — Сколько снежинок, столько и ангелов...

— Если и так, то что из того, — простодушно заметила тетя, не предполагая подвоха.

— А то, что их тьма-тьмущая, носятся без дела по небу, а у крестьянина рук не хватает в поле. Помогли бы!

— Свои заботы на бога переложить хотите? На нем вся тяжесть мира.

— Я поражен вами, женушка, — развел руками дядя. — Вы так мудро судите о делах небесных, что нам, темным, и рот открыть

нельзя. Не зря вы ходили с книжкой к отинбуви. Я так думаю, отчего бы не родиться вам святой. Теща моя дала маху, произведя вас на свет простой крестьянкой...

— Не смейтесь, и среди женщин были святые, буви Мариям, буви Фатима, буви Зухра... Не смейтесь над женщинами!

— О нет! — делая строгое лицо, согласился дядя. — Это опасно. Но если вы так мудры, то научите нас свершению добрых дел. Вы знаете, что по этому поводу говорил его величество Навои?

— Я не читала Навои, — отмахнулась тетя.

— Вот видите, не читали. А мы хоть и неграмотные, но кое-что знаем. Его величество Навои говорил: «Знающий — друг себе и людям, незнающий и нестремящийся узнать — враг собственной душе». Но кто хочет быть врагом себе самому. Я пытаюсь узнать, заглянуть в тайну.

— Мужчины слишком горды, чтобы учиться у женщин, — заметила с издевкой тетя.

— У вас я готов учиться!

— Это говорит ваш язык, а душа — совсем другое.

— Истинный бог! Это сказано от души. Цель слепого увидеть мир хотя бы на одно мгновение, и если женщина способна открыть нам глаза, мы склоним перед ней колени. Вот я попросил ангелов помочь крестьянину. Разве это грех? Может бедный человек помечтать иногда?

— Мечта бедного — молитва, — примирительно сказала тетя. — Вот и помолились бы, вместо того чтобы тешить душу сомнениями и укорами. Насмешкой сыт не будешь.

— Ой, мудра ваша тетя, — опять подмигнул нам лукаво дядя. — Верно ведь — сколько ни смейся, желудок не наполнится лепешками. Сожалею о начатом. Пусть ангелы летают на небе, а здесь, на земле, нам никто не поможет, кроме нас самих. А потому идемте-ка в комнату, сынки мои, дабы не замерзнуть на ветру...

Я охотно откликнулся на совет дяди и уже направился за ним к двери, но мой дружок Акил вдруг совсем некстати вспомнил о причине нашего появления в этом доме.

— Папа прислал меня за семенами... Дядя остановился.

— Семенами?

Он подумал, хлопнул себя ладонью по лбу, причем сделал это так смешно, что мы рассмеялись, и сказал:

— Да, я, кажется, действительно обещал твоему отцу семена.

Приглашение в комнату к теплому сандалу было тотчас забыто. Дядя прошел под навес, пошарил там в полумраке и вернулся с чашкой, сделанной из сухого плода дыни, вернее из коры, продубленной солнцем. Чашка оказалась наполненной семенами.

— Тебе повезло, малыш, это то, что нужно твоему отцу. Берег с самого лета. Если суждено, то отведаете дыню, выращенную из этих семян.

— А как она называется? — полюбопытствовал Акил.

— Бурикалла... Волчья голова. Человек, отведавший кусочек этой дыни, за вторым куском придет из самой Мекки. Только надо посеять ее в срок и на хорошей земле.

Акил старательно кивал головой, давая понять этим, что все понимает и все передаст отцу.

— А земля-то у вас есть? — вдруг спросил дядя Джайнак.

Акил опять кивнул, но тут же смутился и как-то растерянно посмотрел на дядю.

— М-да, — буркнул тот, о чем-то догадываясь и что-то вспоминая. — Чужая, значит. Не сладкое это дело лить пот на поле хозяина. Чем больше пота выльешь, тем меньше засыпаешь зерна в закрома. Хозяину три мешка, себе — один. Так-то, сыночек мой. Жаль, что мало дынь попадет вам в рот, хоть они и сладкие и люди готовы идти за ними из самой Мекки. Ну, ладно, день на день не приходится. Лишь шайтан живет без надежды. То, что лошадь не вспахано, стригунком будет вспахано, так говорят у нас в народе...

Дядя отчего-то погрустнел и стал смотреть на идущий ровным рядом тихий мелкий снег. Смотрел он долго и, кажется, забыл о нас, потому что, когда Акил сказал: «Ну, мы побежали домой», дядя вздрогнул и удивленно глянул на нас, будто впервые увидел.

— А, да... бегите... Мороз скоро падет... Бегите. Мы бросились со всех ног, чтобы согреться. Уже в калитке я услышал слова дяди:

— Может, и отведают бурикалла...

Так состоялось мое первое знакомство с дядей Джайнаком. Было это года два назад, когда я еще ходил на занятия к отинбуви. Второй раз мы повстречались прошедшей весной, перед Наврузом. Вернее, даже не повстречались, я должен оговориться: дядю мы не видели, хотя он незримо и присутствовал при этом. Просто знакомый отца рассказал о несчастье, постигшем шутника Джайнака. Рассказал у нас дома, и вся семья слышала. Мать плакала, отец хмурился и вздыхал. Я, сжавшись от страха, забился в угол, готовый тоже пустить слезу. Мне было жаль веселого дядю Джайнака.

Сам гость переживал не меньше нашего.

— Да не сочтет за грех всевышний мою причастность к этому жестокому делу! — говорил он, простирая руки к небу и закатывая глаза. — Если в тех грошах, что получаю я, окажется таньга, отобранная у несчастного Джайнака, пусть она станет ребром в моем горле. О, великий аллах, смой пятна с моих рук, прикасавшихся к бумаге бесчестия!

Не сразу я смог понять, в чем вина нашего гостя, почему он так клянет себя. Ничего плохого он не сделал дяде Джайнаку, только присутствовал при описи имущества, которое подлежало продаже в уплату долга. Оказывается, дядя взял ссуду в какой-то кредитной компании и не смог осенью погасить ее. То есть он погасил, но не уплатил процентов, составлявших около шестидесяти рублей. Проценты имели такое волшебное свойство, что увеличивались каждый день и уже переросли сам долг. Вот компания и решила пустить в уплату дом, корову и лошадь дяди Джайнака. Так выглядела вся история, ставшая понятной мне много позже. Единственное, что я уяснил тогда из рассказа гостя, это существование какой-то жестокой несправедливости, падавшей на голову бедного человека в самый неожиданный и самый неподходящий момент. Приближалась весна — время сева, а у дяди отбирали лошадь. Как же он вспашет землю? И вообще, как он будет жить?

— Мы вошли во двор, — рассказывал гость, — когда хозяин чинил борону... Под навесом...

Мы с Акилом тоже увидели дядю Джайнака под навесом, когда он

чинил хомут. Теперь хомут не понадобится ему, не на корову же одевать. Хотя корову тоже забрали.

— Мир вашему дому, — приветствовал Джайнака мингбаши. — Пусть никогда не нарушается покой семьи...

— Да уж какой покой, — ответил дядя, — с хорошей вестью в мою лачугу именитые люди не заходят.

— Видно, сам догадываешься, о чем пойдет разговор, — пояснил уполномоченный компании и показал вексель.

— От собственного пальца не откажешься, — кивнул Джайнак, имея в виду оттиск большого пальца на обязательстве, составленном при получении ссуды.

— Вот и хорошо, — обрадовался мингбаши. — А то другие шум поднимают, не соглашаются. Зачем это? Брал — значит, плати. Так ведь, шутник Джайнак?

Да, на этот раз Джайнаку было не до шуток, продолжал гость, такого бледного и грустного лица я никогда не видел у нашего друга. Как не хотелось мне присутствовать при описи, но что поделаешь — писарь обязан все заносить на бумагу, такова его служба. Шесть рублей, которые платит мне компания, требуют повиновения. Ох, знал бы я, чем обернутся годы учения у домоллы, побои и унижения, никогда бы не взял в руки калям. Теперь я раб своей грамотности...

— Так что же было дальше? — напомнил отец гостю.

— Что было дальше! Лучше об этом не говорить. О всевышний, есть ли слова, способные передать горе несчастных? С поникшей головой Джайнак ввел нас в дом. Что это за дом, можно себе представить, когда с порога на вас глядит темнота, словно ночь не покидает никогда жилища. «Засвети огонь!» — сказал мингбаши. Он думал, что Джайнак скрывает свое богатство. Глупый человек мингбаши. Когда загорелась плашка с каплей масла и жалкий фитилек, скрученный из ваты, бросил свет на стены, мы не увидели их. Да, стен не было. И ниши, и потолок, и все, на чем держится дом, даже поперечные балки, от постоянного дыма стали черными и казались зияющей пустотой.

В углу на крючке висел казан, под которым был устроен земляной очаг. Он-то и закоптил комнату. Ни саксаула, ни камыша я не

заметил. Очаг топился кизяком — сухим навозом. Вы сами можете догадаться, какой запах стоял в комнате во время варки пищи.

А что хранилось в нишах? Мингбаши пошел посмотреть и наткнулся на сундучок с тряпьем и на медный кувшин. Стояли еще там два лягана — блюда и несколько отбитых пиал. Все из обожженной глины.

— Сестра, — обратился мингбаши к жене Джайнака, что стояла босая у сандала, — есть ли еще вещи в доме?

— Если муж не спрятал под полом, то нет.

Вы же знаете, как остры на язык эти Джайнаки. Бедная женщина еще шутила. Какой там подпол! Мы стояли на утопанной годами земле, и, упавши что на нее, она бы зазвенела, как медный таз.

— Чем же платить долг? — спросил мингбаши.

— У них есть лошадь, — подсказал уполномоченный компании.

— Ну, лошадь имеет своего хозяина, как все лошади Джизака, царь отправляет ее на войну...

— У меня всего одна лошадь! — испугался Джайнак. — Всего одна.

Мингбаши кивнул, соглашаясь.

— Это хорошо, что одна. У кого две, тот отдаст две... Тебе же легче.

— Воля ваша, амин пачча. Я рад, что у меня не три лошади.

Вот ведь какой этот Джайнак!

— Тогда остается корова, — без надежды сказал уполномоченный компании. — Вместе с домом, возможно, она покроет долг.

Мингбаши махнул рукой:

— Если найдется охотник на эту конуру, то десять рублей положите в карман компании. Не знаю, какая корова у шутника; будем считать, лучше дома, прибавьте еще пятнадцать рублей...

— Боже! — воскликнул уполномоченный. — Всего двадцать пять рублей. Компания терпит убытки...

Он схватился за голову, как будто из его собственного кошелька Джайнак вынимал деньги.

— Когда даете в долг, — заметил мингбаши, — загляните сначала в сарай хозяина.



— Э-э! — рассердился уполномоченный. — Мы смотрели на его руки. Они крепкие у Джайнака...

— Что сейчас сделаешь руками? Из камня воду не выжмешь, пыль в муку не превратишь... Кладите свои двадцать пять рублей в карман компании и забудьте этого шутника.

— Мало, — развел руками уполномоченный. — Слишком мало...

Жена Джайнака вдруг стянула с сандала рваную скатерть, отчего полетели на пол касы и железный поднос.

— Все, все берите! — закричала она. — Если бог кого проклянет, то делает его бедным!

Потом она подошла к нише и стала бросать ляганы и пиалы.

— Безрассудная женщина! — пытался облагородить ее амин пачча — сборщик налогов. — Не лишай себя последнего. Эти ляганы еще могут пригодиться.

— Для чего человеку ляганы, когда в них нет пищи? Жевать солому можно и без посуды...

— Напрасно гневисься, женщина, — успокаивал жену Джайнака уполномоченный. — Мы не виновны. Виноват твой муж: он подписал бумагу. А в ней сказано, что осенью он уплатит долг и проценты. А где они? Осень прошла — долг не прошел...

— Значит, это все уже не мое? — спросил Джайнак.

— Выходит, не твое, — ответил мингбаши.

Что сделал после таких слов Джайнак? Он засмеялся. Но смех его был подобен рыданию потерявшего разум человека, Ужас охватил меня, рассказывал гость. Не будь рядом господина уполномоченного и самого мингбаши, я бросился бы бежать без оглядки.

Смеясь, Джайнак взял за руку сына, не менее напуганного, чем я, и направился к двери. С криком «алла», рыдая и рвя на себе волосы, за ним последовала жена. Крик ее долго еще слышен был в кишлаке. Даже когда мы отъехали на немалое расстояние от дома шутника, в ушах моих все еще звучал голос несчастной женщины.

Вот так второй раз я встретился с дядей Джайнаком. Как видите, эта встреча была печальной. Она заставила нас погоревать и пролить слезы по поводу несчастья, обрушившегося на голову человека, которого все считали шутником.

Третий раз я увидел дядю Джайнака на гузаре, шагающего впереди толпы. Он не был похож ни на весельчака, ни на несчастного. Словно само горячее солнце Джизака вселилось в него. Глаза сверкали огнем, лицо исполнено решимости. Если бы встретилось на пути его сейчас препятствие, Джайнак не колеблясь опрокинул бы все, разрушил. Такая же решимость охватила и спутников дяди. Джизакцы шли торопливо, и число их все увеличивалось. Из калиток выходили старики и присоединялись к толпе. Некоторые из-за преклонного возраста не могли двигаться быстро, но отстать не хотели и, опираясь на палки или на руки молодых, пристраивались к хвосту шествия. Город многолюдным потоком тек к мечети, вбирая в себя новые и новые ручейки.

Не обошлось и без нас, мальчишек. Стаей, шумной, подвижной, как облачко дыма на ветру, мы носились в толпе, появляясь то там, то здесь, выхватывая слова, брошенные кем-то, и перенося их в другой край. Самыми интересными были слова дяди Джайнака. Интересными потому, что звучали необычно, смело, обжигали сердца.

Перед мечетью толпа сгустилась, стала плотнее и спокойнее, пестрой лентой втянулась во двор и там растеклась, покрыв собою каменные плиты.

Я не осмелился вместе со всеми войти в мечеть. Извечный страх перед домуллой Миртажангом остановил меня: а вдруг он где-нибудь у входа? Лучше обойти опасность, и я, отыскав в другой стороне двора дувал, перелез через него и укрылся под тенью ветвистого карагача. Сюда же забрались и мои товарищи по школе.

Огромное скопление людей, невиданное для соборной мечети Джизака даже в дни больших молебствий, поразило наше детское воображение. Что-то тревожное, даже страшное было в этом. Народ сдержанно гудел, но гул казался нам только предвестником настоящей бури. Как перед землетрясением проносится не то в воздухе, не ю под землей глухой стон, так и перед этой бурей стонала мечеть.

— Что будет? — спрашивали мы друг друга.

Осведомленные шепотом отвечали:

- Мирзаяра-мингбаши лишат звания.
- Как же останется город без мингбаши?
- Сейчас выберут другого.
- Говорят, элликбаши тоже продался богачам.
- Значит, и его погонят...
- А отцов в мардикеры возьмут?
- У кого деньги есть, того не возьмут. Отец Абдуллахада останется дома...

Сам Абдуллахад, наш сверстник, сидел рядом со своим отцом у хауза и беспечно болтал ногами. Еще не понимая, что жизнь делится на счастливую и безрадостную не по начертанию судьбы, а по простому делению на имущих и неимущих, я вдруг увидел в Абдуллахаде своего врага: он, этот удачник, будет, как прежде, видеть каждый день своего отца, а я должен остаться сиротой, должен испытывать голод и холод. Наверное, так же думали и остальные ребята, укрывшиеся от глаз Миртажанга под карагачем.

— Приехал! Приехал! — эхом пронеслось по двору.

Мы, забыв об опасности, выбрались из своего убежища, чтобы посмотреть на мингбаши, прибывшего для объявления приказа царя. Он слез с лошади, которую держали под уздцы двое полицейских, и в сопровождении элликбаши, всяких писарей и канцеляристов вошел во двор. Обычно появление мингбаши было сигналом к массовому приветствию — все вставали и кланялись. На этот раз никто не поднялся с земли. Лишь несколько человек по привычке вскочили и тут же сели.

Надо думать, что мингбаши Мирзаяр заметил все это, потому что хмурое лицо его стало еще суровее и глаза сузились недобро. Поднявшись на возвышение, откуда по пятницам велось богослужение, он оглядел двор, тысячи лиц и чалм, застывших в ожидании, и стал в торжественной позе. Он считал себя повелителем этой толпы и не собирался выпускать из рук власть. В конце концов наплевать ему на босоногих, осмелившихся встретить мингбаши молчанием. Не они сила. Сила здесь, на возвышении, — сотни именитых и состоятельных людей Джизака. Вот встал со скрещенными на груди руками мулла Хафизбай и, склонясь, произнес

традиционное мусульманское приветствие. Встали остальные муллы и баи. Мира, благополучия, спокойствия, тишины желали они Мирзаяру. Он немного подобрел. Кивнул эликбаши Абулкасыму, чтобы тот начинал.

Вряд ли кто помнит Абулкасыма. Природа наградила этого человека всеми качествами, необходимыми для возбуждения к нему отвращения и ненависти. Говорили, будто мингбаши долго искал себе помощника, пока не наткнулся на Абулкасыма. Представьте себе карлика с ярко-желтым лицом, исполосованным морщинами. Морщин у эликбаши было больше, чем волос на голове. Мне лицо Абулкасыма напоминало скорпиона в летнюю пору, когда он потолстеет и нальется медово-зеленым ядом. Но если скорпион жалит хвостом, то эликбаши — языком. С губ его всегда слетали злые, обидные слова. Произносил он их тонким, писклявым голосом. Глаза при этом стекленели и походили на две желтые бусинки, упавшие в глубокую ямку. Оттуда они смотрели на вас как из могилы. Мы боялись и сторонились Абулкасыма. Взрослые старались задобрить эликбаши, приветствовали его издали. Но он никогда не отвечал. Шел мимо молчаливый и злой.

Его голос прозвучал сегодня первым в мечети:

— Перед тем, как совершить намаз, мингбаши соблаговолит сказать несколько слов правоверным. Слушайте!

Мингбаши поморщился — так пискливо, так жалко произнес Абулкасым важные слова. Мирзаяр, видно, ожидал чего-то громкого и торжественного. Однако сам он говорил не лучше.

— Лишние слова — груз для ишака, — объявил он. — Есть список. Сейчас вам прочтут его. Кто услышит свою фамилию, пусть явится сюда в следующую пятницу за деньгами и теплой одеждой. Белый царь позаботился о вас и прислал все, что надо. Спасибо ему. А теперь помолимся богу, чтобы путь мардикеров был легким. Ваше преосвященство, — обратился мингбаши к имаму мечети, — благословите их!

Коротко и просто все решил мингбаши. Он привык, да и не только он, к тому, что головы под чалмами не задумаются над сказанным. А если и задумаются, то не посмеют высказать свои мысли. И не

успеют. Едва закончил Мирзаяр, как имам тотчас поднял руки и пропел:

— Аминь!

Затем стоя прошептал что-то и опустился на коврик, призывая этим самым верующих приступить к молитве. Да, на раздумье не отпускалось времени. Мирзаяр, элликбаши, муллы, баи торопились втянуть людей в водоворот церемонии. Вот уже имам прочел суру из корана, громко повторил неоднократно «аллаух акбар!» и перешел к напутствию мардикерам:

— Во имя пророка нашего Мухаммеда, навлеки всемогущий беды на головы врагов царя, приблизь день победы и день возвращения мусульман к родным очагам..

После каждого заклинания сидевшие на возвышении кланялись и шептали:

— Аминь! Народ молчал.

— Пусть его величество Али-шер, то есть лев, сам подтянет пояса тем правоверным, которые идут в мардикеры. Пусть они не знают ни страха, ни малодушия. Пусть тень всевышнего на земле будет защитой им в трудные дни...

— Аминь!

Опять народ молчал. Имам совершил омовение и посмотрел пугливо на мингбаши. Тот кивнул, что можно читать список.

Уже давно ожидавший приказа писарь начал громко, нараспев выкликать имена мардикеров. Он был до того взволнован, что не мог совладать с губами, и они дрожали и путали слова. Тогда он повторял их, повторял совсем громко, каким-то визгливым, женским голосом, словно собирался расплакаться.

Наконец писарь кончил, и все находившиеся на возвышении подняли руки, чтобы совершить омовение и произнести напутственное «бисмилло!» Но не успели.

Двое или трое из сидевших во дворе на камнях выкрикнули что-то. Слов никто не разобрал, но догадались: джнзакцы недовольны. Надо было сразу же принять меры, и мингбаши строго глянул на людей. Даже сделал шаг вперед, будто намеревался поближе рассмотреть липа недовольных. Угроза не помогла. Вспыхнули еще

голоса, а затем начался настоящий пожар. Крики слились в один сплошной гул.

Мингбаши, стоя на самом краю возвышения, вскинул руку, в которой была камча, то же сделали и полицейские.

— Тихо! Тихо! — кричали они, пытаясь успокоить джизакцев. — Тихо, вам говорят!

На помощь мингбаши заторопился мулла. Он потрясал кулаками и что-то произносил, наверное магическое, способное остановить правоверных. Его не слышали, да и не хотели слышать. Не до муллы тут было. Мне гул толпы напомнил недавнюю историю с водой, когда люди били в дверь ишана и требовали, чтобы он пустил их к колодцу. Никакие уговоры не помогли тогда. Не помогли и сейчас. Не знаю, чем бы кончилось все, не пояись у ступенек сухощавая фигура дяди Джайнака.

Для джизакцев, сидевших на камнях двора, это не показалось неожиданным, а вот мингбаши и его свита растерялись. Вначале Мирзаяр даже не понял, куда идет шутник, и смотрел на него с недоумением. Лишь ступеньки, отсчитанные ногами Джайнака, объяснили происходящее: шутник поднимался на возвышение, туда, где стояли именитые люди города. Поднимался на место, недозволенное босоному.

Все шесть ступенек одолел спокойно дядя Джайнак и оказался на возвышении перед народом.

То, чего не смогли сделать крики и угрозы мингбаши, увещевания муллы, сделал Джайнак одним своим появлением. Двор стих.

— Если мы будем трещать подобно стае скворцов, одолевающих тутовник, ничего не добьемся, кроме камня хозяина. Каждый имеет голову и способен понять, что от него хочет мингбаши, и каждый наделен языком, выполняющим нашу волю. Пусть здесь будут произнесены слова, которые вы хотите сказать. Разве не для этого мы пришли сюда, таксыр? — повернулся шутник к домулле.

Домулла от неожиданности опешил. Ему никогда еще не приходилось отвечать на такие вопросы. Да никто и не задавал их: простые люди знали свое место и умели молчать в присутствии мингбаши. И домулла взглядом обратился за советом к Мирзаяру. Тот

кивнул: дескать, отвечай.

Кашлянув для важности и подняв очи к небу, домулла произнес:

— Всевышний учит нас: «Долг людей быть моей тенью на земле и выполнять волю царя».

— Но всевышний учит, — добавил Джайнак, — что все равны перед богом и царем...

Не зная, к чему клонит шутник, домулла кивнул, соглашаясь.

— Истинно так.

Дядя Джайнак повернулся к толпе:

— Вы слышите, джизакцы?

— Слышим! — загудел народ.

— Отчего же нет в списке ни вас, ни вашего сына? — снова повернулся к домулле дядя Джайнак, — Или писарь пропустил?

И без того напуганный, писарь замахал руками, словно защищался от наказания:

— Всех, всех зачитал...

— Верим, — подтвердил шутник. — Значит, список слишком короток или бумага слишком мала: в ней не уместились имена баев и их сыновей. Так, таксыр домулла?!

Сбитый с толку домулла хлопал глазами. Что он мог ответить на этот вопрос, как и на все вопросы, что задавал босоногий. А народ требовал:

— Пусть ответит!

Мингбаши не выдержал. Поднял плеть и крикнул:

— Молчать!

Лицо его было красным от злости. Глаза, которые он выкатывал, стараясь показать свою решимость, лезли под самые брови и как два белых блюдца вращались беспрестанно. Он был страшен в эту минуту.

— Кто разрешил тебе говорить? — бросил он дяде Джайнаку. — Кто?

— А разве на то, чтобы высказать свою боль, нужно разрешение? Когда кошке наступают на хвост, она мяукает без спросу.

— Молчать? Ты бунтовщик... Ты против царя...

— Я ищу справедливости...

— ...справедливости!!! — загудела мечеть.

Мингбаши забегал по айвану, грозясь кулаком и камчой. В ответ на угрозу люди поднялись и стали тесниться к возвышению. Гул перешел в рокот. Тысячи рук поднялись над толпой.

— Справедливости!!!

У мингбаши глотка была не то, что у карлика элликбаши, он умел греметь карнаем. Перекрыл шум и заставил людей слушать себя.

— Генерал-губернатор края освободил от мардикерства слуг царя и народа, то есть настоятелей мечетей, судей, полицейских. Кто способен уплатить деньги, также может остаться дома. Не хотите ехать на тыловые работы, наймите себе замену. Губернатор разрешает имущим бросить жребий, кто из четырех пойдет в мардикеры.

— Один из четырех? — переспросил Джайнак.

— Да! И они согласны. Они не ропщут, не нарушают порядка. Истинные мусульмане всегда покорны. Вам это понятно?

— Понятно... Халва — правителю, палка — бедняку, — развел руками дядя Джайнак. — Поймет ли народ эту мудрость?

— Смутьян! — завопил мингбаши. — Он хочет сбить людей с пути пророка!

— О великий бог! — взмолился домулла. — Покарай отступника...

Мингбаши понял просьбу, обращенную к богу, по-своему. Поманил пальцем полицейского Садыка, и тот придерживая шашку, поспешил на сигнал. Ему не надо было ничего объяснять: по выражению глаз и по движению пальца своего начальника он догадался, что следует делать. В огромных ручищах Садыка тощий Джайнак моментально бы превратился в покорного мусульманина. Единственное, что смущало полицейского, это присутствие огромной толпы, гудевшей тревожно во дворе. Поэтому Садык не поднялся на возвышение, а стал манить вниз Джайнака.

— Не идите к нему! — зашумел народ.

Джайнак и сам не собирался лезть в капкан. Он отодвинулся от края. Перед тем как спрыгнуть с айвана и раствориться в толпе, крикнул:

— Пусть баи идут в мардикеры! Бедные освобождаются от этой



повинности, а кто продается за деньги, тому не жить!

Садык бросился за Джайнаком, но сотни людей преградили ему путь, и он, опутанный телами и руками, застрял, как муха в тенетах.

— Болван! — рявкнул мингбаши.

Во дворе творилось что-то немыслимое. Соборная мечеть стала похожа на потревоженный улей. Люди забыли о святости стен, окружавших их, не внимали призывам мулл и угрозам мингбаши. Извечный страх перед могуществом всевышнего покинул их. А без этого страха ничто уже не способно остановить правоверных.

Суфи пал на колени и по знаку мингбаши начал утреннюю молитву — азан.

— Аблаух акбар! — как мог громче пропел суфий.

Обычно верующие, где бы они ни были, услышав голос суфия, словно по мановению волшебного жезла опускались на землю и творили азан. Все мирское в эти минуты отступало, переставало существовать. Сегодня люди забыли молитвы, все забыли. Бурля, как весенний поток, толпа двинулась к воротам и вытекла через них на улицу. И там, на улице, продолжала бурлить и гудеть.

Вместе с толпой покинули мечеть и мы, мальчишки. Я проходил мимо возвышения одним из последних и видел стоявшего в окружении полицейских мингбаши. Он был по-прежнему мрачен и зол. Провожал толпу ледяным взглядом и что-то беззвучно шептал своими крупными мясистыми губами. Наверное, проклятия. Он намеревался мстить, наказывать всех босоногих, посмевших проявить непокорность.

Он не знал, что намерению его не суждено осуществиться. Эта пятница для мингбаши была последней...

## **Нарушение поста**

Я сказал, что это была последняя пятница мингбаши Мирзаяра. Тогда, конечно, никто не знал судьбу его: ни народ, ни он сам. Тем более какой-то мальчишка из махалли Уратепе. Все произошло позже, в один из дней поста — уразы.

Пост в том году совпал с месяцем саратан. А он оказался таким горячим, что не только земля, все вокруг пылало жаром, и негде было

укрыться от этого огня. И в самом человеке тоже огонь. Ведь по мусульманскому обычаю в течение дня, от восхода до заката солнца, нельзя было ни пить, ни есть. Капля воды, проглоченная, правоверным, — тяжкий грех. И еще наказание на том свете — муки ада!

Впервые в своей жизни я тоже постился. Нас заставил домулла Миртажанг. Он сказал:

— Пробыл час приобщения вашего, дети мои, к исламу. Не одной молитвой, но и делом соедините себя с верой ваших отцов и дедов. Пост — начало такого приобщения к религии. Вы теперь взрослые и должны уметь переносить тяготы. Прежде всего не есть и не пить днем.

Пока сидишь на террасе и бубнишь суру из корана, пока чувствуешь на себе суровый взгляд домоллы и видишь палки, предназначенные для наказания оступившихся, голод не так ощутим. Даже муки жажды терпимы. Но вот Миртажанг объявляет перемену, и ученик оказывается один на один с искушением положить в рот кусок лепешки или глотнуть каплю воды. Искушение страшное. Рядом малыши, еще не соединившие себя с верой отцов и дедов, макают хлеб в воду и аппетитно едят, прихлебывая из пиал мутноватую жидкость, а ты должен смотреть на все это со стойкостью святого и даже не глотать слюну, дабы не обманывать ни себя, ни бога. Впрочем, глотать нечего — слюны нет. Внутри все, кажется, пересохло, и язык движется по нёбу, усыпанному горячим песком, колючим и шершавым.

Чтобы избежать искушения, мы идем под тень карагача на берег хауза и там лежим с закрытыми глазами. Каждый старается думать о предметах несъедобных: например, о дереве, которое растет рядом, или о камне, что лежит посреди мечети, или, наконец, о хаузе, доносящем какое-то подобие прохлады до наших разгоряченных лиц. Хотя нет, о хаузе думать нельзя. В нем вода, а пить хочется больше, чем есть. Поэтому лучше заняться небом, бездонным голубым небом, по которому летают невидимые простым грешным ангелы величиною с цаплю, — так говорил дядя Джайнак. Веселый дядя Джайнак. Интересно, где сейчас живет он? Не в поле ли? Ведь дом у него

отобрали. Или в зиндане? Полицейский Садык небось нашел обидчика. От полицейского никуда не уйдешь!

Пока я так размышляю, мои товарищи один за другим исчезают с берега. Им надоело поститься. Найдя укромное местечко, они тайно расправляются с лепешкой или горстью сушеного урюка. Мне тоже ужасно хочется последовать их примеру, но страх перед божьей карой останавливает меня. Я лежу и смотрю на небо. Пристально смотрю. А вдруг бог смилостивится над преданным ему мальчишкой, оценит его мужественную борьбу с искушениями и откроет ангелов, тех, что величиною с цаплю.

Нет, мужество мое не столь велико, чтобы задобрить бога. Не открываются ангелы. Небо пустынно и бесконечно, и на нем ни единой точки. Только солнце, горячее, как тандыр. Жжет и жжет...

Чувствую, как к горлу подкатывается какая-то муть, и мне становится дурно. Жажда такая, что сил нет терпеть. Хотя бы увидеть воду, не пить, лишь смотреть на нее и представлять себе, как возвращающая жизнь влага прохладной струей течет в тебя. Течет, наполняя всего, будто кумган переливается через край на лицо, голову, грудь. Весь ты в воде уже. Нежишься, плывешь...

Я поворачиваюсь набок, к самой кромке берега, и вижу воду. Не ту, которая представлялась мне, не прохладную, чистую, перезванивающую струями, а мертвую, согретую солнцем, поросшую зеленью. И все же воду. Пусть она отдает гнилью, пусть в ней плавают черви и головастики. Только коснуться ее, погрузить руки и почувствовать влагу.

Это разрешено. Чувствовать телом разрешено. Даже полоскать рот можно постящемся. И я опускаю голову к воде, набираю пригоршню, подношу к губам. О, сколько червей в одном лишь глотке! Светло-красные, тонкие, как стрелки, подвижные, как молнии, они носятся в крошечной чаше. Чтобы избавиться от них, я распускаю пальцы, делаю решето — пусть уйдут. Они уходят вместе с водой. Снова набираю пригоршню и снова теряю. Наконец решаюсь прополоскать рот. Прежде оглядываюсь — не следит ли кто за мной. Все-таки страшно прикасаться к воде. Мало ли что подумают со стороны. Бог, конечно, знает, он вездесущ, но люди! Им ничего не

стоит обвинить меня в нарушении поста и передать на суд домуллы. А домулла постарается изгнать из меня дьявола. У него для этого есть много способов.

Никого вокруг не видно. Все попрятались и едят себе преспокойненько, один я мучаюсь. Набираю в рот воды и начинаю полоскать. Оказывается, это испытание не для мальчишки, посещающего второй лишь год школу при мечети. Дьявол тут как тут и уже готовит свои козни. Проглоти, толкает меня, что тебе стоит! Подумаешь, один глоток воды! Ну не глоток, полглотка. Четверть. Каплю всего лишь. Другие небось надулись, животы точно бурдюки. Лежат в тени, ухмыляются. Пей!

Вот какой бес! Не дает человеку сохранить чистоту. Не помню как, но первая капля попала в горло, скатилась незаметно. Остальное я шумно выплюнул на берег, чтобы все видели и слышали. Даже те, которые надулись воды и лежат себе в тени. Снова набрал полный рот и стал полоскать. И снова проглотил, теперь уже не каплю, а две, а может, целый глоток. Жажда, понятно, не уменьшилась. Где там! Она стала сильнее, словно вскипел глоток воды в животе и жар охватил все тело: третий раз внутрь попал действительно глоток. Довольно большой, вместе с десятком червей. Выходит, я уже не только пил, но и ел.

Была не была! Если согрешил, обратно не вернешь чистоту, как не выплунешь проглоченную воду. Глотки следуют за глотками, и каждый раз заедаются червями...

— Ага! Вот как ты держишь уразу!

Из высокой травы поднимается тощий мальчишка с крошечными, словно нос муравья, глазами. Это Навруз — любимый ученик домуллы Миртажанга, доносчик и предатель. Как я не подумал о нем, черпая воду из хауза!

Дьявол, который соблазнял меня на совершение греха, конечно, исчез, будто его и не было, и я остался один на один с Наврузом. Впрочем, это положение сохранялось недолго. Доносчик, как положено всякому доносчику, крикнул, и моментально прибежали несколько ребят из оканчивающих школу, скрутили мне руки и поволокли к домулле. Даже не поволокли, а понесли.

Миртажанг лежал на курпаче, подложив под правый бок подушку, и, прищурившись, смотрел на луч солнца, который пробивался через решетчатое окно кельи. Когда внесли меня, естественно, взгляд домуллы оставил скучную полосу света и обратился к нарушителю поста. Оказывается, Миртажанг все знал о моем проступке — доносчик следил за ненадежными учениками и время от времени докладывал о них учителю. Приговор вероотступникам был уже вынесен, и осталось только привести его в исполнение. Я предстал перед домуллой первым.

Прежде чем получить подтверждение от меня самого и убедиться, что я понял и осознал свою вину перед богом, Миртажанг прошептал молитву, смысл которой сводился к благословению предстоящих действий по выселению дьявола из моей души и тела. Потом домулла повернулся к старшим ученикам, давая понять им, что предстоит трудная борьба и следует хорошо вооружиться. Они уяснили приказ и взяли в руки прутья, смоченные в воде.

— Во имя бога милостивого и милосердного... — начал Миртажанг. Ему не дали продолжить молитву. В келью вбежал суфий, потный, испуганный, задыхающийся. Я никогда не видел священнослужителей такими растерянными и встревоженными. Обычно они старались держаться с достоинством, сохраняли при всех случаях жизни невозмутимость. И вдруг — отчаяние.

— Таксыр, несчастье!

Суфий глотнул судорожно воздух: должно быть, он бежал через весь город и ни разу не остановился. Чалма сползла на затылок, белый халат распахнулся, ноги в пыли.

— Убили мингбаши!

Домулла тоже, кажется, задохнулся. Недосказанная молитва застыла на губах. Он поверил суфию, но не мог сразу принять эту невероятную весть.

— Защити нас, господи! — только и произнес домулла. Потом со стоном поднялся с курпачи и, покачиваясь от какой-то боли, охватившей его, спросил:

— Кто же его убил?

Суфий все еще стоял на пороге и держался за косяк. Губы суфия

дрожали, как в лихорадке.

— Народ, таксыр... Те, что отказались от мардикерства.

Какая-то надежда, видно, таилась у домоллы — могли убить мингбаши разбойники, личные враги, а тут все это отлетело, и перед Миртажангом встала истина, страшная в своей сути — народ поднял руку на хозяина города.

— Защити нас, господи! — повторил домолла и шагнул к двери.

Так он, наверное, и ушел бы, оставив меня ненаказанным. Однако не было еще случая прощения. Домолла вспомнил грешника и отвесил ему такую пощечину, что эхо оглушило всех, стоявших в келье. Поскольку грешником был я, то ощутил не только звук, но и удар во всей его мощи. Как говорят, искры полетели у меня из глаз, а сам я рухнул наземь.

— Проклятое отродье! — прошипел Миртажанг, перешагивая через меня и покидая вместе с суфием и учениками келью.

Можно было считать, что я легко отделался. Кроме звона в ушах и струйки крови под носом, никаких других следов наказания не было, значит, никто не узнает о случившемся. И дьявол из меня выбит, и грех снят. Это просто удачно получилось. Надо же было мингбаши так ко времени расстаться с жизнью и этим самым избавить меня от ужасных мук. Прутья в руках старших учеников довольно неприятная вещь. От них потом целый месяц болит спина и кровоточат ссадины.

Так наивно и эгоистично рассуждал я, лежа на полу кельи и прислушиваясь к звукам на дворе. Мне не хотелось бы вновь уловить шаги домоллы, возвращающегося в свою конуру и несущего нерастраченную злость на вероотступника.

Шагов не было. У хауза шумели ученики, обычно выстраивающиеся на площадке перед тем, как проститься с учителем и покинуть мечеть. Домолла специально устраивал эту процедуру, заставляя ребят во все горло кричать: «Ассалам вaleyкум!», дабы родители в любой части города могли узнать об окончании занятий и проверить, не задерживаются ли их дети в пути, торопятся ли домой.

Я ждал крика. Мне больше чем кому-либо сегодня не терпелось услышать сигнал. Шум продолжался, но какой-то странный, необычный. Ученики галдели то громко, то тихо и вдруг смолкли

совсем. Это было ново, Где же «ассалам вaleyкум»? Неужели они ушли без приветствия, не известив родителей об окончании занятий. Во всяком случае, судя по тишине, воцарившейся внезапно, мечеть опустела. Домулла нарушил все правила, им же установленные. Из-за мингбаши он потерял голову. Ну а если человек теряет голову, то, безусловно же, забывает и о провинившихся учениках. В данном случае — обо мне. Напоминать я, конечно, не стану: кошка, которая пролила молоко, не старается показаться на глаза хозяйке, а бежит со всех ног в чужой двор. Уподобляясь такой кошке, я поднялся с пола и, чуть приоткрыв дверь, выглянул во двор. Он был пуст. Ни учеников, ни домуллы, ни суфия.

Кроме радости, я испытал одновременно и тревогу: чтобы это значило? Кажется, смерть мингбаши не простое событие. Люди напуганы и пытаются скрыться в домах. Даже Миртажанг, долг которого вразумлять и утешать людей, быть их пастырем, сбежал. Тишина показалась мне зловещей. Не простая тишина. Тишина мечети, где высятся каменные своды и темнеют мертвые оконца келий и все напоминает о холодном потустороннем мире, против которого я час назад совершил преступление, утолив жажду водой из хауза.

Бросив на произвол судьбы свою торбу с книжками, я кинулся вон из кельи. Откуда взялась только прыть. Через минуту ноги несли меня по улицам города, такого же пустынного, как и двор мечети. Изредка встречавшееся люди торопливо открывали калитки своих домов и исчезали там безмолвно. Лишь гремяли засовы и щеколды.

Жара была страшная. Земля накалилась настолько, что касаться ее можно было лишь в сапогах. Босые ноги мои испытывали муки перепела, попавшего в жаровню. Я скакал на носках, оберегая ступни, и все же ожег их.

В нашем переулке на меня наткнулся дядя Джалал. Лицо его выражало ужасное волнение.

— Где Ахмад? — спросил он тревожно.

Что я мог знать об Ахмаде, нашем ученике, когда находился в келье домуллы.

— Не знаю, — ответил я. — Но в школе он был...

— О горе, — всплеснул руками дядя Джалал. — Неужели он подался в сторону базара? Там убили мингбаши...

Надо было чем-то утешить дядю Джалала, но я не успел ничего сказать. Волоча огромные старые кавуши, он скрылся в своей калитке.

Не один дядя Джалал беспокоился о сыне. Около дома меня ждала матушка, встревоженная до крайности.

— О боже! — воскликнула она и протянула ко мне руки. — Наконец-то!

Я повис у нее на шее и как когда-то, будучи совсем маленьким, прильнул к ее щеке, мокрой от слез. Так, на руках, она и внесла меня во двор.

— Хорошо, что хоть ты вернулся, — шептала матушка. — Бог услышал мои молитвы.

Еще не осознавая причин такого волнения взрослых, я невольно поддался общему чувству тревоги. Мне захотелось скрыться куда-то, сделаться невидимым и неслышимым, и, когда калитка захлопнулась за нами, я чуточку осмелел и сказал:

— Не могу поститься... Пить!

— Господи, кто же постится в такое пекло! Дети могли бы и нарушить правило. Не на муки же все сотворено...

С этими словами матушка налила из кувшина полную пиалу воды и подала мне.

— Пей, сынок! Пей, мой ягненочек...

Пока я, прильнув к пиале, тянул прохладную влагу, матушка тронула мою голову и испуганно воскликнула:

— Да ты горишь весь! Что с тобой?

— Бежал... Торопился...

Конечно, я не мог рассказать все, что стряслось со мной в школе: не хотел расстраивать матушку, да и просто стыдно было признаваться в совершенном преступлении. К тому же похождения мои не представляли сейчас никакого интереса. Во двор сошлись соседки и наперебой стали расспрашивать, что видно и слышно я городе. Был ли я на базаре, в том месте, где убили Мирзаяра? Нет, я не был. И это огорчило соседок. Впрочем, мое равнодушие к



событиям на базаре было расценено как проявление мудрой осторожности. Женщины боялись за своих сыновей — соваться им в дела взрослых не следовало.

— А Мирзаяру так и надо, — сказала одна из соседок. — Кабанье отродье, проданся богачам... Только жаль, что умер он в борьбе за веру, в рай попадет...

Жена дяди Джалала, строптивая и языкастая женщина, отмахнулась от соседки.

— Что ты, сестра! В рай попадают невинные, а этот кабан принес столько зла бедным и сиротам, что ему прямая дорога в преисподнюю. Там отольются ему все наши слезы.

— Мирзаяр-то покинул этот свет, и ему теперь все едино, — заметила со вздохом моя матушка, — а мы остались здесь, и слезы наши будут солонее, чем прежде. Мингбаши не по воле народа правил уездом, его власти назначили, перед ними и ответ придется держать за смерть Мирзаяра...

Долго бы так судили мингбаши женщины, если бы не распахнулась калитка и во двор не вбежал отец. Он, как и все в тот день, был взволнован и встревожен. Хотя внешне это ни в чем не проявлялось, лишь торопливость, с которой он влетел во двор, свидетельствовала о его крайнем возбуждении. Мы сразу догадались, что отец несет какие-то важные и даже страшные новости. В глазах его был тот самый ужас, который я заметил в ночь встречи с волками.

— Воды! — крикнул он, раскрывая широко ворот рубахи. — Скорее воды!

Мать кинулась по привычке к кувшину, но вдруг остановилась.

— А как же пост?

— Э-э! Бог простит нам. Не до поста теперь...

Отец вообще-то был не особенно ревностным слугой всевышнего, ну а сегодня вольность его проявилась в полную меру.

Мать подала касу воды, и он при всех осушил ее и потребовал вторую.

Пока он пил, матушка со страхом смотрела на него и что-то шептала, видно, просила у бога прощения за нарушение поста. Когда и вторая каса была осушена и отец ладонью отер губы, она спросила:

— Вы видели мертвого мингбаши?

— Да, — нехотя ответил отец. — Лежит около своего дома...  
Растерзанный.

— О боже!

Мать закрыла ладонями глаза, будто увидела сама труп Мирзаяра. Она была очень жалостливой и впечатлительной.

— Уж лучше бы его не убивали, — сказал отец с раздражением. — Если бы народ стал свободным после смерти Мирзаяра, то кровь смылась бы с рук мстителей. А сейчас это только утоление жажды, которая снова станет мучить нас с новой силой. Весь Джизак двинулся к Пятиречью, искать уездного начальника. Не дай бог, найдут его, — новая кровь прольется и уже не смыть ее ничем и никогда. Лишь нашей собственной кровью...

— А где ваша лошадь? — вдруг вспомнила матушка. Отец махнул рукой, давая этим понять, что лошади больше нет.

— На ней уехал сын Мурдашуя Урдуш...

— Зачем же вы отдали?

— Попробовал бы я не отдать! Он схватил ее за узду и потребовал, чтобы я слез с седла. «Мы идем в Пятиречье повидать господина правителя. Если ты защитник мингбаши и его хозяев, то сиди на своей кляче, если сочувствуешь народу — отдай нам», — так сказал сын Мурдашуя. В руках его была острая теша, которой он грозно размахивал перед моим лицом. Теперь мы уже не увидим ни сына Мурдашуя, ни нашей лошади. Лысый правитель, я думаю, встретит народ не поклоном и сдобной лепешкой...

Слушая отца, матушка да и соседки горестно качали головами, вытирали слезы, которые уже успели появиться на их глазах.

— Однако надо идти, — сказал отец. — На базаре все осталось без присмотра.

— Зачем лезть на острие ножа! — запротестовала матушка. — Пусть судьба сама присмотрит за вашим чаем и солью, если суждено жить.

— Чай, бог с ним... Мастерские сыновей твоих открыты настезь. Они и огонь небось не успели погасить в горнах...

Матушка схватилась за голову.

— Ушли?

— Да, ушли в Пятиречье...

Не то стон, не то вопль вырвался из груди матушки.

— Лучше бы мне не родить их в муках, чем теперь терять...

— погоди, ташкентская, — мрачно произнес отец, теребя свою небольшую бородку и глядя в землю. — Ничего еще не случилось с ними и, дай бог, не случится. Не они одни пошли, весь народ...

Успокоить матушку было нелегко, да и чем успокоить: сыновья ее вместе с толпой джизакцев направились к канцелярии уездного начальника. А там войска, готовые при первом сигнале об опасности открыть огонь по восставшим.

— Зачем вы пустили их?

— Что ты говоришь! — рассердился отец. — Кто может остановить человека, который вместе с народом поднимается на борьбу? Это его дело. Он с сердцем советуется, а не с соседом и даже не с отцом... Дай мне хурджун и пару мешков... Да поскорее!

Плача, матушка вынесла требуемое, но не сразу подала отцу.

— Пусть пропадет все, — сказала она. — Пусть последний чапан сгорит, лишь бы вы остались с нами...

— Наша жизнь записана в книге судьбы, и от нас ничего не зависит... Будем надеяться... Назиркул, пошли! — позвал меня отец. — Одному трудно успеть везде.

— Не пушу! — взмолилась матушка.

— Ты голову потеряла от страха, ташкентская. На базаре тихо, и ничто не угрожает нам... Идем, сынок!

— Не подходите к толпе!

— Толпа уже у канцелярии уездного начальника...

Мы оставили плачущую матушку и вышли на улицу. Около нашего дома действительно никого не было, но со стороны базара доносился шум. Отец не обратил на него внимания и зашагал торопливо по аллее Каландарханы. Я едва поспевал за ним.

Уже на первом перекрестке нам повстречались люди. Вооруженные палками, кетменями, топорами и косами, они возбужденно говорили о чем-то. Но я не заметил, чтобы они шли в сторону Пятиречья, наоборот, кажется, возвращались оттуда.

Впрочем, определить направление было трудно. Люди то сворачивали на аллею, то покидали ее. Это были те самые джизакцы, что несколько дней назад выразили свое недовольство действиями мингбаши и покинули соборную мечеть. Они же защитили дядю Джайнака, когда полицейский Садык пытался арестовать его. Сегодня они были хозяевами города — ни элликбаши, ни полицейских не видно на улицах. Не знаю, какими представляются восставшие города читателю, возможно, он сам видел их и даже участвовал в событиях, я знал только Джизак. И знал именно таким: палит с неба полуденное солнце, все обожжено его неумолимыми лучами, воздух будто дрожит от напряжения, и даль колеблется. Черно-синие тени, острые и короткие, вдавились в белую пыль и кажутся подпорками стен и дувалов. Несмотря на обилие людей, возбужденных, шумливых, движущихся, город будто мертв. Обычные краски, звуки исчезли: нет ни каравана, медленно и равнодушно шагающего по улице, не слышно скрипа арб, стука молотков в кузницах, крика продавцов. Исчезли с улицы чачваны женщин и загорелые лица мальчишек. Смолк веселый ребячий смех. Даже каландары попрятались. Джизак больше походил на осажденный город, чем на восставший. Все чего-то ждали, к чему-то готовились.

Миновав мастерскую по изготовлению арб, мы с отцом вышли к дому Мирзаяра — именно здесь пролегала дорога на базар. Сразу я не понял, что произошло: улицу и дом нельзя было узнать. Двери выломаны и отброшены, на улице валяются вещи мингбаши. Книги, тетради, просто листы бумаги, исписанной и неисписанной, рассеяны по дороге. В арыке и на берегу лежат курпачи, подушки, коврики — то, на чем сидел, решая судьбы джизакцев, Мирзаяр. Сам он — в пыли. Темная, ни на что не похожая груда мяса и костей. Лишь по рукам и ногам можно догадаться, что это человек. Властитель города, вчерашняя гроза джизакцев!

Мы с отцом прошли, сторонясь мертвого. Но кто-то впереди нас бросил в мингбаши камень и выругался:

— Будь проклят, злодей!

Камни падали часто, потому что целая груда валялась около тела Мирзаяра. И мертвый он был ненавистен людям.

Перед самым базаром отец остановился. Со стороны западных ворот мчалась группа всадников на взмыленных конях. Они были хмуры и злы. Главное, молчаливы. Отец попытался задержать одного из них.

— Что там случилось? — крикнул он.

Но верховой не ответил, даже не придержал коня, пролетел мимо.

— Похоже, что случилось несчастье, — покачал головой отец. — Не последовал ли уездный начальник дорогой мингбаши. Идем скорее, как бы не нагрянули полицейские...

Он схватил меня за руку и потянул в сторону кузницы, открывавшей ряд мастерских. Здесь было тихо и безлюдно. Горны и очаги затухли; окалина у наковален лежала остывшей россыпью; готовые и еще не отбитые, даже не согнутые подковы валялись на пороге. Их бросили второпях, даже не окунули в воду. Но молотков, лезвий для серпов и кос не было. Их прихватили с собой кузнецы.

Странно было видеть кузнечный ряд мертвым, и я с опаской проходил мимо мастерских, словно кто-то мог притаиться за мехами горнов и броситься на меня внезапно.

Из-за хлебного ряда показалась толпа людей. Показалась и сразу же хлынула стремительным потоком вдоль проходов. Люди бежали нам навстречу, ничего не видя перед собой, ни перед чем не останавливаясь. Я невольно прижался к стене кузницы, чтобы не оказаться в русле этого потока и не быть смятым. То же сделал и отец.

Кажется, люди что-то кричали, но ни одного слова я не понял, так как все сливалось в один звук, и он напоминал гул водопада. Лица бегущих были искажены страхом. Мокрые от пота, запыленные с ног до головы, люди напрягали последние силы, чтобы успеть скрыться от преследователя. Видимо, за ними кто-то гнался, иначе нельзя было объяснить такое паническое бегство.

В толпе я увидел брата.

— Мансур-ака! — крикнул я что было мочи. — Папа, там Мансур!

Отец поднял руку.

— Сюда, сынок!

Мансур отделился от толпы и так же, как и мы, прижался к стене.

Едва поток поредел, отец повел нас к мастерской Мансура. Именно повел. Измученный вконец брат едва волочил ноги. Когда мы вошли в медницкую, Мансур упал на супу и закрыл глаза. Тело его расслабленно сникло, только правая рука по-прежнему твердо сжимала огромный паяльник.

— Что там было? — спросил отец.

Не сразу Мансур ответил. Ему, видимо, стоило труда преодолеть усталость.

— Они стреляли...

— В вас?

— Да.

Отец выглянул из мастерской, прислушался к гулу, потом сказал строго:

— Останетесь здесь... Я скоро вернусь.

Я бросился было за отцом — такой страх меня обуял, что секунды не мог оставаться в мастерской, — но он погрозил пальцем.

— Сиди.

И исчез за углом.

Мансур лежал как мертвый — это тоже было страшно.

— Мансур-ака! — позвал я.

— Что тебе?

— Вам не больно?

— Нет, не больно, но жжет внутри... Терпения нет... Он застонал и заворочался.

— Я принесу воды.

— Ты что?! Пост... — с отчаянием произнес Мансур.

— Нет уже никакого поста... Отец и я пили сегодня...

— Лжешь?

— Да провалиться мне на этом месте. Хотите еще выпью? — Я выбежал из мастерской, зачерпнул из ближнего арыка полную тюбетейку воды и заторопился обратно. Мансур все еще лежал на супе, но не казался таким бесчувственным, как прежде. Глаза с удивлением и даже с надеждой смотрели на меня, особенно на мои руки, державшие тюбетейку с водой.

— Вот, — сказал я, поднося к губам влагу.

— Не надо, — остановил меня Мансур. — Дай сюда!

Рука его тряслась, когда он принимал от меня тюбетейку, — жажда была страшная и противостоять ей брат не мог.

— Значит, отец пил? — еще раз спросил Мансур.

Ему необходимо было подтверждение. И я кивнул охотно.

— Да, да!

— Да простит всевышний! — прошептал брат и припал жадно к воде. В эту минуту он все позабыл — и обет, данный богу, и страх перед карой.

Через некоторое время вернулся отец. С его плеча свисал хурджун, наполненный всякой мелочью.

— Зачем это? — поинтересовался Мансур.

— Чтобы не умереть раньше времени, — ответил отец хмуро.

— Неужели можно насытиться чаем и солью?

— Придет время, когда о щепотке соли будешь молить господу.

Люди все еще бежали мимо мастерской, правда, уже не плотной толпой, а небольшими группами. Некоторые останавливались, чтобы передохнуть немного, прислонялись к стенам, вытирали обильный пот. Отец пытался выведать у них новости, но они не отвечали, лишь сокрушенно махали руками и шептали молитвы.

— Да, не утолив жажды, расплескиваем воду, — загадочно произнес отец. — А плата за нее будет велика...

## Ночь без рассвета

Все ждали сумерек. Как будто могло что-то измениться после захода солнца. К вечеру жара действительно спала, длинные тени легли на город, но страх не исчез. Жители укрылись в домах. Если днем мне казалось, что улицы словно мертвы без своих обычных звуков и красок, то перед закатом они на самом деле вымерли. Ни души. Появись чужой в городе, он без сомнения принял бы Джизак за опустошенное селение.

Сумерек все ждали еще и потому, что был пост. Пить и есть можно было лишь с заходом солнца. О снятии запрета извещал

муэдзин Аширмат-суфий, кричавший на всю махаллю:

— Аллаух акбар! Аллаух акбар!

После крика муэдзина все окрестные мечети начинали молитву, наступало время принятия пищи. Она была уже разложена на дастархане, а касы наполнены водой.

Пали сумерки. О еде мало кто думал в этот день, но всем хотелось, всем нужно было услышать голос муэдзина — спокойный, неземной, напоминающий о существовании бога и его могущественной силы. Молчал муэдзин...

Часов ни у кого не было. Никто не знал, пало ли время вечернего намаза или еще нет. Одному суфию Аширмату доверялась эта тайна. Что же он медлит? Ожидание становилось беспокойным, а потом и тревожным. Не отвернулся ли аллах от джизакцев, не проклял ли? Крика! Крика муэдзина! Вот что сердцами требовали люди.

Темнота стала сгущаться. А с ней увеличился и страх.

Все с благодарностью вспоминали вчерашний день, такой обычный, главное, спокойный, завершившийся вечерней молитвой. Помню, мы сидели на супе перед грудой лепешек, перед чашей со сладкой нишалдой и ароматными персиками. А матушка еще готовила нам манты и машхурду. В арыке, под струями воды, набиралась холода дыня. Взрослые, возможно, не испытывали радости от созерцания яств, ничего особенного на дастархане не было, но мы, дети, на все смотрели зачарованно и глотали слюнки. После голодного дня не терпелось положить скорее все это в рот.

Мы выглядывали на улицу посмотреть, коснулось ли солнце дальних крыш, считали до десяти по нескольку раз, надеясь ускорить минуту окончания поста. Загадывали, когда закричит суфий Аширмат. Это было радостно и интересно.

Сегодня мы примолкли, жалостливо поглядывая на взрослых.

— Почему не кричит муэдзин?

Матушка вздыхала в ответ, а отец ворчал:

— Сбежали! Все сбежали, трусы... Им нет дела до правоверных, думают, как бы уберечь собственные головы.

— Не гневите бога, — робко замечала матушка — Он и так разгневан...



— Коли так, ждатель Аширмата нечего... Надкусим хлеб и отопьем воды, время поста миновало. А потом и за работу. Надо полагать, это последняя наша ночь второй бог нам не даст. Прячь, ташкентская, все что съедобно, да подальше... Люди вон скот и то укрывают...

— Вай! — всхлипнула матушка.

— Тихо. Наши голоса привлекут несчастье. Оно уже в пути.

Все, что отец принес в хурджуне, было пересыпано в сундучок и передано дяде Джуре. Тот опустил сундук в колодец на сложенные на дне сухие ветви. Туда же отправили и старую швейную машину «Зингер», приобретенную в рассрочку, — единственное наше богатство. Сверху все покрыли опять-таки ветвями. По представлению взрослых, продукты и вещи, схороненные таким образом, смогут служить нам в будущем — трудном будущем.

Тогда все эти предосторожности казались мне необходимыми, поскольку отец и дядя выдумали их, а в мудрости и непогрешимости старших я не сомневался. Они же велели перетащить на крышу паласы, подушки и курпачи и расстелить там. В этом мы, дети, принимали самое деятельное участие. Пыхтя и спотыкаясь, несли огромные одеяла, ползли чуть ли не на четвереньках по лестнице вверх, бросали ношу и возвращались в комнаты, чтобы снова повторить путешествие. Дядя сказал матушке:

— С крыши нам хорошо будет видно и слышно, успеем в случае чего принять меры.

Что собирался увидеть дядя с крыши, не знаю. Во всяком случае, я ничего не увидел, хотя почти всю ночь не смыкал глаз. Едва стемнело, семья наша перебралась на крышу. Дядя Джура тоже был с нами. Его голос, требовательный и жесткий, звучал во время переселения то внизу, во дворе, то наверху, на крыше. Наконец все расположились и утихомирились.

Ночь была ясная и звездная. Но слишком тихая. Если и раздавались звуки, то приглушенные, робкие. При каждом шорохе дядя прислушивался и поднимал руку, чтобы мы не мешали ему разгадывать причину шума. Причина всегда оказывалась одна и та же — вздохнула соседская корова, скрипнула дверь или пробежал ветерок по маковкам деревьев. Дядя же настойчиво ожидал появления

врагов и готов был встретить их как подобает мужчине. Около себя он держал топор и крепкую сучковатую палку.

Постепенно тишина успокоила его, и по просьбе отца он стал рассказывать о событиях минувшего дня. Рассказ был подробный. Временами дядю прерывал брат Мансур и добавлял что-нибудь новое и важное. От брата, например, стало известно, что накануне в Каландархане собрались парни махалли и обсудили приказ генерал-губернатора о найме мардикеров на тыловые работы. Пришли в Каландархану и парни других махаллей. Все поклялись не выполнить приказ. «Пусть бай идут в мардикеры! — решили юноши. — А если кто продается им, тому не жить».

Клятва заканчивалась словами:

— Проклятие падет на отступника, на его отца, мать, братьев и сестер...

Лишь под утро разошлись парни. Мансур, как джурабаши, предупредил товарищей держаться вместе и не давать друг друга в обиду.

С рассветом начался трудовой день в мастерских. Мансур развел огонь в горне и уже собирался начать пайку котла, как услышал шум в стороне базара. Так с паяльником в руке он и побежал на крики. Оказалось, что горшечник Дамин спорит с самим мингбаши.

Оба были крайне возбуждены, размахивали руками, выкрикивали ругательства. Мирзаяр давно недолюбливал горшечника и всячески старался насолить ему.

— Пусть никто не пойдет в мардикеры, — орал мингбаши, — но твой сын пойдет обязательно. Уж об этом я позабочусь.

— Позаботься лучше о себе, — ответил Дамин. Горшечник был в грязной одежде, штаны засучены до колен, руки и ноги в глине. Он, должно быть, пришел к канцелярии прямо от гончарного круга и даже не успел обмыть руки.

— Мне незачем заботиться о себе, я выполняю волю царя. А ты бунтовщик и нарушитель спокойствия, — объяснил мингбаши. — Не пустишь сына в мардикеры — сам отправишься в Сибирь, да еще в кандалах.

К этому времени вокруг спорящих собралась толпа. Пришли

медники, кожевники, гончары, мыловары, торговцы всякой мелочью, крестьяне, приехавшие на базар с фруктами и овощами.

Дамин подступил к мингбаши и в гневе закричал:

— Прежде, чем я пойду в Сибирь, погибнет твой список. А ну, отдай тетрадь!

Мирзаяр не успел убрать бумагу за спину, и горшечник вцепился в нее. Совладать с толстым и сильным, способным свалить с ног быка мингбаши не так-то легко. Вряд ли бы Дамин сумел вырвать тетрадь из рук Мирзаяра, но горшечнику помог Курбанбай — сын мастера самсы. Вместе они овладели списком, и горшечник тут же разорвал его на мелкие части и бросил в арык.

— Стой! — зарычал мингбаши. — Что ты делаешь?

Он бросился на Дамину с камчой. Однако десяток рук вырвал у него плетку. Обезоруженный Мирзаяр заметался, не зная, что предпринять. Полицейских поблизости не было, и помощи ждать неоткуда. Тогда он пошел на горшечника с кулаками.

Неизвестно, как попал в руку Дамина камень. Возможно, он принес его с собой. Во всяком случае, камень этот поднялся и упал на голову мингбаши. Тот качнулся и стал оседать на землю.

Это явилось сигналом. Первый камень всегда начало борьбы. Уже десятки камней полетели в мингбаши. Десятки и сотни. Они не дали сильному Мирзаяру подняться, хотя он и пытался это сделать и рычал и стонал.

На дороге, перед своей канцелярией, мингбаши нашел смерть.

Камни летели и в мертвого. Лишь когда стало ясно, что Мирзаяра больше нет, есть лишь грудa мяса, и что правитель, ненависть к которому накапливалась годами, бессилен, народ понял: шаг совершен, роковой шаг, и надо идти дальше.

Кто-то крикнул:

— Еще есть списки у старшего мингбаши Муллы Хидира!

Этого было достаточно, чтобы толпа отвернулась от Мирзаяра и бросилась в Емкишлак. Теперь уже люди знали, куда и зачем они идут. Им нужно было уничтожить все следы мардикерства, освободиться от пут, накиннутых на джизакцев правителями.

Не одни гончары, кузнецы и кожевники шли в Емкишлак. Весь

базар, весь город присоединился к недовольным. Так же, как и Дамин, люди оставляли гончарные круги, наковальни, котлы. В фартуках, обнаженные до пояса, босые, с руками, закопченными дымом, испачканными мылом и краской, спешили люди к канцелярии главного мингбаши. Из толпы выделились самые смелые и решительные и возглавили шествие.

Не было строгого порядка. Народ растянулся по дороге на целую версту, а то и больше. Армия повстанцев походила на хвост огромной ящерицы, постоянно меняющий свое очертание. Впереди широкий, в середине — узкий. Впереди шли быстрые, выносливые, сзади медлительные, слабые. Пожилые не поспевали и постепенно отрывались, образуя вторую колонну.

Люди не шли, почти бежали, и потому пыль густо поднималась над дорогой, заволакивая все вокруг серо-белой пеленой. Лишь передние видели ясно путь — остальные двигались в тумане. От пыли и жары идущие задыхались, но это не ослабляло их воли, напротив, ожесточало, разжигало злобу. Им казалось, что и в лишениях, испытываемых ими, тоже повинны правители и надо, как можно скорее, настигнуть их и уничтожить, только тогда станет легче и свободнее дышать.

Они прибежали возбужденные и злые в Емкишлак. Прибежали прямо в канцелярию старшего мингбаши. И если бы там находился Мулла Хидир, они убили бы его. Но старшего мингбаши кто-то предупредил об опасности, и он сбежал. Гнев и ненависть требовали выхода — люди разгромили канцелярию, вытащили все бумаги и сожгли их на глазах у жителей.

Вместе с пеплом могло исчезнуть и пламя ожесточения. Ненавистные бумаги сгорели, Мирзаяр убит, Мулла Хидир бежал. Все, кажется, сделано. Мардикеров больше нет. Но путь к канцелярии старшего мингбаши заставил людей кое о чем подумать и кое-что понять. Прежде всего, связать события воедино: уничтожение одного или двух списков не мешает генерал-губернатору составить третий, а может, и четвертый список. И новый список попадет к уездному начальнику — полковнику Рукину. От него получили приказ мингбаши, ему и доложат о его исполнении. Значит, необходимо

убрать Рукина, разнести его канцелярию, чтобы камня на камне не осталось от этих гнезд насилия.

Осмыслить цель людям помогли те самые смельчаки, что шагали первыми. Не будучи стратегами и вождями, они все же умело направляли восставших по определенному пути, звали их за собой, а порой и требовали подчинения. И пока огонь гнева еще не погас, им, идущим впереди, нетрудно было повернуть народ в сторону Пятиречья.

Эта дорога оказалась длиннее, а следовательно, и поучительнее. В дороге джизакцы вдоволь наговорились.

И все о том же — как избавиться от несчастья, свалившегося на них вместе со списками мардикеров.

— Не в списках дело! — крикнул всадник, ехавший на буланом коне.

— А в чем же? — спросили джизакцы.

— Дело в самой нашей жизни.

Ни дядя Джура, ни брат Мансур не знали этого всадника. Он появился уже в дороге. Догнал восставших и занял место в числе самых решительных и смелых. Он был одет в хороший халат, на голове красовалась чалма из дорогой ткани, сбоку висела сабля с серебряной насечкой на ножнах. Всадник походил на воина. Это придавало всей толпе облик войска, хотя остальные были вооружены лишь палками, косами, кетменями и даже паяльниками, как мой брат Мансур.

— Дело в правителях, — продолжал всадник. — И пока они над нами, никто не сможет дышать вольно.

Кажется, человек с саблей и позвал людей в Пятиречье. Во всяком случае, он первым поднял оружие, когда со стороны Ташлака показалась пролетка уездного начальника, сопровождаемая конными полицейскими.

Наткнувшись на толпу, пролетка остановилась. Если бы полицейские и сам Рукин издали заметили вооруженных людей, то, конечно, повернули бы назад. Но облако пыли было настолько густым, что ничего они не заподозрили, и кучер преспокойно гнал лошадей, надеясь за облаком встретить отару или табун.

Теперь поворачивать было поздно. Полковник Рукин, капитан Златоглавый, мингбаши Мулла Хидир, переводчик Мирзахамдам сошли с пролетки.

— В чем дело? — спросил от имени полковника Мирзахамдам, — У вас есть причины для недовольства?

Народ молчал. Внезапность встречи породила растерянность, да и вопрос прозвучал миролюбиво.

— Почему молчите? Пусть кто-нибудь выскажет волю всех! Ну, полковник ждет!

Тишина разорвалась сотней возгласов:

— Не пойдем в мардикеры!

— Не дадим сыновей царю!

— Пусть баи помогают войне!

— Мирзаяра уже нет, теперь очередь за остальными мучителями...

Только сейчас уездный начальник узнал об убийстве мингбаши.

Утром он получил от Мирзаяра донесение, в котором тот подтверждал число мардикеров, выделяемых Джизаком, и заверял полковника в своей преданности. Никаких намеков на недовольство населения в донесении не проскользнуло. Значит, Мирзаяр скрыл все. А ведь Рукин ехал на совет аксакалов, долженствующий завершить дело найма и отправки мардикеров. Завершить торжественно, празднично.

— Хорошо, — поднял руку полковник, — между властями и народом бывают иногда столкновения. Мингбаши Мирзаяр не прислушался к вашим требованиям и, как видите, пострадал за это. Успокойтесь, разойдитесь мирно по домам, потом все решим.

Чувствуя, как накалены джизакцы, уездный начальник попытался обещаниями охладить страсти, отвести от себя опасность.

— Не верьте ему, мусульмане! — крикнул всадник. — Сейчас он сулит вам блага, а вернется в Пятиречье — прикажет полицейским арестовать всех, кто отказался идти в мардикеры. А тех, кто отомстил мингбаши, повесит на площади. Правитель стоит за правителя, как грешник за грешника... Смерть мученикам народа!

Он пустил коня прямо на пролетку.

Полковник и его спутники стояли около экипажа сняв фуражки, всем своим видом подчеркивая сдержанность и миролюбие, но полицейские держали оружие наготове. Выстрел встретил всадника. Правда, полицейский Камал промахнулся и угодил не в того, в кого целился, а в безоружного мыловарщика. С воплем «алла!» тот упал на землю.

Раздалось еще несколько выстрелов. Возможно, уездный начальник и его спутники сумели бы разогнать передовую группу всадников, но в это время подоспела масса джизакцев. Восставшие бежали на выстрелы, задохнувшись от усталости, мокрые от пота, возбужденные до крайности.

Плотным кольцом народ окружил пролетку, и выхода из этого кольца не было.

— Уйдите с дороги! — крикнул переводчик, чувствуя что пробиться сквозь живую стену не удастся даже на лошадях.

Голос его утонул в гуле толпы, гуле угрожающем. Тогда уездный начальник вынул пистолет и выстрелил в воздух. Он намеревался испугать людей. Но никто не вздрогнул, никто не отступил. Наоборот, кольцо стало суживаться. Джизакцы шли бесстрашно вперед к центру, где находилась коляска.

Какой-то десяток шагов отделял восставших от свиты полковника. Рукин не выдержал. Нажал на спусковой крючок револьвера раз, другой, третий. Он стрелял в упор, прямо в лица идущих. Открыли огонь и сопровождавшие уездного начальника полицейские, капитан Златоглавый. Треск выстрелов заглушил на время гул толпы. Возможно, она онемела от неожиданности. Кто-то упал, кто-то схватился за голову.

Но это были уже последние выстрелы. Кольцо сжалось. Прокатился сдавленный гул, похожий на вздох и стон одновременно. Кулаками джизакцы расправились со своими мучителями. Вырваться удалось лишь полицейскому Сабиру. Обезумевшая от страха лошадь прорвала кольцо восставших и унесла с собой всадника. Правда, мундир его был разорван и шапка снесена, но о шапке ли человеку думать, когда сама жизнь на волоске.

Спасся и Мулла Хидир. Еще раз спасся в этот день. Какой-то

мягкосердечный кожевник в суматохе укрыл его своим чапаном. В детстве они жили на одной улице и играли у одного арыка. Прошлое помешало кожевнику быть строгим к врагу и к самому себе.

Восставшие свершили суд и расправу над уездным начальником. Власть местная в Джизаке была уничтожена. Хозяином уезда вроде стал народ. Понимали ли джизакцы, что осуществлено ими за эти несколько часов восстания? Уезд без правителей, без ненавистных мингбаши и наместников генерал-губернатора!

Но свободы никто не почувствовал. Наоборот, после расправы над уездным начальником всех охватила тревога. За полковником Рукиным стоял еще кто-то, более высокий и более сильный. Этот высокий и сильный еще не знает о случившемся. Наконец, в Пятиречье казарма, полная солдат, готовых в любую минуту выступить против народа.

И вот в эту объятую тревогой толпу всадник на буланом коне бросил слова:

— Не все черные силы сломлены. Братья, пока осталось у врага зло, величиной хотя бы с муху, надо его уничтожить. Идемте на Пыльный холм, разгромим казармы, сождем канцелярию уездного начальника, чтобы пепла даже не осталось от нее!

Он выхватил кривую саблю и поднял ее над головой.

— Во имя бога!

Не всем джизакцам хотелось идти в Пятиречье. На многих пало сомнение. Конечно, бой с уездным начальником и его свитой окончился успешно, но нужно ли дальше лить кровь? А что кровь будет, это понимал каждый. Мирные, в сущности, люди, в гневе готовые на все, сейчас поостыли. Человек звал их дальше, против чего-то общего, неясного, далекого. Там не будет мингбаши, не будет полицейских, не будет полковника Рукина — тех, кто мучил джизакцев. И готовы ли они, державшие в руках лишь косы и кетмени, идти за всадником? Он, наверное, и сам не понимал этого. И бог весть, что рисовалось ему в будущем. Будущем, которое грядет через какие-нибудь часы. Тот, кто ведет людей, должен иметь не только горячее сердце, но и острый ум. Что способна сделать толпа ремесленников, в порыве гнева поднявшаяся на своих угнетателей?



Сбросить их. Никто из гончаров, мыловаров, кузнецов не думал о дальнейшем. Да им и некогда было думать. Все произошло за какие-нибудь полдня. И все в пути — от базара до Ташлака. Не думал и человек, ставший проводником джизакцев. А может, и думал, но не как караванщик, заботящийся о сохранении богатства, а как игрок, ставящий в порыве вдохновения и азарта все, что есть, и даже то, чего нет.

— За мной! — кричал он. И толпа, заколебавшаяся на какое-то мгновение, снова двинулась по пыльной дороге.

Всадники помчались вперед, как и прежде. Окрыленные первой победой, они летели смело навстречу опасности и готовы были смести все на своем пути. Опасность оказалась ближе и серьезнее, чем они ожидали.

Офицер гарнизона, подполковник Афанасьев, вывел солдат из казармы и перегородил дорогу. Говорили, что он шел на выручку полковника Рукина и, увидев толпу, дал команду приготовиться к бою. Ему уже было известно о восстании в Джизаке.

Всадники сдержали коней. Небольшой группой они не решались напасть на солдат. Подтянулись остальные. Вся дорога была запружена людьми — конными и пешими.

Младший офицер вышел вперед, к толпе, и по поручению Афанасьева передал ультиматум:

— Немедленно повернуть назад!

Стоявшие в первых рядах с возмущением отвергли приказ:

— Мы не для того пришли сюда, чтобы возвращаться!

Смельчаки стегнули коней и кинулись на цепь солдат. Раздался залп. Один из всадников на всем скаку рухнул под ноги своему коню. За ним приняли пули и остальные.

Залп следовал за залпом. Толпа дрогнула. Крики раненых вызвали смятение, и вся огромная масса людей попятилась, опрокидывая и давя шедших сзади. Еще несколько выстрелов — и началось паническое бегство. Не организованные, не спаянные единой целью, не подчиненные никому, тысячи джизакцев ринулись назад, в город, под укрытие дувалов и стен.

Это их встретили мы с отцом на базаре. Лавиной катились

беглецы, ничего не видя перед собой, ни перед чем не останавливаясь. Людей гнал ужас...

Долго бы еще длился рассказ о минувшем дне. Каждый припоминал что-нибудь особенное, поразившее его, и старался вставить в повествование дяди Джуры и брата Мансура. На нашей крыше собралось немало соседей. До самого утра, наверное, не иссякли бы слова. Но вдруг на улице раздался крик женщины:

— О правоверные, помогите!

Все повскакивали со своих мест, пытаясь разглядеть, кто кричит, кто зовет на помощь. Оказалось, это жена уста Джалала. Муж ее пошел искать сына и примкнул к толпе, направлявшейся к Пятиречью. Сейчас женщине сказали, что он ранен и лежит в арыке, недалеко от Ташлака.

— Помогите, правоверные!

Наверное, такие крики раздавались и в других махаллях, и не только крики, но и стоны, и вопли — кто-то не вернулся, кого-то ранили, а кто-то уже покинул этот бранный мир, не успев проститься со своими близкими. На нашей улице пока кричала лишь жена уста Джалала.

— Надо помочь женщине, — сказал мой отец. — Лучше всего сходить вам с Мансуром, — обратился он к дяде Джуре. — Вы были там и место хорошо знаете.

Я думал, дядя откажется: ночь на дворе, всюду рыскают солдаты, да и силы иссякли — весь день дядя и брат были на ногах. Но он согласился. Спустился с крыши, взял носилки и вместе с Мансуром вышел на улицу.

— Ой, не простое это дело, — покачала головой матушка. — Мыслимо ли отыскать человека в такой темноте.

— Темнота — благо, — возразил отец. — А если Джалал жив, голос его сам укажет дорогу.

Матушка горестно вздохнула:

— Великий урожай несчастий соберет эта ночь. Слышишь ли ты нас, всевышний?

Матушка затихла, а я, пользуясь тем, что наступила, наконец, тишина, принялся рассказывать сестрам про свои злоключения. Мой

рассказ был не менее интересным, главное, понятным всем, так как порядки школьные сестры хорошо знали, а домуллу Миртажанга видели не раз. Когда я дошел до того момента, где решалась судьба моя, и назвал число прутьев тала, предназначенных для моей спины, матушка прервала меня:

— И дети не избавлены от кары. Что же творится такое...

— Молчи, ташкентская... Твой сын испытал лишь страх. Не убей народ мингбаши — пришлось бы вкусить ему и соль розог. Благодарите бога за милость!

Мне хотелось продолжить рассказ, я уже вошел во вкус и осенился вдохновением, которое, как известно, толкает человека на всякого рода добавления и преувеличения: мышь делает лисицей, а лисицу слонем. Пять прутьев, предназначенных для моей спины, меня уже явно не устраивали, и я торопливо подыскивал другое, более внушительное число. Однако отец не оценил мой порыв и сказал строго:

— Оставь нас со своими историями, мальчишка... Как бы не пропустить нам крика о помощи...

После этих слов мы все смолкли. Я прикрылся одеялом, так как предрассветный ветерок нес знобкий холод, и смотрел на небо, усыпанное звездами. Их было так много, и они так красиво и мирно сияли, что невольно забывался страх, и все, что случилось днем, казалось далеким, ненужным. Только вот образ растерзанного мингбаши, вдруг возникавший перед глазами, возвращал к минувшему. Тогда я смежал веки и мысленно произносил: «Не было! Не было! Ничего не было». Ко мне возвращался светлый покой. Ненадолго возвращался, потому что в это время матушка поднималась на локти, вслушивалась в тишину и озабоченно шептала:

— О боже, какая длинная ночь... Почему не возвращаются Мансур и Джура?

Не спавший отец — никто, видимо, не спал — успокаивал ее:

— До рассвета еще далеко. Вернется твой сын...

— Дай бог!

— Ночь всегда лучше утра, — продолжал он. — Кто знает, каков будет рассвет.

— Не ломайте над этим голову. Что суждено, того не миновать.

— Это верно, — согласился отец. — Но что именно суждено? Я думаю, они не успокоятся на расстреле людей около Пыльного холма. Ведь твои земляки убили, кроме Мирзаяра, Мирзахамдама и полицейского Камала, еще и двух заместителей генерал-губернатора. До него это известие дойдет, а от него и до самого царя. Вряд ли белый царь ответит на бунт благодарностью. К тому же беспорядки могли произойти и в других уездах. Пока мы тут лежим, генерал-губернатор советуется с царем. Возможно, судьба наша уже решена.

Начало светать. После сказанного отцом я со страхом смотрел на небо, словно вместе с первыми лучами должно явиться что-то ужасное — начнется пожар или расколется мир. Матушка поднялась первой и сидела на курпаче, вслушиваясь в звуки улицы. Лицо ее за ночь осунулось, глаза лихорадочно блестели. Думая, что остальные спят, она старалась не производить шума, даже вздыхала тихо-тихо.

Наконец мы увидели брата и дядю Джуру. Они торопливо шли домой по улице, еще погруженной в сон. Мы тотчас повскакивали с постелей и спустились во двор.

Мансур был страшно измучен, едва держался на ногах, но не лег отдыхать, а отвечал на наши бесчисленные вопросы: где уста Джалал, нашли ли они его и как он себя чувствует?

Оказалось, что уста Джалала уже нет в живых. Он умер, когда Мансур и дядя Джура несли его в город. Пуля попала ему в мочевого пузырь и причинила много страданий. Бедняга мучился, лежа в арыке, стонал, звал на помощь, но все покинули место расстрела, и голос раненого не находил отклика. Мансур и дядя Джура по стону обнаружили несчастного. Он уже терял сознание и в короткие минуты прояснения просил пить. Воды поблизости не было — вокруг выжженная солнцем земля и камни. Раненого положили на носилки и осторожно понесли. Путь в город был труден. По дороге идти нельзя — патрулируют казачьи разъезды, остается только тропка, огибающая поля и сады. Жена уста Джалала, шедшая следом, торопила Мансура и дядю Джуру, она боялась как бы он не умер дорогой. И все же он умер. Прямо на кладбище. Чтобы сократить путь, решили подойти к Каландархане со стороны мазаров. Пока пробирались через могилы,

уста Джалал затих. Навсегда затих.

Мулла, который весь вечер хоронил убитых, был еще на кладбище и разрешил предать земле тело Джалала. Он сказал, что восставшие погибли за веру, как воины ислама, и для них не нужен саван, как не нужно и обмывание. Нести домой труп ни к чему, воина предадут земле на поле брани.

— Значит, он уже похоронен?! — горестно воскликнула матушка.

— Да, мы вырыли ему могилу... Теперь пусть близкие совершат обряд прощания с бедным Джалалом, — ответил брат. — Идите, пока в городе тихо...

Едва взошло солнце, взрослые покинули двор и направились на кладбище.

Было действительно тихо. Так тихо, что сердце замирало от какого-то ожидания. Я боялся выходить за калитку. Боялся, вдруг свершится предсказанное отцом. Свершится как раз в тот момент, когда я окажусь на улице.

И я не переступил порог.

## Белый флаг

У меня в руках белый флаг. Небольшой флаг, длиною в локоть, насаженный на палку. С ним я смело хожу по улице и даже забираюсь в конец Каландарханы. Первый день он висел надо мной высоко. Мне казалось, что так лоскут будет виден издали и солдаты его сразу заметят. И, конечно, не посмеют стрелять. Есть приказ — человека с белым флагом не трогать.

И как это мы раньше не знали о белом флаге, о его чудодейственной силе — бегали по окраинам, прятались, дрожали от страха. Впрочем, приказ, наверное, вышел лишь вчера, потому что утром все сделали себе флаги из белой бязи. Вначале было все-таки боязно высовываться на улицу, а вдруг это уловка, обман, и едва покажешь нос, как хлопнет выстрел. Но опасения быстро развеялись. Кто шел с белым флагом, того не трогали.

Странно было видеть первое время людей, размахивающих флагами. Идут по дороге старые или молодые и держат впереди себя

палку с белым лоскутом. Нас, детей, это забавляло. Мы умели во всем находить развлечение. Малышей никто не трогал, но они старательнее взрослых выполняли приказ о белом флаге.

— Белый флаг! — вздыхала матушка. — Если бы этим флагом все кончилось, я согласилась бы носить его до могилы. Но, видит бог, людям дали лишь передышку, Царь решает судьбу нашу....

Я слушал горестные слова матушки и тоже вздыхал. Мне хотелось утешить ее. Но как? Ничего, ничего утешительного не было вокруг.

Жизнь в городе замерла. Люди сидели по домам и ждали. Ждали каких-то событий. Я тоже ждал. Но не нового, а старого, возвращения того, что было привычным и радостным. Как это ни забавно, привычное соединилось в моем представлении с нашей коровой Пеструхой, которую угнали после восстания каратели. Я ждал ее возвращения, и не просто ждал, пытался искать. Мне казалось, что она бродит где-нибудь в садах, не умея найти дорогу домой. Ведь коровы глупы, это всем известно, пока их не погонишь хворостиной, они не пойдут, куда надо. Бегая по улице или играя у арыка, я прислушивался к звукам — не затренькает ли где колокольчик нашей Пеструхи, не замычит ли заблудшая. Иногда мерещился мык. Сломя голову бежал я к дувалу, взбирался на него, отыскивая глазами корову. О, если бы она была близко! Я бы кинулся к ней, схватил за веревку и повел домой. Привел и сказал бы матушке:

— Мама, а вот и нашлась... Не надо теперь вздыхать. Все будет по-старому...

И я действительно услышал, но не мычание, а стук копыт. Такой особенный стук, когда корова касается ногой земли и копыта пришепывают глухо: цык-цык! Этот звук раздавался за дувалом в саду и, кажется, приближался ко мне.

Я не закричал радостно, не позвал маму, а бросился навстречу звуку, чтобы изловить скорее беглянку, а потом уже известить матушку. У меня мелькнула даже мысль: солдаты подержали нашу корову, попили молока, а потом отпустили. И она неторопливо идет домой через соседний сад. Идет, пошлепывая своими старыми копытами. Только почему избрала такую странную дорогу — через

соседний сад? Впрочем, какое это имело значение, главное, возвращается домой, а там пусть хоть через дувал лезет или спускается прямо с неба.

В один миг я одолел арык, у которого сидел, подбежал к калитке, отворил ее, чтобы поскорее увидеть шествующую корову. И замер... По саду шли солдаты. Трое. Все с винтовками. От неожиданности я попятился назад и угодил ногой в арык. Ну а где нога, там и весь человек. О том, чтобы встать, я не подумал. Когда видишь солдата, лучше лежать где-нибудь, чем стоять во весь рост, — так говорили все и говорили постоянно. Вот я и лежал...

Меня поднял и довольно бережно солдат.

— Не бойся, не бойся, мальчуган! — проговорил он просто, как говорят знакомые или соседи.

Это было тоже неожиданно. «Добрый человек, — подумал я. — Солдат, а добрый...» Тогда во мне жили убеждения, что само слово «солдат» уже определяет сущность человека: он жесток, кровожаден, убивает не глядя. И вдруг — «не бойся, мальчуган!» Видимо, убежденность моя быстро исчезла, потому что я сразу откликнулся на ласковое слово и отдал себя на попечение солдату.

Все было хорошо: из арыка меня вытащили, похлопали ласково по плечу, даже улыбнулись. Но угораздило нашего пса Караташа увязаться за мной, проскочить в соседний сад именно в тот момент, когда я стоял уже на двух ногах и довольно дружелюбно смотрел на доброго солдата. Караташ, увидев чужих, оскалил свирепо зубы и зарычал. Вид у него был страшный — шерсть дыбом, глаза горят, вот-вот бросится и разорвет на части. И мог бы такое сделать. Во всей махалле Караташ славился своей злостью и силой. Ни одна собака не могла с ним сладить.

Солдат, что поднял меня из арыка, не обратил внимания на Караташа, а вот стоявший поодаль молодой краснощекий парень струхнул. А может, и не струхнул, просто захотел показать себя: поднял винтовку к плечу и прицелился. Прежде чем остальные солдаты, да и я сам, попытались что-то сделать, прозвучал короткий выстрел. Короткий и оглушительный. На секунду мне заложило уши. А когда я снова обрел слух, мир вокруг меня был нем, только

Караташ жалобно скулил, вершки волчком на траве.

— Ай! — вскрикнул я испуганно. — Зачем, зачем?

Добрый солдат стал ругать краснощекого. И третий солдат тоже сказал ему что-то строго, но изменить ничего уже нельзя было. Караташ лежал на траве, и из пасти его шла кровь.

— Жалко собаку, да? — спросил добрый солдат. — Но ты не бойся сам. Он не тронет...

Все это было сказано на моем родном языке. Правда, говорил солдат не очень складно, коверкая слова, однако понять было можно, и это еще больше располагало к нему.

Краснощекий плюнул с досады и направился в наш двор к большой террасе, где сидела мать с соседками.

— Не надо! — снова вскрикнул я, боясь, что краснощекий станет стрелять в женщин. — Не надо!!!

Возглас мой был обращен к доброму солдату, единственному моему защитнику. Он почему-то улыбнулся и сказал утешительно:

— Не тронет он никого... Понимаешь, не тронет. Потом взял меня за руку и тоже пошел к террасе. Краснощекий шагал неторопливо впереди, время от времени ставя винтовку на траву, как ставят палку старые люди, и она, касаясь земли, издавала тот самый звук, который я принял за стук копыт коровы. Вот, оказывается, какая корова шла за дувалом!

Женщины на террасе встретили нас испуганно. Матушка решила, что солдаты поймали меня и ведут домой. Боясь выразить свое беспокойство, она лишь тревожно смотрела на меня. Остальные женщины, бестолково размахивая белыми флагами, заслонили собой ступеньки и вход в комнаты, где попрятались их дочери. Заслонили от шагающего смело краснощекого.

— Тураджан, господин, там дети. Они пугаются... Не ходи, Тураджан!

Озорной был этот краснощекий. Без зла не мог обойтись. Хозяева знали, кого послать на расправу с восставшими, — именно человека без сердца. И он, будь один, натворил бы бед, но его остановили другие, не дали подняться на террасу.

— Что привязался к женщинам?! — крикнул добрый солдат. —



Оставь их, они в матери тебе годятся.

Видимо, краснощекий хорошо помнил совет начальства — делай, что угодно душе твоей, на то ты и солдат карательного отряда. И он сожалел теперь, что оказался в компании добряков.

— О мама, мама! — проворчал он. — А ну вас к дьяволу! — Повернулся и отошел от террасы, волоча по траве винтовку. Она опять зацокала, как коровьи копыта.

Не знаю, зачем пришли в наш сад солдаты, что их могло привлечь сюда: желание поживиться или поозоровать.

Добрый солдат с любопытством разглядывал женщин, щурил глаза и улыбался в усы. Он был далеко не молод: обильная седина пробивалась на висках, шея испещрена сеткой морщин. Женщины тоже разглядывали его с любопытством. Впервые вот так открыто они находились рядом с чужими мужчинами. Лица обнажены, в глазах никакого смущения. Мне показалось, что женщины забыли о черной сетке, обязательной для каждой мусульманки. Страх и гнев, наверное, отбрасывают условности, которые живут в человеке с детства. Ведь точно так же поступила мать Сафара-чиканака, узнав о наказании своего сына. Она открыла лицо перед самым муллою, сказала ему все, что о нем думала. Не до соблюдения законов шариата было и нашим матерям, когда в дом вошли солдаты. Открыто смотрели они на незваных гостей. Перед врагом не закрываются.

Так, постояв, поглядев на женщин, солдаты, видимо, ушли бы, но тут растворилась калитка и на пороге появилась Таджифари. В одной руке она держала белый флаг, в другой — длинную палку, которая служила ей посохом. За плечами висел старый хурджун, набитый всякой всячиной. Худая и черная, как обгорелая ветвь карагача, с распущенными седыми волосами Таджифари напоминала злую колдунью. Глаза из-под нависших, словно заросли колючего янтака, бровей глядели зло. В них пылал какой-то неукротимый огонь, пугавший нас. Большая, выдававшаяся вперед челюсть и такие же губы постоянно двигались: и когда Таджифари говорила, и когда молчала. Но чаще всего она говорила, и произносимые ею слова были странными и неожиданными.

Увидев Таджифари, все во дворе оцепенели. Ее появление всегда

было тягостным. Она слыла в народе юродивой, могла всякое сказать и всякое сделать. Сейчас при солдатах такой гость был не нужен. Просто опасен.

Гибель мужа усилила недуг Таджифари. Она ходила по улицам и дворам и искала убийцу. Стоило только напомнить ей о несчастье, как начинался приступ неистовой злобы. В такие минуты Таджифари была страшна: глаза закатывались, лицо перекашивалось, изо рта шла пена. Делая странные движения руками, она принималась бегать по кругу, громко выкрикивая: «Хув! Хув!»

Вот и сейчас, увидев солдат, Таджифари сразу изменилась. Взгляд ее стал мрачным, губы скривились.

Ага, здесь они! — произнесла Таджифари злорадно. — Думают, я простила им своего старика? Как бы не так.

Женщины закачали головами, выражая этим свое беспокойство и свою беспомощность. Что можно сделать с потерявшей разум, как предотвратить беду?

— Сестра, — обратилась к ней ласково одна из старух. — Не будь слепой, не ступай в пропасть.

Несчастливая скинула с плеч хурджун и посмотрела на женщин таким взглядом, словно хотела пристыдить их.

— Другому неведомо, как болит душа человека. Конечно, вам что! Не ваши мужья и не ваши сыновья погибли. Мой старик покинул этот мир, и я должна отомстить...

Солдаты, не понимая смысла сказанного, улыбались, глядя на нелепое одеяние и странные движения юродивой. Особенно забавляло это краснощекого. Он громко смеялся, будто присутствовал на комическом представлении. А Таджифари тем временем засучивала рукава и, делая большие шаги, стала приближаться к солдатам и именно к тому краснощекому.

— Таджи! — взмолилась моя матушка. — Не трогай солдата. Или ты хочешь новых несчастий? Тем, что народ убил уездного начальника, никто ничего не достиг, лишь познал горе и слезы. Смирись, Таджи, со своей судьбой, у других она печальнее...

Несчастливая ничего не слышала или не хотела слышать. Выкрикивая свое таинственное «хув, хув!», она принялась кружиться,

постепенно сокращая расстояние, отделявшее ее от краснощекого. Как всегда во время припадка глаза Таджифари полезли на лоб, лицо исказила гримаса злобы, на губах засинела пена. В руке она по-прежнему держала белый флаг и водила им перед своим лицом, словно заслонялась от чего-то. Солдат громко смеялся. Потешным казался ему этот танец старухи. Наверное, он и не замечал, что Таджифари все больше и больше приближается к дереву, под которым краснощекий устроился.

Я не выдержал и крикнул:

— Тетя Таджи, он застрелит вас!

Это она услышала, но движения своего не прекратила, а только выше подняла флаг.

— Не застрелит, — ответила она. — А ну, попробуй выстрели! — обратилась Таджифари уже к солдату. — Кто издал закон о белом флаге? Кто? Царь! Он тебя накажет за смерть несчастной Таджифари... Он тебя повесит...

Старуха вдруг протянула к краснощекому худые руки свои с согнутыми, словно клещи, пальцами. Теперь солдат почувал опасность и выставил вперед штык.

Женщины вскрикнули:

— Ой, ой! Спаси ее всевышний!

А Таджифари бросила флажок, открыла грудь перед штыком и в беспамятстве застонала:

— Убивай, злодей! Убивай! Ну!

Она была уже в черном пару, как говорили женщины. Волосы свисли на плечи, заслонили мокрыми прядями лицо. Пена высохла, и губы стали синими. Таджифари задыхалась...

— Опустив винтовку! — приказал краснощекому добрый солдат. — Старуха больная, не видишь разве.

И краснощекий, уступая требованию старшего, неохотно опустил оружие, но глаза его продолжали опасно поглядывать на безумную, которая все еще бесновалась перед ним.

Наконец Таджифари поняла, что ее не убьют, что над ней лишь потешаются, и зарыдала. Я никогда не видел такого выражения отчаяния и горя. Старуха тряслась, и слезы лились из ее глаз

крупными каплями. Чтобы как-то утешить ее, добрый солдат подошел к ней и тронул рукой седые волосы, сбитые в жесткие пряди.

— Зачем плачешь, женщина? Слезами горю не поможешь. Сядь, успокойся!

Удивительно, Таджифари стихла. Простое слово утешило ее, слово, произнесенное солдатом, которого она готова была до этого задушить собственными руками.

— У тебя горе, у нас горе, — продолжал солдат. — Все мы народ подневольный. А мужа твоего мы не трогали. Не видели мы твоего мужа, понимаешь?

— Все равно убили, — снова заплакала Таджифари. — Ваш царь убил... У-у, злодей... Отомщу!

Женщины стали просить, чтобы матушка моя увела куда-нибудь сумасшедшую. Ее одну Таджифари слушалась.

— Милая, — обняла несчастную матушка. — Куда ты шла, не за водой ли? Вот у тебя кувшин в хурджуне. Он пустой. Не сходить ли нам к колодцу ишана и не набрать ли свежей воды детям? А? Пойдем, милая, кувшин я сама понесу...

Таджифари посмотрела на матушку как-то жалостливо, закинула кувшин за плечи и, рыдая, выбежала на улицу.

— Бедняжка, — сказал добрый солдат. — И утешить ее некому.

— Бог утешит, — вздохнули женщины. — До нее ли сейчас людям, своего горя не испить за всю жизнь.

— И все-таки жаль старуху... Странная она какая-то...

— Что верно, то верно. И никто не помнит, была ли она другой, — заметила матушка.

Добрый солдат стал любопытствовать: чем живет старуха, откуда она взялась. Уж больно все удивительно и необъяснимо было в Таджифари.

— О, это целая история, — отозвалась самая старая среди женщин, Хурмат-апа. — Рассказывать ее можно до ночи. Что правда и что неправда, никто не знает, как не знает никто силу, сотворившую Таджифари — то ли бог, то ли сам шайтан дал ей жизнь... А вот имя у ней человеческое, обыкновенное. Видимо, были у нее родители, назвавшие девочку Халимой и Айнисой, или еще как-нибудь. А уж

люди перекрестили это создание рода человеческого на свой лад. Стала она Таджи, то есть бесноватая, воинственная. Никого и ничего не боится Таджифари, ничем ее не остановишь. Потом к имени Таджи прибавили «фари», значит «пери» — сказочная дева, способная перевоплощаться в кого угодно и увлекать людей в царство дьявола...

И старая Хурмат-апа рассказала все, что знала о сумасшедшей Таджифари. Из этого рассказа и я кое-что почерпнул, но немного. В народе ходили всякие толки о ней, порой такие удивительные, что не запомнить нельзя было. Да и облик Таджифари побуждал ко всякого рода вымыслам.

Мы, дети, считали ее колдуньей. Само появление Таджифари на улице было событием. Представьте себе бредущее по пыли существо, очень отдаленно напоминающее женщину. На плечах неизменный хурджун со всякой всячиной, в руках огромная палка. Голова колдуньи напоминает тыкву, одна сторона которой облеплена белыми волосами, другая предназначена для лица, очень маленького, сморщенного. На лице заметен лишь нос — кусок жареной печенки, прилепленной как попало и оттого вызывающей удивление. Над глазами, которые очень глубоко спрятаны, свисают жидкими ключьями шерсти брови. Правая щека украшена двумя большими, как спелая вишня, родинками. Рот огромен, занимает половину лица, и всегда открыт. В темном провале светлеет ряд крупных зубов.

Было ли на Таджифари платье? Наверное, было, если можно считать платьем сцепленные ниткой сотни лоскутков всех цветов и размеров. Внизу эти лоскуты, одряхлевшие и поблекшие, свисали змеями. Одежде своей Таджифари не придавала никакого значения, и часто плечи или грудь оказывались обнаженными. Об обуви она вовсе не беспокоилась. Ходила босая круглый год, ноги, как и все у нее, были бесформенными — ступни одинаковы в ширину и длину. Мне они напоминали круглую лапу верблюда. И ступала она по верблюжьей равнодушно — и в пыль, и в грязь, и в снег. Я думаю, Таджифари могла бы ходить спокойно по льду и по углям. Видимо, ноги ее ничего не чувствовали.

Паранджи на ней, конечно, не было. Она считала себя равноправной с мужчинами и появлялась в их обществе открытой.

Разговаривала, не стесняясь, с самыми знатными людьми города, могла поспорить с мингбаши, обругать полицейского.

Таджифари постоянно бродила. Даже ночью, когда город спал, она, как тень, возникала то в глухом переулке, то у мечети, то на аллеях Каландарханы. За это народ и прозвал ее ночной скиталицей. И не только прозвал, искал причины бодрствования Таджифари. Почему, когда правоверные по велению всевышнего отдают себя сну, она бродит по городу? Не кроется ли в этой любви, к ночному мраку какая-то тайна? Ведь одни лишь злые духи пристрастны к темноте. К тому же сама Таджифари своими странными поступками помогала видеть таинственное во всем, что ее касалось.

Однажды ночью, пробираясь сквозь заросли кустарника, окружавшие дом ишана, она наткнулась на человека. Он лежал без чувств у дувала. Таджифари нагнулась и узнала парня из соседней махалли. Никаких следов ножа или камня на теле не было. Старуха потормошила парня, смочила его лицо водой, но несчастный не приходил в себя. Тогда она взвалила бесчувственное тело на плечи, как обычно делала это с хурджуном, и принесла в дом, где жил парень.

— Возьмите, — сказала она открывшим калитку женщинам. — Ваше счастье, что я набрела на него, иначе бы стал он пищей дивов.

Ночное событие облетело город. В нем ничего особенного не было, а джизакцам хотелось видеть во всем, что связано с Таджифари, какую-то тайну. И вот как они объяснили поступок юродивой.

Таджифари не набрела на парня, она искала его. Седая колдунья полюбила молодого красавца и каждую ночь бродила по городу в надежде на встречу. Не раз пути их перекрещивались. Юноша, возвращаясь с пирушек, наталкивался на безумную Таджи. Она пыталась склонить красавца на взаимность, но все безуспешно. Отвергал пылкую страсть старухи юноша. Тогда она решила отомстить гордецу.

Было у юноши сокровенное желание найти лунолицую красавицу и похитить ее. Колдунья легко разгадала тайну и воспользовалась ею.

— Послушай, гордый джигит, — сказала она, — буду тебе сестрой, помогу найти то, что ждет твое сердце. Идем!

— Куда? — удивился юноша.

— В обитель красоты и наслаждения. Там не гостила еще ни одна мужская душа. Ты будешь первым.

И она привела его на пир прекрасных пери. Все, что увидел юноша, было достойно восхищения. Богато украшенная михманхана тонула в приглушенном свете благоухающих светильников. Золотистые блики падали на красные ковры редчайших рисунков, на бархатные подушки и шелковые курпачи. Сквозь узорчатые решетки окон проглядывал тенистый сад и синее небо с полуночными звездами. И среди этой чарующей красоты — весенний цветник девушек. Каждая подобна распускающемуся бутону розы, и все соперничают друг с другом в умении обольстить юношу, поразить его улыбкой, взглядом, гибкостью юного тела.

— Брат мой, — сказала Таджифари, видя, как торопливо огонь любви охватывает душу юноши, — пери нашли возможным пригласить тебя на свой пир. Но будь благоразумен, не раскрывай сердца, пока избранница твоя первой не произнесет слово признания. Терпение твое будет вознаграждено счастьем, а за торопливость расплатишься смертью...

Юноша принял зарок и стал пытаться себя. Он смело вошел в круг девушек. А ну, какая лучше? Пери тотчас закружились вокруг него, чаруя улыбками и взглядами. И чем пристальнее вглядывался в красавиц, тем труднее было ему избрать лучшую — все прекрасны, вей лунолики. Он стал ждать, которая же первой откликнется на его призыв, откроет свое чувство. А пери таились, ничего, кроме улыбок, не дарили юноше. В дверях стояла Таджифари, теперь тоже похожая на пери — молодая и красивая — и взглядом предостерегала его от рокового шага.

В пении и танцах проходила ночь. Уже звезды клонились к закату, а таинственные птицы прокричали близкую зарю. Взгляды пери стали горячее, улыбки обольстительнее. Красавицы кружились вокруг юноши, почти касаясь его лица своими смоляными косами, шелком и бархатом нарядов, звали куда-то. Он помнил слова Таджифари — стойкость и терпение будут вознаграждены счастьем, но силы уже покидали его, и юноша шагнул к пери. Шагнул и в ужасе

остановился. Свод михманханы раскололся, а он сам увидел себя лежащим на кладбище среди могил. С мазара глядел на него большой бараний рог, над головой болтался, раскачиваясь по ветру черный конский хвост. Так он лежал, словно мертвый, ничего не слыша и не чувствуя почти до рассвета. Потом его кто-то поднял и принес домой.

Утро он встретил на террасе, обычное утро. Все проснулись, зашумели, задвигались, но он подняться не смог — руки и ноги бездействовали. Знахарь, которого позвали родители, признал оцепенение тела и от лечения отказался.

Молодые силы быстро покидали юношу. Он стал стареть не по дням, а по часам и вскоре превратился в слепого немощного старца. Таким и взяла его в мужья безумная Таджи.

Эту историю рассказывали в Джизаке. И сколько бы раз она ни повторялась, что-то новое добавляли к ней рассказчики. История разрасталась, становилась все таинственнее и сказочнее. Несчастливая юродивая превращалась постепенно в посланницу злых духов, в пери. Поэтому и к имени ее прибавили слово «фари».

Посланница злых духов, однако, никому не делала зла. Она очень любила детей. Мальчишки дразнили ее, в ответ же Таджифари способна была награждать малышей сушеными фруктами, леденцами, добывала которые невесть какими путями. После восстания она бегала по дворам и совала детям то кусок лепешки, то яблоко, то виноград. Нет, она их не ласкала, лишь смотрела любопытно, как мальчик или девочка расправляются с гостинцем, и одобрительно кивала головой.

Вот и сейчас, когда тетушка Хурмат закончила свой рассказ о юродивой, растворилась калитка и вошла с кувшином Таджифари. Бедная, она поверила словам матушки и принесла детям воды — холодной кристальной воды из колодца ишана.

— Дай им попить, — сказала она тихо. — Малютки ведь ни в чем не виноваты...

Не знаю, смирилась ли Таджифари со своей утратой или нет. В этот день она была тихой и даже словом не выразила своей боли, когда солдаты, испив чаю, покинули наш двор. Наверное, все же не смирилась. Потом она все ходила по городу и искала солдата, что



убил ее мужа. В скитаниях и поисках закончилась ее странная жизнь. Как-то утром Таджи нашли мертвой в зарослях кустарника возле дома ишана. Именно там, где много лет назад несчастная набрела на бесчувственное тело юноши...

Еще одна душа покинула Джизак в те черные дни. Исчезла тетушка Марьям.

Страх не затуманил наш разум, не изгнал из сердца любовь. В ту первую ночь, ночь без рассвета, матушка не раз вспоминала сестру свою и все спрашивала нас:

— Неужели она не придет? Неужели не чувствует, как тяжело нам?

Мария Александровна в ту ночь не пришла к нам. Не пришла и на следующий день.

— Уж не случилось ли что с ней? — беспокоилась матушка. — Канцелярию сожгли, а ее комнатка на самом краю стоит.

— Уже не стоит, — ответил отец. — Один пепел остался.

— Ой! — сокрушалась матушка.

Когда ввели белый флаг и можно было ходить безопасно по городу, брат Мансур пробрался к базару, вернее к тому месту, где находился базар и стояла канцелярия мингбаши. Комнатки тети Марьям не было уже. Была груда саманных кирпичей и два обгорелых бревна. Он спросил людей, живших недалеко от базара, — не видели ли они русскую женщину. Никто не видел. Не до нее было людям в день восстания. Лишь один мальчик оказался приметчивым. Он сказал, что перед самым пожаром полицейские вывели русскую женщину из канцелярии и погнали по дороге в Самарканд. В руках у нее был узелок и маленький чемоданчик, тот самый чемоданчик, что брала с собой, отправляясь к больным. Женщина плакала, а полицейские ругались и грозили ей нагайками.

Обо всем этом Мансур поведал матушке. Она покачала горестно головой:

— Ой, сестра, сестра! Не кончился твой печальный путь в жизни...

Отец по-своему истолковал весть об исчезновении тетушки

Марьям.

— Если русских не шадит царь, то что ждет нас, джизакцев... — Он не ошибся. Джизакцев ожидала страшная расплата.

## День проклятий

— Светает, вставайте!

Все ждали этого дня, и все боялись его — дня наказания Джизака. Вечером и даже ночью он казался еще далеким, этот день. Помню, когда я засыпал, измученный стонами и слезами матери и горестными пророчествами отца, небо было удивительно добрым и спокойным. Все в ясных звездах. Они успокоили меня и заставили сомкнуть веки. Кажется, я не спал: окунулся куда-то в мягкую пустоту на мгновение и тут же очнулся. Звезд уже не было. Одна или две, последние, трепетали в блеклой синеве и на моих глазах погасли. Вокруг проступали силуэты деревьев. И было холодно, как всегда на рассвете.

Отец торопил:

— Вставайте скорее!

Куда он спешил? Если верить его же словам, сказанным вечером, всех ожидала смерть. Царь после долгих раздумий подписал приказ об уничтожении Джизака — гнезда повстанцев. Для этой цели к городу подкатили пушки, и с восходом солнца снарядами снесут все живое. Кто-то видел, как везли орудия. Город окружен войсками, это тоже видели. Бежать некуда. И все-таки отец торопил:

— Скорее, скорее!

Одеваться не надо. Все одеты. В узелках завязаны лепешки. Отец и матушка спускают нас, дрожащих и плачущих, с крыши и ведут к хаузу — водоему, пересохшему за лето.

— Здесь самое надежное место от снарядов, — шепчет отец. — В ямы снаряды не попадают.

Это такая же наивность, как и все, что предполагалось и осуществлялось для спасения людей во время и после восстания: ночные бодрствования на крыше, прятание вещей в колодцах, приношение жертв святым, отсиживание на пустырях. Намерения

карателей никто точно не знал, и поэтому меры предосторожности никогда не оправдывали себя. Не помог нам, конечно, и хауз, хотя он и был глубок и вместил в себя многих матерей с детьми.

Едва поднялось солнце, город загудел голосами тысяч людей. Нет, не стрельбой пушек и ружей. Лишь голосами. Нас нашла в хаузе соседка.

— Вылезайте! — крикнула она. — Солдаты гонят всех на площадь. Бегите куда-нибудь, спасайтесь!

И, не дождавшись ответа, первая побежала. Куда, неизвестно.

Шум все усиливался. Я вылез из хауза и глянул на улицу. Там творилось что-то неопишное. Толпы людей, подгоняемые солдатами, двигались в сторону базара. Пыль, поднятая ногами, повисла над улицей густым туманом и все закрыла собой. Лишь в просветах мелькали чьи-то тела. И над стоном тысяч голосов звучала команда солдат:

— Жур! Айда!

Слово «айда!» звучало в тот день часто и было связано с шествием в трагическое неизвестное, поэтому его запомнили все — от мала до велика. Запомнили на всю жизнь. И когда возникал в мыслях неповторимо страшный день, вместе с образом идущей толпы, вместе с гулом ее, повторялись невольно и слова: «Жур! Хайда!»

Нам тоже пришлось идти — хауз не помог. Солдаты потребовали, чтобы мы вылезли из своего укрытия.

— Жур, жур!

Вылезли. Сопротивляться было бесполезно. Присоединились к толпе, и она потянула нас вперед. Быстро потянула. Все будто торопились на свою казнь. Смерть все-таки была наречена нам, так говорили вчера старики. И вот теперь минута ее приближалась.

Я шел вместе с матушкой, сестрами и братьями, с соседями. Мужчин не было рядом. Они укрылись где-то, и, возможно, солдаты не нашли их. На какую-то секунду я пожалел, что не побежал за отцом: вдруг там спасение. Но рядом старик сказал:

— Никто не спасется. Город окружен, бегущих застрелят солдаты.

А туда, куда мы идем, хотел спросить я, там не стреляют? Этого

ни старик, ни женщины, окружавшие меня, не знали. По разговору их понял: впереди неизвестное.

— Неужели аллах не видит отчаяние своих детей? — шептали матери, утешая плачущих малюток. Многие шли с грудными детьми на руках.

— Проклял нас всевышний, — отвечали старухи. — Проклятие всему роду джизакцев.

— Но дети! За что всевышний карает детей? Они-то ведь ничего не совершали! Они безгрешные...

— Я же говорю, проклятие всему роду...

Мне было непонятно, почему люди в такую минуту решают странные вопросы. Надо кричать, просить милости, наконец броситься на солдат — их не так уж много, — и спасти себя борьбой. Зачем так робко подчиняться силе? Зачем умирать? Я не хотел умирать, и то, что все толкали меня вперед, навстречу смерти, тянули куда-то, вызывало протест. Глаза мои искали ответа у матушки. Ей одной я доверял, ее одну видел во всем страшном людском море. Но матушка молчала. Она смотрела вперед скорбными глазами, прижимала к себе младшего братика и шла. Шла как все.

Почему-то именно матушка своей обреченностью поразила меня. Я вдруг понял: спасения нет. И прижался к ней лицом, к ее платью, сжал рукой подол, подчинился неизбежности. А внутри стыл ужас и хотелось плакать. Но я не плакал. Только губы, помню, дрожали. И зубы тихо-тихо постукивали.

Губы дрожали и потом, когда нас привели на базар. На бывший базар. Теперь от него ничего не осталось, кроме обуглившихся бревен и саманных кирпичей. Вначале я даже не догадался, где мы остановились. Даже медресе Нуритдина Ходжи не узнал. Высились каменные колонны и безглавые минареты. Я часто бывал здесь раньше, взбирался по темному проходу наверх и оттуда, с макушки минарета, смотрел на город, на реку, на расстилавшийся внизу базар. Все как на ладони лежало, любуйся, рассматривай. Чаще всего взбирался не один. Мы стрекотали вверху чижами, спорили и иногда так расходились, что имам или азанчи сгонял нас, грозя кулаком.

Куда девалась верхушка минарета, размышлял я, глядя на

медресе. Такие мысли способны возникнуть лишь у ребенка. Страх не в состоянии заглушить любопытства, и пока люди шумели на площади, я предавался размышлениям. Наверное, это счастье юности — отталкивать от себя горе. И если оно уж слишком близко, искать спасения у матери. Так именно я и поступил, когда огромная площадь наполнилась и гул толпы стал оглушительным. Матушка сидела на земле, к ней жались сестры, на руках она держала братика, а я устроился рядом. Тепло материнского плеча успокаивало меня.

Не знаю, зачем так долго нас держали на площади. С рассвета до полудня люди мучились под открытым небом, принимая на себя весь жар летнего солнца и изнемогая от жажды. Вставать с места запретили, тем более передвигаться. Сейчас же следовал окрик солдата и щелканье затвора винтовки. Жажда, а порой и другие потребности вынуждали людей просить разрешения уйти с площади. Ответ был все тот же — щелканье затвора. И люди садились снова на землю, набирались терпения. Однако терпение имеет край, как всякая чаша, какой бы глубокой она ни была. Одна из женщин оказалась беременной, и именно в этот день бог призвал к жизни нового джизакца. Страшный крик пронесся по площади. Крик обезумевшей от боли матери. Ее надо было вынести куда-то с глаз людей, помочь принять ребенка. Женщины, подняв руки, стали умолять офицера выпустить ее. Он ответил руганью.

— Не для того собрали, чтобы распускать!

Мать билась у самого края площади. Туда она переползла с помощью соседок. Боль и стыд толкал ее на роковой поступок. Женщина пала к ногам солдата. Солдат стоял с винтовкой на изготовке, преграждая путь. И вдруг отступил. Молча отступил. Сделал он всего один шаг. Но все поняли, что стоил он ему многого.

— Святой человек! — зашумели люди на площади. — Бог дал ему сердце, хотя он и неверный.

Измученные и разгневанные джизакцы благодарно вздохнули. Их тронул поступок солдата. И тут же ужаснулись. К солдату подбежал офицер, отнял винтовку и стал бить по лицу нарушившего приказ.

Я, поднявшись на цыпочки, наблюдал всю эту сцену и передавал сидящим. Матушка впервые за день оживилась.

— Все несчастны, — сказала она. — Солдат такой же раб, как и мы. Бог будет ему защитой.

— Будет ли, — покачала головой соседка. — Царь непослушных не милует. Расстреляют, наверное, этого русского.

— Сколько же смертей примет сегодня площадь... Соседки замахали на матушку руками.

— Не говори так. Не зови смерть. Неужели белому царю мало крови, пролитой народом?.. Он не посмеет убить детей.

К разговору женщин присоединились мужчины. Каждый высказывал свои предположения. «Весь Джизак соберут здесь и погонят в Сибирь», — говорили одни. «Зачем столько хлопот? — возражали другие. — Целый месяц дороги, кормить надо. Здесь расстреляют». Что бы ни говорилось в этот день, конец был один — смерть. И люди старались отогнать ее от себя. Женщины плакали, мужчины читали молитвы.

Я так много наслышался о смерти, что перестал воспринимать это слово. Оно притупилось и уже не вызывало боли и страха, как прежде. Лишь когда другие предавались отчаянию и слезам, мне становилось жаль всех и самого себя тоже. Тогда я прижимался к матушке и всхлипывал. Но едва посторонний шум или чьи-либо громкие слова раздавались на площади, чувство жалости покидало меня и мгновенно появлялся интерес.

Мы находились на южной стороне площади, недалеко от кургана. Здесь еще пожар окончательно не угас. Кое-где дымились балки, тлели тряпки, и это мешало дышать, грело землю и без того нагретую лучами солнца. Южная сторона особенно тщательно охранялась солдатами. Видно, начальники боялись, что народ побежит через курган в степь. И вдруг совершенно неожиданно строй разделился на две части — одна отошла на запад, другая на восток. Курган оголился.

Чуть затихшая площадь снова возбужденно зашумела: люди почувствовали в движении солдат какую-то опасную для себя затею. А тут еще кто-то крикнул:

— На нас направляют пушки!

Верно, около медресе я увидел несколько орудий, дула которых

были повернуты к площади. Конные упряжки выкатили их на открытое место и здесь остановились. Артиллеристы отпрягали лошадей.

Больше я не успел ничего разглядеть. Матушка за рубаху притянула меня к себе, обняла и зашептала:

— Не смотри! Закрой глаза и молись.

Теперь мне стало страшно по-настоящему. Глаза закрыл, но молиться не мог. Не знал, что надо говорить в такую минуту. Да и вообще слова не шли на ум. Ничего не шло. Сердце сжалось в ожидании выстрелов. Матушка тоже не молилась. Она крепко-крепко прижимала к себе меня и маленького братика.

А рядом кто-то громко повторял:

— Лоилоха иллоху Мухаммади расуллло...

Стоял истошный вой. Тысячи простертых к небу рук что-то просили, требовали, а может, слали проклятия. Да, похоже было, пришел конец. Жутко было находиться в этой толпе, ожидающей смерти. Не хватало сил слышать крики и стоны.

Пушки молчали. Вместо выстрелов раздался громкий рокот какой-то машины. Он приблизился к нам и затих. Я поднял голову. Недалеко от строя солдат остановился автомобиль. Знакомый автомобиль. Несколько раз мне довелось видеть его на улицах Джизака. В нем ехал генерал-губернатор. Самого губернатора не разглядел тогда. Сейчас он вышел из машины, держа в руке какую-то бумагу. Возможно, это был не губернатор, кто-то другой. Но лицо важное, потому что к нему сразу подбежало несколько военных с золотыми погонами. Подошел и высокий грузный мужчина в черном одеянии. Лицо его украшала борода, длинные волосы спадали до плеч, на груди блестел большой крест. Этот высокий человек в черном принял от приехавшего бумагу и вместе с военными направился через площадь к медресе. Они шли мимо нас, сидящих на земле, и никого не видели, ничего не слышали, головы их были подняты гордо вверх, губы сжаты. А мы снизу глядели на них с тревогой и надеждой. Каждому хотелось по глазам офицеров узнать, что написано в бумаге, как решил судьбу джизакцев царь.

На возвышении военных ждал молодой парень, тоже в форме, и

все сразу узнали в нем сына убитого мингбаши Мирзаяра — Анварбека. Стройный, пухленький, с маленькими усиками над приподнятой губой, он был так не похож на остальных джизакцев, поверженных в пыль и страх, почерневших от горя. Анварбек принял от человека в черном бумагу, приложил ее к губам и поклонился военным. Потом сделал шаг вперед и поднял руку, требуя внимания. Площадь сразу замерла. Людям хотелось знать, что их ожидает.

— Мусульмане! — громко произнес Анварбек. — Слушайте приказ царя. Слушайте, неблагодарные, посмевшие нанести оскорбление его величеству, поднявшие руку на его слуг. Слушайте и внимайте!

С каждым словом голос Анварбека становился все громче и долетал до самых отдаленных участков площади. Впрочем, он мог быть и тише. Народ так присмирел, так затаился, что услышал бы не только слова, но и дыхание говорившего.

— Его величество государь император сочли возможным простить вам столь неприятное оскорбление и проявить жалость к своим неразумным подданным, уповая на бога и следуя добрым побуждениям, заменяет смертную казнь ссылкой на вечные времена в степи. Ни повстанцы, ни их дети никогда не должны вернуться назад, ни переселиться в другое место. Нарушившие этот запрет подлежат расстрелу...

Люди, кажется, онемели. Даже вздоха не проронил никто. Страшным и неожиданным оказался приговор царя. Несколько минут назад ждавшие смерти теперь не хотели принимать дарованную им жизнь. Она была равной смерти. Вечная ссылка, вечное изгнание, проклятие всему роду джизакцев.

Анварбек хотел продолжить чтение приказа, но не смог. Люди наконец очнулись и выразили свое отчаяние криком:

— А-а!!!

Не знаю, слышала ли земля когда-либо подобный стон своих детей. Как не разверзлась она, как не рухнул Джизак! Народ забыл о предостережении, забыл о винтовках, направленных на площадь, поднялся, готовый ринуться прочь с несчастного места.

Анварбек замахал камчой, что держал все время в левой руке,



визгливо завопил: ему надо было утихомирить джизакцев, дочитать приказ царя. Но разве воробей в состоянии перекричать голос бури? Тогда раздалось несколько выстрелов из винтовок. Люди нехотя, не сразу смолкли и опустились на землю.

Сын мингбаши откашлялся — попытка успокоить толпу ему обошлась дорого: он сорвал голос. Впрочем, это не такая уж большая утрата, кому нужен был голос мирзаяровского отпрыска? Лаять можно и охрипшим. Кашляя и глотая слюну, Анварбек дочитал приказ. По нему джизакцы делились на две части — одна направлялась в степи «Кили», другая — в «Учтепе».

Тут же солдаты стали делить народ. Прикладами и саблями разбивали толпу, растаскивали в разные стороны. Началась такая кутерьма, что светопреставление, о котором пишется в святых книгах, показалось бы образцом порядка. Каждая семья хотела быть вместе и потому жены звали мужей, матери детей, сыновья отцов. Кое-кто оказался рядом. Самым печальным было наше положение. Отец, как всегда, придумал хитрость и вместе с моим старшим братом исчез утром в каком-то переулке. Теперь матушка не знала, где его найти. С малышом на руках, в окружении дочерей, она растерянно смотрела по сторонам, надеялась увидеть где-нибудь мужа и сына.

— Зови отца! — просила она меня. — Кричи!

Я кричал, звал отца, брата, но голос мой тонул в гуле толпы. Ведь и другие кричали, и другие искали близких. Меня охватило отчаяние — что теперь будет с нами?

Сейчас погонят в степь, и мы больше не увидим ни отца, ни брата. Да и как будем жить? Ведь ничего нельзя взять с собой — с чем вышли из дому, с тем и отправимся на вечное поселение.

Только мать одна способна выстоять против невзгод и испытаний, которые готовит ей постоянно судьба. Слез я не увидел в ее глазах. До того она плакала, видя, как приближается неумолимое несчастье, сейчас надо было спасать детей, надо было заменить им отца, набраться мужества. Схватив меня за руку, она ринулась к тому месту, где стояли военные, где красовался в новенькой форме Анварбек. И прошла, неся на руках ребенка, вытягивая из людского потока меня и дочерей. А меня вытягивать было нелегко: я путался

между чужих ног, натыкался на потные животы, плечи, спины.

— Таксыр! — крикнула она Анварбеку. — Будьте милостивы, таксыр! Мой муж и сын, имя и честность которых вам известны, затерялись где-то на площади. Пусть солдаты разрешат им присоединиться к семье сейчас или потом, в степи... Я подожду их, таксыр...

Он мог не ответить, этот отпрыск мингбаши, мог сделать вид, что не слышит. Но он ответил:

— Иди! Нечего напрасно ждать. Простись со своим мужем и сыном. Их нет больше...

Я думал, матушка упадет прямо здесь, перед возвышением. Разве человек в состоянии после всех бед, обрушившихся на него, принять еще одну? Принять самую страшную. Матушка некоторое время стояла молча, смотрела на Анварбека, пытаюсь понять сердцем сказанное им.

— Иди, женщина! — повторил сын мингбаши. Матушка повернулась, и я снова не заметил слез в ее глазах. Они были сухими.

И мы пошли. Пошли на вечное поселение...

## Изгнание

Голая степь. Такая голая, что не видно на ней ни деревца, ни кустика. Но не гладкая — местами волнятся на ней невысокие холмы, похожие на горбы верблюдов. Когда и отчего они здесь возникли, знает ли кто? Вряд ли. Такой уж сотворил ее всевышний, видимо. И вот многие годы, сотни лет, а может, и тысячи высятся холмы, бесстрастно, молча глядя на все, что творится вокруг, на рождение весенних тюльпанов, на смерть летних трав, сожженных солнцем, на дым песка, поднятого ветром, на пляску зимней метели, на караваны птиц, пролетающих то на юг, то на север, на восход и заход звезд. Много, много видели холмы. Но впервые им пришлось лицезреть людское горе. Тысячи людей лежали на земле, истерзанные усталостью, и предавались короткому сну. Лежали в степи у подножья холмов.

Мудрые старые холмы, выдавшие мир еще в пору его сотворения,

и я, двенадцатилетний мальчишка, сделавший всего несколько шагов в жизнь, — вместе мы познавали, что такое изгнание. Люди лишились крова, очага, постели, лишились всего близкого, родного, и их теперь приютила степь. Нет, не приютила, просто они упали на землю, потому что не было сил идти дальше. Здесь их застала ночь. Ночь, которая в месяц саратан тепла, как шерстяной полог, и темна, как дно колодца.

Все лежали, но не у всех глаза были закрыты сном. Я не спал. Видения дня толпились в моей разгоряченной голове и требовали какого-то объяснения. Мне по-прежнему прошедшее и настоящее казалось злой выдумкой, наваждением, которое вот-вот рассеется, исчезнет. Уйдет ночь, и все станет прежним — светлым, понятным, добрым.

Вот уже который день я жду этого пробуждения. Никак не хочет детское сердце смириться с несчастьем, что обрушилось на нас. Может быть, поэтому все происходящее мне кажется ненастоящим, выдуманным, и, может быть, поэтому я мало плачу. Мои глаза открыты. На площади перед мечетью меня занимали солдаты, пушки, сбитая снарядом маковка минарета, здесь, в степи, я рассматриваю холмы, стараюсь понять, откуда они взялись, смотрю на небо, усыпанное звездами, жду восхода луны.

Мы теперь одни с матушкой — я имею в виду старших в семье. Сестры не в счет — они или маленькие, или уже замужем. Брата и отца убили, — так сказал Анварбек. Солдаты увидели их бегущими и застрелили. Это тоже никак не укладывается в моих чувствах. Наверное, когда пройдет время, утрата станет реальной, я смирюсь с ней. Пока несчастий так много, что принять их одновременно невозможно. Матушка тоже не плачет. Молчит и смотрит потухшими глазами куда-то вдаль. Что-то думает. Что, не знаю.

Я рад, что она заснула. Может, к ней вернуться силы и она станет прежней. Обязательно прежней, иначе мы все погибнем...

По степи бежит ветерок, знобкий ветерок, видимо, скоро утро. Холод заставляет меня поежиться, вспомнить, что я не дома, что все вокруг настоящее и оно теперь всегда будет со мной.

Луны нет, но небо какое-то прозрачное, словно высвечено

отблеском далеких огней. И степь оттого окутана голубоватой дымкой, и все на ней видно — близкие и далекие холмы, и силуэты спящих людей, и кромка земля, подступающая к самому горизонту. Вот только нашего Джизака не видно. Он где-то там, за степью, за холмами. Далеко мы ушли от него. Ушли навсегда.

Родной город кажется мне теперь необыкновенным. Даже сказочным кажется — и улицы, и сады, и Каландархана с ее хаузом. И я смотрю на край степи и рисую в своем воображении наш дом, тихий, светлый, радостный. Да, у потерянного ножа рукоятка всегда золотая... О, если бы вернуться домой!

Пока я так мысленно брожу по Джизаку, в том месте, куда направлен мой печальный взгляд, появляется темная точка. Возможно, не одна точка, а несколько, но они слились и представляются чем-то единым. Точка движется, растет и начинает делиться. Забыв о Джизаке, я весь отдался вниманию. С тревогой и любопытством слежу за странными силуэтами. Вот уже ясно различается лошадь, она идет в середине, слева и справа — люди. Двое мужчин. Идут они медленно, устало. Шаги негромко, но явственно звучат в тишине ночи...

Когда мужчины подвели лошадь к нашему табору и остановились в нерешительности, я вздрогнул от какого-то неясного предчувствия. Лицо одного из мужчин показалось мне знакомым. В темноте я уловил черты брата Мансура, убитого вчера.

— Ака! — невольно вырвалось у меня. — Брат!

Это был Мансур. Он подбежал ко мне — живой а может воскресший, обнял меня. Засмеялся радостно.

— Слава всевышнему...

Мне хотелось спросить, правда ли, что его расстреляли и похоронили под дувалом суфия Оймата, но я не решался произнести эти слова. Да и не успел. Подошел отец, тоже воскресший, прижал меня к себе и произнес взволнованно:

— Дети мои...

Я стал целовать его глаза, лицо, бороду. И заплакал От счастья.

— Папочка, оказывается, вы живы... Живы.

Отец не понимал моего вопроса, ему подумалось, что долгое

отсутствие очень встревожило нас, и заторопился согласиться со мной:

— Живы... живы...

Проснулась матушка. Горе и боль, давившие ее сердце, разомкнулись, дали волю слезам.

Счастье наше было шумным. Встревоженные соседи поднимали головы и испуганно спрашивали:

— Что случилось?

Я крикнул, что было мочи, наверное, на всю степь:

— Отец и брат мои воскресли!

Мог ли я подумать, что наша радость всего лишь капля светлая в темном море человеческого несчастья. У кого-то вернулся отец, ну и что из этого, если бы вернулась свобода для всех, тогда бы засмеялась, а может, и заплакала от счастья вся степь. Теперь люди лишь кивнули головой и вздохнули.

— Вернулись, ну слава аллаху... Он еще помнит нас, обездоленных.

Кто-то объяснил чудо по-своему:

— Можно ли верить этому выродку Анварбеку... Он от злости готов всех объявить покойниками.

— Да, если Анварбек не сделает человеку больно, спать не будет... Весь в отца!

Воскрешение чорбазарчи и его сына не стало событием для всей степи. Повздыхав и покачав головами, люди поворачивались на другой бок и засыпали. Засыпали, хотя земля и была голой и жесткой, — измученные тела требовали отдыха, к тому же предстояли новые испытания и муки, надо было набраться сил. Лишь некоторые проявили любопытство и задали отцу несколько вопросов: как там в городе, не слышно ли чего нового. Он рассказал, что в Джизаке тишина: все жители покинули свои дома, а сам город окружен войсками, никого не пропускают внутрь.

— Как же вы прошли? — поинтересовались наши соседи.

— Упросили солдат.

— А это возможно?

— Сами видите... Уже в степи мы с сыном наткнулись на

патруль. Их было четверо. Они обыскали нас, развернули одеяла, проверили мешок — не знаю уж, что им надо было, — и отпустили. Мансура даже по плечу похлопали: «Баранчук, баранчук!»

— Выходит, солдатам от нас ничего не надо? — удивились соседи.

Отец пояснил рассудительно, он умел во всем находить истину:

— Что солдаты! Они, как и мы, невольный народ. Что велят командиры, то и делают. Не ударь солдат бедняка, его самого ударят, а то еще и расстреляют.

— Да, — соглашались соседи, — солдаты в страхе перед офицерами, а уж офицеры — чистый божий гнев, так из глаз молнии и сверкают...

До самого рассвета длился разговор, и только когда над степью, как стон, пронесся голос муэдзина: «Облоху акбар-облоху!», люди стихли. Вся земля покрылась бугорками поднявшихся на колени джизакцев. В полутьме, предшествующей восходу солнца, эти силуэты, слегка покачивающиеся вперед и назад, казались призраками. Я тоже опустил и сложил ладони на коленях. Предстоял первый разговор с богом, допустившим наше изгнание из дома, а может быть наказавшим джизакцев за какие-то грехи.

Со страхом и надеждой люди ждали этой встречи с богом. Вдруг снизойдет всевышний к ним, несчастным, и утешит. Никогда, наверное, верующие не испытывали такого благоговения и такой преданности своему пророку, как в этот предрассветный час, стоя на коленях в степи. Каждому хотелось быть услышанным, и уж если на камнях мечети он вкладывал в молитву все свое старание, то здесь, на пустынной земле, это старание удвоилось. Но судьба не помогала мусульманам. Когда муэдзин прокричал: «Халла алалпалох! Халла аlassалох», а затем закончил призыв к молитве словами «лоилоха иллолло!», верующие сложили ладони для омовения. Тут кто-то сказал огорченно:

— Воды-то нет. Что же будет с омовением?

Да, люди стояли на сухой земле, настолько сухой, что и трава стала жесткой и колола ноги.

— Слишком велик наш грех, бог отнял право на омовение...

Мне тоже показалось, что всевышний отвернулся от джизакцев. Отсутствие воды тому доказательство. Однако нашелся среди изгнанных знаток корана и успокоил мусульман:

— Когда нет воды, говорил пророк, соверши омовение песком...

Ему поверили. Людям надо было выйти из затруднения, еще одного затруднения, которое встало на их пути. Мужчины засучили рукава, будто в самом деле собирались коснуться воды, и ладонями тронули лица. Я сделал то же.

Потом все поднялись и пошли к тому месту, где несколько минут назад звучал голос муэдзина. Отец, прежде чем последовать примеру соседей, предупредил матушку:

— Там, в мешке, пшеница, ее надо бы поджарить детям, но не торопись с этим делом. Вокруг голодные, хорошо ли самим есть, чувствуя взгляд неуголенного? Вернусь, тогда разведем огонь...

Люди шли к муэдзину, надеясь узнать что-либо о грядущем дне. Вставало солнце и вместе с ним тревожная дума — что дальше? За ответом пошел и отец.

Едва мужчины скрылись в предрассветном тумане, а может, и не скрылись, а лишь отделились немного, я принялся донимать матушку просьбами....

— Сжарьте пшеницу...

Матушка не отвечала, да и что она могла сказать мне — рядом лежали и сидели изголодавшиеся соседские дети. Наконец она не вытерпела, сняла одеяло с ведра, в котором был виноград, и вынула несколько кистей. Оказывается, ночью отец привез, кроме пшеницы, и виноград. Я протянул руки к гроздьям.

— Сынок, — остановила меня матушка. — Видишь этих ребят, они со вчерашнего дня не видели ни крошки. Несколько ягод помогут им утолить боль голода. Отдай малышам эти кисточки...

У меня самого горело все внутри, желудок выводил такие трели, что за версту было слышно. Попадись что-нибудь съедобное, пусть даже похожее на ком земли, я немедленно бы проглотил. У меня в руках кисть винограда, и ее надо отдать соседским детям. Не без сожаления я протянул ее хныкающим малышам. Справедливости ради следует сказать, что несколько ягод мне удалось по пути

отправить в собственный рот — соблазн был слишком велик! Но только несколько ягод. В награду за подвиг матушка выдала мне целую кисть. Тут же, подогнув под себя ноги, я принялся расправляться с нею, и, наверное, расправился бы в несколько минут, но случайно глаза мои наткнулись на соседского мальчика Хакимджана-худои. Он был братом этих самых хныкающих малышей. Старшим братом. Главное не это. Ему не досталось ни ягодки, и теперь, мучаясь голодом, Хакимджан с болью смотрел на мои руки, торопливо отправлявшие виноградинки в рот.

Нужно же было моим глазам наткнуться на этого Хакимджана-худои именно в то время, когда мне выпало счастье, наконец, наполнить желудок сладким виноградом. Мог ведь увидеть вместо него пучок сухой верблюжьей колючки или холм, которых бог весть сколько в степи, в крайнем случае, вообще ничего не увидеть, так нет, перед моими глазами возник голодный Хакимджан. Что он голодный, сомнений не было. Каждую виноградинку, отправляемую мною в рот, Хакимджан сопровождал таким грустным взглядом, что она невольно застревала у меня в горле, и он подталкивал ее, проглатывая собственную слюну.

Не надо объяснять, почему я разделил кисть поровну и вторую половину протянул Хакимджану-худои. Не надо также описывать, как принял свою долю мальчишка и во сколько секунд он ее уничтожил. Пока я вернулся на свое место, с виноградом было покончено. В руках у Хакимджана не оказалось ни одной ягодки. Да что ягодки! Косточки и стебелек тоже исчезли. Голод не отделяет съедобное от несъедобного.

Я расстался с виноградом, но зато приобрел друга. Хакимджан подошел ко мне и сел рядом. Раскосые глаза его не были уже такими грустными, да и были ли такими прежде? Наверное, я ошибся. Он улыбался, как улыбаются все мальчишки, которым вдруг повезло. Правда, позже они опять погрустнели, это когда Хакимджан сказал, что его отца забрали солдаты и хотят повесить. Повесить как одного из зачинщиков бунта. Вот мать его и плачет поэтому все время...

Мне захотелось утешить нового друга, и я привел в пример историю с собственным отцом и братом, которых будто бы убили



вчера, а ночью они появились в степи.

Не знаю, утешился ли Хакимджан-худои, но чудо помогло нам на время забыть несчастье, постигшее всех. Мы оживленно разговаривали, не забывая, однако, о голоде, который через какие-нибудь полчаса снова стал терзать нас. Кисточка винограда не смогла насытить два огромных, нам так казалось, мальчишечьих желудка. Очень скоро разговор перешел на еду — чем утолить голод? Мешок с пшеницей лежал под одеялом, и ничей взгляд не падал на него. А что если проглотить зерно не жареным, небось не лопнут от этого наши животы!

Брат подтвердил, что не лопнут. Просто жареная пшеница вкуснее, потому ее и бросают в раскаленный котел. Нужно ли думать о вкусе в такой момент, главное — наполнить желудки. С этой мыслью я стал пробираться к мешку. Ползком, как вор. Стыдно было. Никогда прежде не брал я ничего без спросу, а тут решился на преступление, совершал грех. Минуту назад матушка, слыша наши жалобы, напомнила старую историю: «В давние времена, сказала она, дети были терпеливыми. Им говорили: вот посеют пшеницу, спят тандыр, а когда поспеет урожай, испекут лепешки... И дети ждали. А вы? Не можете дотерпеть до возвращения отца с молитвы...» Мы ответили, что можем. И не смогли.

Нехорошо, повторял я про себя, не надо грешить, но повторял слишком вяло и полз. Полз к мешку с пшеницей. Матушка не заметила, как нырнул под одеяло и принялся воевать с завязкой. Она оказалась крепкой и хитрой. Мои слабые пальцы не могли ничего сделать с бечевкой, намертво затянувшей верх мешка: отец умел хорошо завязывать, какими-то сложными узлами. Не только пальцы, но и зубы оказались бессильными перед чародейством отца. Тогда я принялся искать дырку. Во всех мешках, что попадались мне за короткую мою жизнь бывали дырки, а в этом ее никто не просверлил — ни человек, ни мышь. И ткань плотная. Под душным одеялом я вспотел, измучился и ничего не добился. Вот если бы был нож, тогда зерно посыпалось бы ручьем. По ножа не было. Разочарованный и злой, я выбрался из-под одеяла. И вовремя: матушка, беседовавшая до этого с соседкой, обернулась и сказала:

— Вижу, вы истомились в ожидании завтрака. Сходите за оккураем, а я пока приготовлю котел. Знаете, что такое оккурай?

— Как же, — ответил брат, — его жгут под котлом вместо дров.

— Тогда торопитесь. Пусть и Хакимджан с вами пойдет, больше соберете.

Мы побежали в степь. Особенно торопился мой братец, ему хотелось как можно скорее скрыться с глаз матушки и отведать сырой пшеницы. Едва мы свернули за ближний холм, он потребовал своей доли добычи. Я показал пустые ладони.

— Куда же ты дел? — со слезами в голосе спросил братец.

— Оставил в мешке. Он слишком крепко завязан. Ответ расстроил брата. Он отказался идти дальше и опустился на землю.

— Есть хочу!

— Вот соберем оккурай, и матушка поджарит пшеницу. Знаешь, какая вкусная!.. — И я принялся расхваливать предполагаемый завтрак. Братец не дал мне договорить, вскочил с земли и крикнул:

— Если все дело в оккурае, идемте скорее. Я соберу целый сноп этого глупого оккурая.

Я тоже намеревался собрать целый сноп, но удача не сопутствовала нам. Вблизи табора и за холмом рос лишь янтак — верблюжья колючка, пришлось идти дальше в степь, к желтевшим зарослям камыша. Пока мы шагали, оберегая ноги от укулов янтака, солнце поднялось над горизонтом и начало припекать. Вступал в свои права летний день, как всегда в саратан горячий и злой. С трудом нам удалось все же разыскать оккурай. Он рос среди густых кустов янтака. Никогда прежде мне не приходилось вытягивать его из земли. Оказалось, что это не так просто. Степные растения пускают корни очень глубоко, а оккурай глубже всех. Легче, кажется, вырвать человеческий зуб, чем одолеть упрямый глупый оккурай. Я, правда, справлялся с ним, а вот слабенький Хакимджан ничего не мог поделаться с толстым стеблем. Он ободрал руки, занозил пальцы, но ничего не добыл, кроме слез. Тогда я сказал:

— Мы с братцем будем вытягивать, а ты собирай и складывай в одно место.

Дело, хоть и не быстро, продвигалось, и на чистом месте начала

расти горка оккурая. Работая, мы поглядывали на солнце, что поднималось все выше и выше над степью. Видимо, отец уже вернулся в табор, а если вернулся, значит, пришло время жарить пшеницу. Эта мысль подгоняла нас, и мы старались изо всех сил. Кроме нас, оккурай собирали и другие джизакцы. У дальнего холма целая стайка людей что-то выискивала. Они то опускались к земле, то поднимались, медленно двигаясь к горизонту. Вначале я не обратил внимания на это непрерывное движение, потом меня заинтересовало, сколько оккурая нужно людям, чтобы так долго возиться с ним. Мы втроем натаскали целую горку и все с одного места, а они чуть ли не полстепи обошли, и все им мало.

— Там, кажется, не оккурай, — сказал братец. — Пойдем посмотрим.

— Хорошо сказать, пойдем, — ответил я недовольно. — У меня все ноги в колючках. На каждую пятку собрал по сотне.

— Э, что такое колючки, когда нас ждет клад.

— Какой клад? — удивился я.

— Или ты думаешь, люди просто так гнутся к земле через каждый шаг, — ответил братец. — Не богу же они там молятся.

И он решительно направился к дальнему холму.

Пришлось и нам с Хакмиджаном последовать примеру братца. Оберегаясь злых кустиков янтака, которые будто нарочно подставляли под пятки острые иглы, мы, перескакивая с одного чистого места на другое, заспешили к золотым россыпям. Это действительно оказались золотые россыпи. У дальнего холма спела пшеница. Кем-то брошенная, с налитыми колосьями, она выбивалась между кустиков янтака.

— Эге-ге! — кричал брат издали. — Здесь целое поле! Теперь мы поедем вволю...

На первый колос я наткнулся, когда вынимал из ноги колючку. Он склонился тяжелой гроздью к моему лицу и даже кольнул его острыми усиками. У меня не хватило сил противостоять соблазну, и, забыв о колючке, я сжал руками колос и потер его, выдавливая спелые зерна. Они посыпались на землю, но тотчас были подобраны и отправлены в рот. Хлеб! Это был хлеб. Сладковатый, пахнущий

мукой, теплый от солнца. Набив полный рот зерен, я торопливо разжевывал их, наслаждаясь вкусом еще не испеченной, но уже готовой для отправки в тандыр лепешки.

За первым колосом последовал второй, третий. Ко мне присоединился Хакимджан. Я научил его растирать зерно ладонями. Так, уподобляясь молотилке и мельнице, мы смело орудовали на краю поля, наполняя желудки пшеницей. Брат звал нас к себе. Но разве могли мы, голодные, мечтавшие все утро о хлебе, оторваться от зрелых колосьев. Тогда он сам подошел к нам.

Подол его рубахи вздулся, во все стороны торчали колючие ости — брат собрал целый сноп пшеницы. В то время, как мы думали о собственных желудках, он заготавливал хлеб для всей семьи.

— Сними рубаху! — сказал он. — В нее войдет целая мера зерна.

Я разделся, и вместе мы соорудили из рубахи что-то вроде мешка. В него стали складывать колосья. Хакимджан сделал то же, теперь вдвоем мы убирали кем-то выращенный урожай и довольно быстро «сжали» край поля. Мимо нас проходили мужчины и женщины с полными платками, рубахами, халатами.

— Много ли пшеницы в степи? — спросил я брата. Меня беспокоило будущее.

— Дня на два хватит, — ответил он.

— Разве она не везде растет?

— Растет, наверное, везде, да не везде ее сеют... Это ведь чье-то поле.

— А если увидит хозяин? — встревоженно спросил я.

— Не увидит. Хозяева ушли, когда узнали, что сюда гонят джизакцев.

— Значит, это наша пшеница?

— Конечно...

Я помог брату взвалить мешок на спину, а сам взял вязанку окурная. Счастливые, мы возвращались в табор.

На полупути нам повстречался Акил, мой старый друг. Это было так же приятно, как и открытие пшеничного поля. Оказалось, что семья Акила расположилась чуть дальше нас, на совершенно голом месте. Но рядом с ними был колодец и, следовательно, вода, без

которой нельзя было жить в степи.

— Перебирайтесь к нам, — сказал Акил. — Вместе лучше.

Да вместе, конечно, лучше. С этой мыслью и с этим желанием мы пришли на свое место. Здесь нас ожидал выговор родителей.

— Попроси дите нарубить хворосту, а сам засучивай рукава, — сказал отец. Он давно вернулся, приготовил очаг и ждал оккурая.

Матушка хотела тоже что-то напомнить нам о неразумности сыновей, но увидела за спиной брата мешок, наполненный колосьями, и лицо ее посветлело.

— Ну, отец! — воскликнула она. — Не торопитесь ругать детей своих. Они хлеб принесли. И не мало. День будем сытыми... А там и всевышний о нас вспомнит.

— Прося бога об урожае, не забудь посеять зерно, — заметил отец. — Хорошо, что сыновья внимательны...

Похвала ободрила нас и мы тут же рассказали о пшеничном поле и колодце.

— Видите! — всплеснула руками матушка. — Не было пшеницы — нашлось пшеничное поле, не было воды — нашелся колодец. Что ни говорите, аллах милостив.

— Да, — согласился отец. — Упавший с дерева радуется, что внизу растет трава, а не камни...

Пожевав каленой пшеницы и запив ее горьковатой водой, мы стали собираться в путь: отец и мать решили перевезти наши пожитки поближе к колодцу. Одежда, циновки, котлы и чайники навьючили на лошадь, остальную мелочь водрузили на плечи — и двинулись к дальнему холму. Не одни мы оказались такими рассудительными — соседи тоже поднялись и пошли к колодцу.

Старики нас отговаривали: там соленое место, много песку, но отец не послушался никого.

— Зато там вода, — ответил он. — А без воды какая жизнь...

### **Бедняка и на верблюде собака укусит**

На новом месте было пустынно и почему-то неуютно. Холм стоял близко, но не защищал от солнца и ветра. И ночью и днем вихри

гуляли по степи, обжигая нас то огнем, то холодом.

Недавно здесь жили казахи. Это они вырыли колодец и посеяли пшеницу, а когда узнали, что джизакцев гонят в степь, сняли свои юрты и ушли неизвестно куда. Следы становища мы обнаружили рядом с колодцем: несколько очагов, большой котел и деревянное ведро. Еще высились горки кизяка — топлива из сухого навоза. Ведро предназначалось для колодезной воды, которую доставали с помощью длинной веревки. В котле жарили пшеницу.

Когда мы появились у колодца, жаждущих было так много, что каменного барьера, заслонявшего источник, никто не мог разглядеть. Да что разглядеть! К нему подступиться нельзя было. Огромная толпа жалась к колодцу. Над каждой головой торчал или кумган, или ведро, или пиала. Все хотели пить.

Два-три старика пытались вразумить народ. Кричали до хрипоты:

— Мусульмане! Правoverные! Опомнитесь! Одним глотком не утолишь жажды, одним колодцем не оросишь всей степи. Отойдите от источника. Пусть главы семейств станут друг за другом и возьмут столько воды, сколько нужно для омовения взрослого и сохранения жизни младенца...

Кое-как удалось оттеснить толпу и установить очередь. Несколько крепких джигитов взялись черпать воду из колодца. Ведро за ведром поднималось вверх и распределялось между джизакцами. Кумганы и пиалы наполнялись влагой, и с трудом главы семейств подавляли в себе желание тут же осушить до дна чаши. Жажда была невероятной. С неба жгло солнце. В лицо бил горячий ветер. И все же люди не пили, несли воду своим семьям.

От колодца началась наша жизнь в степи. Но одной водой существовать человек не может. Говорят же, если появилась в пустыне живая душа на ногах, то знай: первая ее забота о желудке. Многие из джизакцев уже неделями не видели лица лепешки, о шурпе и говорить не приходится. Жареные зерна пшеницы — наша пища, но и она на исходе. Поле, что оставили нам казахи, быстро опустошается, выискивать колосья становится все труднее и труднее. Иногда полдня мы с братцем рыскаем по степи, чтобы собрать подол колосьев.

Запах печеного зерна, чуть горьковатый, заменил все запахи степи. Он постоянно витает над табором, и по нему даже ночью легко установить, где живут джизакцы.

Наш очаг почти постоянно горит: когда кончат стряпню матушка, приходят с горстями пшеницы соседки. Отец вырыл очаг в первый день нашего поселения, и с тех пор огонь не гаснет. Вечерами, сидя у пламени, мы вспоминаем наш дом, мечтаем о вкусной маставе или плове. Мечтаем мы, дети. Взрослые полны забот о завтрашнем дне. Поэтому они мрачны и молчаливы.

Когда воспоминания иссякают и огонь в очаге становится тусклым, мы идем спать. У нас есть дом. Так мы зовем шалаш, построенный отцом из стеблей оккурая. Он спасает семью от жгущего солнца днем и от холодного ветра ночью...

Ох, этот ветер! Никогда не думал я, что он станет нашим лютым врагом. Мальчиками мы зазывали его на наши крыши, чтобы запустить воздушный змей. «Эй, ветер, твоя жена умерла, бери кетмень и беги-и!» — кричали мы. А он не хотел прилетать, сердил нас своею ленью. Здесь, в степи, ветер вспомнил, видно, наш зов, примчался невесть откуда.

Издревле существует пословица: «Бедняка и на верблюде собака укусит!» Именно так случилось с нами в степи. Изгнанные из родного города, лишенные крова, джизакцы испытали на себе еще и гнев природы.

В полдень, самый обычный полдень, когда на небе горело солнце, а в очагах пылали стебли оккурая, из-за холмов вдруг вырвался ветер и кинулся на табор. Такого ветра я не помнил за всю свою жизнь. Он обрушил на нас тысячи стрел, свирепых, безжалостных, разящих все живое. В одно мгновение табор был сметен и развеян по степи. От шалашей не осталось и следа — стебли оккурая летели в воздухе, как птицы, и вместе с ними платки, халаты, одеяла. Огонь из очагов бесчисленными искрами и угольками взметнулся ввысь, на людях загорелась одежда, волосы. Тучи песка мчались, словно волны в бушующем море, застилая небо и солнце. Оттуда же, из-за холмов, кружась, выполз песчаный столб и двинулся на людей. Начинаясь с земли, он постепенно поднимался все выше и выше, пока не достиг

неба.

Джизакцы пали ниц, чтобы не оказаться в потоках смерча. Я тоже лег на землю, прижался к ней, замер. Через мою спину и голову что-то перекатывалось, било меня, царапало. Под рубашку и штаны забился песок и крутился там, обдавая тело жаром. Песчинки были горячими, будто их калили на огне. Тюбетейку мою давно унесло, и я закрыл голову руками.

Рядом кто-то дрожащими от страха губами произносил заклинание:

— А ну, кухонный нож, перец! А ну, кухонный нож, перец!..

Я знал, что когда беснуются дивы, надо повторять эти слова, иначе духи могут искалечить человека — скривить ему рот или нос, омертвить ноги. Будто бы дивы боятся ножа и перца. Так рассказывала моя матушка. Сейчас бесчинствовали дивы, и надо было защитить себя заклинаниями, произнося смешную фразу о кухонном ноже и перце. Почему-то я не прибег к помощи слов: то ли язык от страха прилип к нёбу, то ли само событие никак не вязалось с представлением о дивах. Слишком реальным был смерч. Позже я признался матушке, что молчал во время урагана. Молчал, а дивы меня не покарали. Матушку несколько озадачило мое кощунство, но она нашла, что ответить.

— За тебя другие произносили клятву. Я молилась...

Признаюсь — ответ матушки меня не убедил. Я, кажется, не поверил ей.

Однако вернемся к урагану. Он был свирепым и коротким. Всего полчаса бесчинствовала песчаная буря, но принесла много зла. Когда ветер улетел, люди еще некоторое время лежали ниц, боясь повторения урагана. Потом постепенно пришли в себя и занялись розысками вещей. Мы тоже бегали по степи и собирали пожитки. Тюбетейки и платки затерялись среди зарослей колючки, вещи потяжелее лежали за колодцем под толстым слоем песка. От шалашей, конечно, не осталось и следа.

Со слезами и проклятиями люди принялись восстанавливать табор — очищали очаги, отгребали песок от колодца. Мужчины пошли к Тукирсаю за камышом. Говорили, что там его целые заросли,



а мы, мальчишки, подались к большому холму собирать оккурай и пшеничные колосья. К вечеру все вернулись на место. Дети несли зерно и стебли оккурая, взрослые — снопы камыша. Отец привез камыш на лошади.

— Будем строить камышовую хижину, — сказал он. — Обмажем ее глиной и так перезимуем. Живут же казахи в юртах...

Этой ночью и началось строительство хижины. До рассвета горели костры и трещал тростник, связываемый в плотные щиты — будущие стены. Трудились все — от мала до велика. Руки наши были все в ранах и ссадинах. Лишь к утру табор заснул.

Три дня длилось строительство, и вот в степи вырос городок, похожий чем-то на большое поле, усеянное копенками сена. Люди перебрались в хижины и затихли. Но ненадолго. Пала новая беда — иссяк колодец. Верно говорили старики: «Одним источником не оросишь всю степь». Опять стоны и слезы. Жажда страшнее голода. Джизакцы стали молить всевышнего о дожде. Но какой дождь летом! Небо даже облачком не затуманивалось — синее, ясное, с огненным солнцем в зените.

Старцы собрались на совет. Все трудные вопросы в степи решали седобородые. От них ожидали избавления от всех напастей и бед. И старики постановили: вырыть новый колодец. Мужчины взялись за кетмени. Вместо одного вырыли два глубоких колодца. И когда наверх подняли первое ведро с водой, вся степь загудела от тысяч восторженных голосов.

— Вода! Вода! Слава всевышнему! Даже свои заслуги, свою решимость мусульмане адресовали богу, хотя все подтверждало полное равнодушие неба к нашим страданиям. Ни одного чуда не произошло в степи, пока там жили джизакцы, ни одной слезы не обронили ангелы, летавшие в синеве, как огромные аисты, ни одного зерна не протянули святые голодным.

А вот люди оказались сострадательнее. В один из дней, когда зерно до последнего зернышка перекочевало с поля в наши желудки и новый страх, страх перед голодом, охватил всех, из глубины степи к камышовому городку потянулся караван верблюдов. Мы увидели его утром. Настороженно и удивленно смотрели джизакцы на

таинственных пришельцев. Что несет им этот караван?

Гости, а может и не гости, приблизились к старому колодцу и здесь остановились. Это были казахи кочевники. Самый старый из них слез с лошади и жестким, как у всех степняков, голосом произнес:

— Ассалам валеЙкум! Мир вам!

Джизакцы радостно зашумели и обступили пришельцев. Первые гости показали им вестниками добра — ведь никто за время изгнания даже не приблизился к табору, никто не одарил обездоленных теплым словом. А тут и слово и улыбки.

Старик казах обнял такого же старика джизакца и сказал:

— Мы из племени Босимбек... Слух, который разносится по степи, подобно ветру, и доходит даже до дальних аулов, поведал нам о вашем горе. Кто лучше казаха знает, что такое голод и что такое жажда? На новом месте человеку всегда трудно, поэтому примите от нашего племени немного зерна и мяса...

С этими словами старик отвязал повод лошади, которая шла за караваном, и передал своим спутникам. Тут же животное зарезали и стали делить между джизакцами. Одновременно из мешков рассыпали зерно по тюбетейкам и платкам.

Трудно рассказать, какими словами и поклонами отвечали джизакцы на щедрость степняков. Все вокруг огласилось радостными возгласами, женщины плакали от счастья, дети плясали. И, конечно, каждый торопился разжечь очаг и поставить на него котел. Давно джизакцы не ели шурпы, да еще с мясом.

Я вертелся около каравана, разглядывая верблюдов, увешанных по казахскому обычаю цветными лентами и бусами. Погонщики ушли в один из самых больших камышовых шалашей, чтобы отдохнуть с дороги и поговорить с нашими отцами о судьбе человеческой, о несчастье, которое постигло джизакцев. Не знаю, что решили старики, видимо, дело ограничилось соблезнованием. Но и слово участия тоже было дорого изгнанникам. Во всяком случае, когда беседа окончилась и казахи вышли из шалаша, их провожал весь табор. Люди обнимали дорогих гостей, помогали им взобраться на верблюдов и лошадей, долго шли за караваном, произнося добрые

напутствия, махая руками и кланяясь. Я бежал рядом с лошадьёю старика. Мне было интересно смотреть, как он правит своим конем, как, покачиваясь в седле, бормочет что-то и иногда хмурит брови. До самых камышей так бежал я, выполняя неосознанный долг гостеприимства, прощаясь с людьми, что подарили нам хлеб и мясо.

Здесь, у камышей, мы расстались. Караван потянулся в бескрайнюю степь, за холмы и заросли тростника а я вернулся в табор.

Дара казахов хватило ненадолго. Снова по степи забродили джизакцы в поисках пшеничных стеблей и съедобных корней. Какими-то неведомыми путями отчаянные джигиты добывали кукурузу и даже рис. Говорили, будто ночами они, тайком от казачьих разъездов, пробирались в дальние аулы и кишлаки и там выпрашивали или выменивали на вещи зерно. На джизакцев нельзя было смотреть без сострадания. Они похудели, потемнели, прокоптились, кажется, до самых костей. Ветер и солнце иссушили кожу, и она шелушилась, собиралась морщинами. Губы мои, например, потрескались и кровоточили. Во рту вечный скрежет песка, на глазах красная опухоль от того же песка и ветра. И ко всему этому — вздутые голодные животы. Мы, словно, волчата, рыскаем всюду — не встретится ли где зернышко или корешок. Нора суслика — находка. Целой ватагой штурмуем ее, пытаясь вызволить несчастного, насмерть перепуганного зверька.

И все же, несмотря на голод, на почти дикие условия существования, жизнь продолжалась. Однажды ночью мы проснулись от крика младенца — в степи родился новый человек, сын не то гончара, не то кожевника. Но чаще люди просыпались от воплей — кто-то покидал этот мир, мир страданий и унижения. За холмом вырастали одна за другой могилы. Муллам не убавлялось работы, и в степи они собирали медяки и гривенники, горсти зерна, щепотки соли. Горе всегда усиливает веру в чудо. Игрались и свадьбы — роднились шалаш с шалашом, табор с табором. Все обряды при этом соблюдались: по степным «махаллям» проводили жениха и невесту, пели песни, гремела дойра, заливался сурнай. Но вот пиршества не было. Все обходилось касой чистой колодезной воды.

Дочь старшей сестры вышла замуж тоже в степи. Помню Норанбуви, так звали ее, горько плакала перед свадьбой, и не потому, что не любила жениха или не хотела покидать отчий дом, — ей было обидно терять радость которую несет с собой праздничное торжество. Ведь голодным людям не до веселья, а весь дастархан состоял из блюда с жареной пшеницей и пиал, наполненных водой.

Жизнь продолжалась, но она становилась все невыносимее. Впереди осень, потом зима с морозами и метелями, а джизакцы защищены лишь камышом. Все чаще и чаще раздавались голоса отчаяния:

— Лучше смерть скорая, чем муки бесконечного голода.

Молитвы не помогали. Никто на небе и на земле не внимал жалобам джизакцев. Слезы — а их было пролито море — высыхали, чтобы снова оросить глаза наших матерей.

Старики разуверились в могуществе мулл, а может быть, и не разуверились, а просто поняли, что под лежащий камень вода не течет. Как-то они собрались в шалаше и стали думать — кому адресовать мольбу о спасении изгнанных. Поскольку джизакцев охраняли солдаты, их командиру и направили свою просьбу и свои требования. Помню, послов — самых старых и самых мудрых джизакцев — посадили на лошадей проводили за холмы. Провожали мужчины, и было их много — чуть ли не все, кто жил табором у старого и новых колодцев. Седобородые восседали на конях, одетые в светлые халаты, предназначенные для торжественных случаев, головы венчали большие белоснежные чалмы. И послы и провожающие молчали, в глазах стояла тревога — никто не знал, чем кончится эта поездка. Вернутся ли старики?

Весь день табор ждал возвращения послов. Люди выходили на ровное место, откуда была хорошо видна даль, и смотрели в степь. Старики приехали перед закатом солнца. Джизакцы обступили своих посланцев и забросали их вопросами. По лицам стариков можно было догадаться, что привезли они хорошие вести. Оказывается, их гостеприимно принял командир охраны и пообещал передать просьбу уездному начальнику.

— Теперь все во власти бога. Будем терпеливы и

благоразумны, — сказал самый старый из послов.

И вот джизакцы, набравшись терпения, принялись ждать решения своей судьбы. Во время утреннего намаза, и в полдень, и вечером раздавались молитвы обращенные к аллаху. Джизакцы просили милости у всевышнего.

Первое время мольба была горячей. Люди считали, что от силы слова, от обилия слез зависит их счастье. Мне матушка постоянно напоминала о небе:

— Молись, дитя мое... Молись!

Матушка, да и остальные джизакцы, не ведали об истинной силе, творящей чудо. Вся Россия была охвачена волнениями. Рабочие бастовали в Петрограде, Москве, Баку, Иванове. Положение царских войск на фронте было тяжелым. В деревнях вспыхивали голодные бунты. Назревала революция. Трон Николая покачивался от ударов, которые становились все сильнее и сильнее. Страх вынуждал царя идти на уступки.

Этого не знали загнанные в безводные степи Учтепе джизакцы. И если бы даже узун-кулок — длинное ухо — донес весть о событиях в России, слуги неба легко обратили бы ее в знамение бога, в проявление воли всевышнего. Никто из них не хотел связывать восстание в Джизаке с волнением против самодержавия в России. Веротолкователи изображали его как священный бунт мусульман. Поэтому и спасение искали у пророка, к нему обращались за содействием. И когда наступил час, переменявший судьбу изгнанников, священнослужители призвали джизакцев воздать хвалу и благодарность аллаху. До истины не додумались или вернее не хотели додумываться. Она была им не нужна, не выгодна, мешала. До камышовых хижин Учтепе она не дошла.

Не ведал о ней и я, конечно. Мир передо мной расстилался лишь до холмов, а что за ними, мы, мальчишки, не знали. И вот из-за этих холмов, подобно птице или весеннему ветру, прилетела весть.

Как обычно, мы собирали в степи пшеничные колосья и забрели далеко-далеко. Камышовое селение наше исчезло с глаз, и только по змейкам дыма угадывалось в желтом мареве. Был полдень, солнце, как всегда, пылало во всю свою силу, и наши головы и пятки хорошо

его чувствовали. Занятые делом мы редко поднимали глаза, поэтому когда Акил сказал: «Кажется, кто-то скачет вдаль», я не сразу разогнул спину и не сразу глянул в сторону холмов. Лишь после нового возгласа: «Верно, скачет», я выпрямился и посмотрел.

В самом деле, со стороны Джизака приближался всадник. Приближался довольно быстро. Над ним вилось легкое облако пыли, и оно все росло и росло. Даже издали было видно, как поднимается рука человека, вооруженная камчой, и как резко падает: всадник нахлестывал коня.

Почему-то мы напугались и заторопились домой. Подобрали колосья, уложили их в растянутые подола рубах, побежали что было духу к табору. Я говорил, что в тот день мы забрались очень далеко и, конечно, не могли быстро одолеть такое расстояние. Всадник догнал нас еще в степи, у холмов.

— Эй, вы, голопятые, куда спешите? — окликнул он нас и сдержал своего скакуна, который был весь в пене и натужно дышал.

— Домой! — ответили мы испуганно.

— А что это у вас в подолах?

Мы показали колосья пшеницы и объяснили, что собираем их в степи. Всадник удивился и посмотрел внимательно на сбитые в охапки верхушки стеблей.

— И что же будете с ними делать?

— Жарить и есть...

Он был наивный человек, этот всадник, не верил, видно, что можно питаться жареным зерном. Или никогда не пробовал его. Но говорил он искренне, и голос его звучал ласково.

— И это вся ваша еда?

— Вся...

— Не густо, — покачал головой всадник. — А я хотел потребовать с вас награду за радостную весть.

Усы его раздвинулись в веселой улыбке, и глаза лукаво сощурились.

Мы дружно вцепились в незнакомца:

— Какую весть, дяденька?

— Какую! Дайте хоть колос, — сказал всадник.

Я и Акил протянули ему по целой горсти колючих колосков. Предчувствуя что-то необыкновенное, мы готовы были все собранное в степи бросить ему в руки.

Взамен получили одно лишь слово. Какое слово!

— Свобода!

Трудно передать, как мы его приняли. Вначале онемели от счастья. Смотрели на всадника широко распахнутыми глазами, в которых было и изумление, и восторг, и благодарность. А потом заорали, будто сумасшедшие:

— Ур-ра!!! Свобода! Свобода!

Всадник кивал головой, подтверждая сказанное, и тоже готов был, кажется, кричать вместе с нами. Он улыбался во весь рот, обнажая ряд белых, веселых зубов.

— Изгнание отменено, — еще успел он сказать нам, перед тем как хлестнуть коня и снова поскакать. — Возвращайтесь домой!

Вот оно, выражение свободы, — возвращайтесь домой! Что еще может означать это слово. Ничего. Да нам и ничего больше не нужно. Домой! В родной Джизак!

И мы бежали с Акилом по степи и орали до хрипоты, до звона в ушах:

— Домой! Домой!

А в таборе уже все поднялось. Толпа окружила всадника и смеялась и плакала. Под ноги коню бросали самое дорогое, самое необходимое — кто чапан, прямо сняв его с плеча, кто бельбаг, распоясавшись, кто шапку или тюбетейку. Женщины выносили сюзане и курпачи. За такую радостную весть ничего было не жалко. Гора подарков росла, и скоро всадника не стало видно под этими приношениями. Он прижимал руку к сердцу, кланялся и шептал:

— Да будет ваше возвращение счастливым!.. Мир и благословение Джизаку...

Снявшие чапан или бельбаг и одарившие гонца обнимали детей, подбрасывали их, целовали. Брат кидался на шею брату, сосед — соседу. Никогда я не видел такого удивительного проявления радости — радости, которая охватила всех. И где все это происходило? В степи. Голый степи, сожженной солнцем, иссушенной ветрами.

Через час, а может и раньше, табор снялся с места и потек по равнине в сторону Джизака. Нагруженные скарбом, с детьми на руках люди шли дорогой, которая была полита недавно их слезами. Теперь она казалась им благословенной. Они спешили, не обращая внимания на жестоко палящее солнце, на жажду, что с первых шагов уже поселилась в них и начала донимать. Но что солнце, что жажда? Впереди Джизак. Родной Джизак, и путь к нему открыт...

Я иду вместе со всеми. Иду домой. Для меня нет ничего дороже и светлее, чем наш сад и двор, где прошли радостные дни детства, где все мило сердцу. И перец глазами стоят тихие деревья, пылают огонь очага, дремлет вода в хаузе...

Все, все как прежде...

Не могу, не хочу думать, что там пыль и пепел! А там — пепел... Только пепел.

### **Холм скорби**

Да, нас встретил разрушенный и испепеленный Джизак. Встретил тишиной. Первыми звуками, которые родились в городе после месяца безмолвия, были стоны и вопли женщин, павших на камни своих жилищ.

И все-таки это был родной дом. Знакомая калитка, знакомая супа, приветливые деревья. Мы расселись на пороге террасы и сложили свои пожитки, принесенные из табора.

— Начнем жить снова, — сказала матушка, вытирая слезы. Грустно сказала, и мы поняли, что жить снова нелегко, и радость надолго-надолго покинула нас.

Вокруг, в соседских дворах, тоже плакали матери. Возвращение превратилось в праздник печали. Вместо того, чтобы петь песни и веселиться, люди вздыхали и роняли слезы. И опять слезы эти были не последними.

Уже на другой день стало известно, что уездный начальник назначил новых мингбаши и элликбаши, — нашлись среди джизакцев люди, пожелавшие служить царю. Нашлись желающие взять в руки плеть и палку и обрушить их на головы обездоленных. Раскопали где-



то и списки мардикеров, те самые списки, из-за которых вспыхнуло восстание и пролилась кровь. Все пошло вспять.

Поползли по Джизаку слухи:

— Полиция ловит зачинщиков бунта. Кто выдаст Дамина, первым бросившего камень в мингбаши, тому обещают много денег.

Дамина никто не выдавал, а может, его и не было в Джизаке. Нигде не было. В степи люди не встречали гончара. А вот остальных главарей поймали, и теперь они сидят в тюрьме. В кандалах оказались и двое товарищей моего старшего брата Урдушмат и Курбанбай.

Обоих я знал и не раз видел на «гап-гаштаках». Урдушмат был добрым парнем, защищал меня, когда брат хотел прогнать с вечеринки. А Курбанбай считался в махалле заводилой молодежи, сильным и смелым человеком. На него я смотрел с восхищением. Теперь этих двух джигитов должны казнить. Так говорили соседи, так говорил мой отец. Казнить! Я еще не представлял себе, что это значит, но страх и боль сжимали сердце, когда слово смерть произносилось кем-нибудь. А казнь и есть смерть, только насильственная.

Судьба уготовила мне еще одно испытание — заставила увидеть смерть.

Все дни, после того как стало известно о новой мобилизации на тыловые работы, молодежь проводила в Каландархане. Озабоченные и удрученные джигиты толпились на аллеях, прислушиваясь к каждому слову, залетавшему в город. Мы, мальчишки, тоже вертелись в Каландархане.

В то утро на аллеях было особенно людно. Чего-то ожидали джизакские парни. Возможно, приказа царя. Ведь списки давно составлены и уточнены. Поэтому, когда в Каландархану въехал на своей мохнатой длинногривой лошаденке глашатай Эргаш, толпа смолкла. Все повернулись в сторону всадника.

Кто не знал весельчака Эргаша! Всегда улыбчивый, с лукавым прищуром глаз, он казался нам олицетворением доброты и спокойствия. Любого встречного Эргаш приветствовал душевным словом, а если затевал разговор, то пересыпал свою речь смешными словами, от которых даже самый скучный человек начинал

улыбаться. К старому и малому он обращался одинаково: «деточка моя!» Это обращение стало вторым именем Эргаша. Увидев глашатая, люди говорили: «Вон Деточка идет!» Мы тоже, встречая на улице Эргаша-ака, кричали громко: «Здравствуйте, дядя Деточка!» Он, смеясь, отвечал: «Здравствуйте, деточки мои!» Не знаю, чем жил этот человек, но жил легко, с улыбкой, хотя благополучия и тем более довольства в облике его заметно не было. Он ходил в поношенном яхтаке, в таких же поношенных штанах и дырявых кавушах, но на голове красовалась чистая синяя чалма, аккуратно повязанная.

Эта чалма была и сейчас на Эргаше-глашатае. Одна она осталась от прежнего «деточки», ибо яхтак состоял из тысячи заплат, штаны обтрепались, кавуши широко разогнули пасть — и пальцы ног глядели из-за стремян на свет божий.

Эргаш-глашатай был маленького роста, но вместе со своей маленькой лошадкой все же возвышался над толпой. Прежде чем начать речь, он приосанился, поклонился людям, упер черенок камчи в правый висок, как это делают муэдзины, и произнес нараспев:

Мир вам, люди, мир обездоленным джизакцам!

Кто слышит меня, пусть внемлет, кто услышал, пусть передаст другому!

Братья мои, малые и великие, бодрствующие и немощные:

Мельники, запорошенные мукой,

Мясники, испачканные кровью,

Кузнецы, задымленные горнами,

Гончары, породнившиеся с глиной,

Дехкане — труженики земли,

Чайрикеры и мардикеры,

Конюхи и пастухи,

Матери и сестры!

Так обычно звучало вступление к приказу, который объявлял глашатай. Но люди насторожились. Тон был тревожный и скорбный, слова Эргаша будто пробивались сквозь слезы. Если бы даже не звучала тревога и скорбь, ее услышали бы люди. После восстания и разгрома Джизака все ждали только печальных известий. И они не ошиблись.

Глашатай запел еще громче и взволнованнее:  
Братья, сомкните губы, чтобы не застонать,  
Остановите сердце, чтобы не заплакать.  
На высоком кургане стоит столб,  
На столбе тугая петля!  
Петля эта ждет друга нашего и защитника,  
Смелого и мужественного,  
Честного и бесстрашного,  
Бросившего камень в злодеев, что мучили народ  
Ждет несчастного Мухаммади,  
Сына рода Хамраевых.  
Последние часы он видит небо.  
Последние часы в родном Джизаке.  
Руки его тянутся к детям.  
Губы шепчут слова прощания.  
А палач уже торопит.  
Уже накидывает саван!  
О люди, о сыны Джизака,  
Не оставьте обреченного одного.  
Разделите боль умирающего!  
Кто сидит, пусть встанет,  
Кто стоит, пусть заторопится!  
Бегите к кургану, люди добрые,  
Там ждет вас Мухаммади!  
Глашатай Эргаш смолк, стер слезы с лица. Потом сказал тихо:  
— Казнь состоится в полдень...

Сказал тихо, но все услышали: Каландархана, подобно кладбищу, была безмолвна, хотя тысячи людей стоя ли на ее аллеях. Горе молчаливо...

Эргаш уехал на своей маленькой лошаденке, и, пока не утонул вдали стук ее копыт, джизакцы безмолвствовали, словно ждали возвращения глашатая. Потом заговорили. Какие это были слова? Проклятия и молитвы. Джизакцы посылали тысячи бед на голову убийц, сжимали кулаки, грозили далекому, невидимому царю. И, проклиная, торопливо просили прощения у всевышнего, умоляли

принять душу несчастного Мухаммади на небо. Молили пожилые — молодежь только кляла царя.

Потом толпа двинулась через город к холму, туда, где стояла виселица.

Я побежал домой, чтобы сказать матушке о казни. Не столько желание известить ее вело меня туда, сколько потребность поделиться чувствами, которые теснили сердце, мучили, бросали в отчаяние. Матушка уже все знала. Она обняла меня и произнесла горестно:

— Пойдем и мы, сынок! Это не зрелище, а молитва перед похоронами. Пусть Мухаммади увидит: как любит его народ, как принимает на себя часть его мук. Это укрепит его силы, поможет перешагнуть мужественно страшный порог...

Мы пошли.

Еще недавно курган был цветущим садом Джизака. На склонах ютились дома, зеленели сады, бежали во все стороны бесчисленные тропы. Гудел, шумел, суетился и трудился курган. Он как бы стекал всеми своими строениями на базарную площадь, раскинувшуюся у подножия. Вместе с базаром курган был снесен артиллерийским обстрелом, перепахан, сожжен. Теперь он напоминал пустырь со следами дувалов, стен и очагов. На самой вершине, среди камня и пепла, стоял высокий столб с перекладиной и петлей.

Виселица! Вот она какая. По-узбекски ее называют «дор», то есть канат. Обычно мы под этим словом подразумевали натянутую веревку, по которой передвигаются канатоходцы во время представления. В Джизаке славился канатоходец Ташпулат, и мы бегали смотреть на него и кричали: «Дор! Дор!» Оказывается, «дор» бывает и таким, привязанным к перекладине и заканчивающимся петлей.

Виселица стояла одиноко на вершине, а внизу толпились люди. Они опоясали холм и, как море, подкатывались к нему волнами. Полицейские нагайками и саблями отгоняли джизакцев, теснили к базару.

День прощания с Мухаммади выдался прохладным и ветреным, небо то оголялось, открывая ясную осеннюю голубизну, то

затягивалось облаками, и они проплывали над курганом низко-низко, бросая печальную тень. Тень двигалась, и нам казалось, что движется сам курган и виселица на нем.

Назначенный час долго не наступал. Я понял: все страшное приходит не сразу. Его надо ждать, надо исстрадаться, измучить сердце, испить всю чашу до дна. Полдень минул, солнце стало клониться к западу, а ничего не происходило. Ноги подкашивались у людей, а они один за другим опускались на землю, на камни и золу.

И вдруг крики:

— Везут! Везут!

Мы повскакивали с мест, чтобы увидеть Мухаммади. Но ничего не увидели. Толпа загораживала дорогу. По ней, должно быть, двигался кто-то. Там стоял шум, оттуда доносилась ругань полицейских и слова команды:

— Назад! Вам говорят, назад!

Наконец дорога вывела невидимое на склон, и взгляд мой выхватил из толпы колеса кокандской арбы с навесом из ковра. Арба катилась к вершине, плотно окруженная солдатами. Они держали наизготове винтовки, и штыки поблескивали строго. Народ, не обращая внимания на оружие, хлынул к арбе, окружив ее живым кольцом.

— Мусульмане! — завопили полицейские. — Не будьте безрассудными, остановитесь! Или мало пуль вы сглотнули за это время. Поднимите глаза на стены Урды, там пулеметы...

Со стороны крепости, или как она называлась в Джизаке — Урда, на толпу действительно смотрели пулеметы. Ни шагу не сделали больше джизакцы, лишь один мальчонка выскочил вперед и с криком «Папа! Папочка!» кинулся к арбе. Полицейский Талип перегородил ему путь конем.

— Ты тоже хочешь умереть, несчастный? Эй, женщина, возьми ребенка, двух жертв бог от тебя не требует сегодня...

Чьи-то руки утянули мальчишку назад в толпу, но Талип успел на прощание стегануть его плеткой.

Этого мальчика я знал, звали его Хакимджан, и был он сыном Зия-кары. Почему он побежал к арбе? Ведь на ней везли Мухаммади,

так всем объявил глашатай. Или власти совершили обман, скрыв от людей истинное имя смертника. Позже, спустя много лет, Хакимджан объяснил мне свой поступок. «Накануне мы с матушкой были в тюрьме, рассказал он, и виделись с отцом. Его вывели к нам в цепях, очень худого и грустного. Но он не плакал. Плакала матушка, ей уже сообщили о смертном приговоре. Двадцать три человека ждали казни, и в числе их мой отец. Подойти к нам близко отцу не разрешили, он стоял шагах в двадцати, охраняемый тюремщиками. Я смотрел на него и не понимал, почему это последняя встреча. Детское сердце слишком маленькое и слишком светлое, чтобы вместить в себя все истины мира. Мне казалось, стоит лишь захотеть, и все переменится: упадут кандалы, разрушатся стены, и отец подойдет к нам, обнимет и скажет что-нибудь ласковое, хорошее. А он сказал: „Надеяться больше не на что. Такова уж воля божья, от судьбы не уйдешь. Сегодня или завтра нас казнят. Прощайте!“ Матушка упала, я с братьями начал ее поднимать, а тюремщики увели отца. Он крикнул еще раз: „Прощайте!“ Всю ночь мы не спали. Матушка все шептала: „Вот сейчас... Сейчас он покинет нас...“ Перед рассветом ей стало совсем плохо, мы боялись, что она умрет. А утром объявили казнь. Значит, отца еще не убили, значит, мы увидим его снова. Как в тумане я шел к кургану, люди называли имя Мухаммади, а мне слышалось Зия-кары. И вот когда раздался крик „Везут!“, я кинулся к отцу...»

Никто не знал истины. Я тоже. Арба остановилась у вершины, двое солдат сняли с нее носилки, покрытые белым полотном и понесли к виселице.

— Кто? Кто это? — шумели люди.

— Почему он на носилках и покрыт саваном? Разве он ранен?

— Мы знали его здоровым, — пожимал плечами Талип.

— И мы тоже, — подтверждали джизакцы. — Не так-то легко было надеть на него цепи. Если бы не предательство Махмуда-сокола, то неизвестно еще, состоялась бы эта казнь или нет!

Около виселицы солдаты опустили носилки, сняли с них что-то завернутое в белое и положили на скамью, заменявшую помост.

— Кто же это?! — еще громче зашумели люди. — Назовите имя!

Не один Хакимджан сомневался. Семьи двадцати трех

приговоренных находились у подножия и ждали казни, и каждый сын приговоренного, каждая мать боялась увидеть родное лицо. Все-таки жила в их сердцах надежда... Не убьют. Сегодня не убьют. Он еще будет жить!

То ли желая успокоить народ, то ли соблюдая порядок, двое офицеров вышли вперед и остановились перед толпой.

— Слушайте, люди! — крикнул полицейский. Толпа смолкла.

Старший из офицеров надел очки, развернул бумагу и громко, но совершенно непонятно для слушающих, что-то прочел. Люди уловили лишь одно слово — Мухаммади.

Едва офицер закончил, подбежал Анварбек и, приняв бумагу, перевел приговор на узбекский язык. Он был длинным, этот приговор, но главное оказалось коротким и стояло в самом конце — смертная казнь через повешение.

Люди способны ждать терпеливо до этого последнего слова, хотя оно уже известно заранее. Или им кажется, что оно не прозвучит, затеряется по дороге. Надежда живет, теплится даже за гранью истины.

— О боже, дай мне умереть вместо него.

Так встретила мать Мухаммади известие о казни. Ее крик разнесся над холмом и ожег всех, словно огонь. Больно и страшно стало людям. Он один, Мухаммади, отдавал жизнь за них, за это огромное людское море, притихшее у подножия виселицы. И люди застонали, заплакали. Что еще они могли сделать!

Саван ожил. Мухаммади услышал крик матери. Наверное, сердце его откликнулось на зов, но губы были сжаты и руки связаны. Мы убедились в этом, когда солдаты откинули саван. Но не сейчас. Сейчас Мухаммади лежал на помосте, прикрытый белым полотном, и полотно это колебалось.

— Дитя мое!

Узник мучался, и народ не мог смотреть на страдание обреченного. Джизакцы закричали:

— Вешайте! Вешайте скорее!

А потом бросили самому Анварбеку:

— Негодяй, что же ты тянешь! Или мало тебе наших мучений.

Хочешь продлить их и на том свете.

Испуганный Анварбек замахал руками:

— Сейчас, сейчас... Успокойтесь!

И, когда люди затихли, он пояснил причину задержки:

— Перед смертью осужденному дадут слово, последнее слово, и вы его услышите...

Солдаты по знаку офицера подняли Мухаммади и поставили на помосте под перекладиной. Анварбек развязал конец савана, откинул край, и народ увидел узника. Он был обвит веревками, а во рту торчал кляп. На глазах лежала черная лента.

— Выскажи свое желание, Мухаммади, — обратился к осужденному Анварбек. — Закон предоставляет такое право человеку перед казнью.

Солдат вынул изо рта Мухаммади кляп, чтобы узник мог говорить.

— Откройте глаза и развяжите руки, — произнес устало, с отдышкой Мухаммади. — Хочу умереть свободным...

Он был измучен ожиданием смерти. Бледное лицо вздрагивало то ли от волнения, то ли от боли. После каждого произнесенного слова Мухаммади облизывал спекшиеся губы.

Просьба осужденного вызвала некоторое замешательство у офицеров, они посоветовались, и старший передал свое решение Анварбеку. Тот кивнул солдатам, чтобы сняли повязку.

— Глаза откроем, — объявил переводчик узнику, — но руки останутся связанными. Можешь говорить! Ты понял, Мухаммади, это твое последнее слово, и обрати его к близким. Простись с ними! Не злоупотребляй правом, которое тебе предоставлено. Будь благодарен.

Черная повязка спала с глаз Мухаммади, и он увидел нас, стоявших внизу, под курганом. Увидел небо с плывущими облаками. Люди вначале зашумели, будто произошло что-то радостное, потом смолкли. Наступила тишина, неповторимая тишина. Все ждали слов Мухаммади, последних слов перед смертью.

И он сказал:

— Братья! Я счастлив, что могу взглянуть вам в глаза. Мои



товарищи покинули этот мир, простившись с родным Джизаком. Сейчас он разрушен, лежит под пеплом, но он возродится, и вы увидите его счастливым. Увидят дети мои Юсуфджан и Рохатой и тот третий, кого ждет жена моя. Если родится сын, нареки его, душа моя, Урин-палваном, если дочь — пусть носит имя Уриной. Матушка, не зовите смерть свою! Живите, чтобы растить внуков и правнуков...

Он замолчал, и солдаты заторопились накинуть на лицо его саван. Мухаммади замотал головой, сопротивляясь насилию:

— Последнее мое желание!

Анварбек понял, что осужденный хочет сказать недозволенное и дал знак барабанщикам, стоявшим за виселицей. Те подняли палочки, но прежде чем раздалась оглушительная дробь, Мухаммади успел крикнуть:

— Желаю смерти царю!..

Еще что-то крикнул осужденный — за грохотом барабанов ничего не услышали джизакцы. Петля обхватила шею Мухаммади, палач выбил из-под ног его скамью, и тело в белом саване, несколько раз дрогнув, замерло.

Склоны кургана огласились стонами тысяч людей. Я тоже крикнул, а может, и не крикнул, выдохнул боль, которая сжимала сердце. Оно не принимало смерти...

## **Возвращение сыновей**

Пролетел над Джизаком ветер смерти, отшумел слезами и стонами и не успел затихнуть, как новое горе пало на город. Мингбаши объявил отправку мардикеров.

Снова слезы! Будет ли им конец, думал я, слушая стенания женщин. И вообще бывает ли жизнь без слез?

Мардикеров провожал почти весь город. Без меня, конечно, не обошлось. Шествие, помню, началось с окраины. После бани, одетых во все новое — светло-зеленые, почти желтые, бушлаты и шаровары — мобилизованных повели к станции. И следом потянулись семьи: матери, сестры, братья. Все с узелками. Что смогли голодные джизакцы, то принесли с собой — кукурузные лепешки, сушеный

урук и изюм. Каждый отрывал от себя последнее, лишь бы сытой оказалась дальняя дорога. А что она дальняя, никто не сомневался. Ведь мардикеров везли на север. Далекий страшный север. Чего не слышали о нем джизакцы!

В колонне шагал мой дядя. Он был самый бодрый и самый веселый. Так мне казалось. Его тяжелые ботинки громко стучали, шапка заломлена на затылок — всем своим видом он показывал, что не боится ни севера, ни морозов, ни царя. Дядя Джура относился к числу тех людей, которые никогда не унывают. Я хотел идти с ним рядом и то и дело пристраивался к колонне, но элликбаши и полицейские отгоняли меня, грозили нагайкой.

Впереди мардикеров, в самой голове колонны, шагал джизакский поэт Махмудхан и пел песню:

Провожая нас, не плачьте!

Сердца свои не печальте!

Матери, прощайте,

Сестры, прощайте!

А матери плакали, и сестры плакали. Джизакцы, провожая мардикеров, не надеялись увидеть их снова. На вокзале у эшелона, вытянувшегося цепью красных вагонов, мобилизованных отпевали как покойников. Кое-кто из мардикеров тоже всплакнул. Что ж, впервые в жизни они покидали родной дом и пускались в дальний путь. Один дядя, кажется, не разделял общего уныния. Сев в вагон, он сказал:

— Мы вернемся...

Весело и твердо сказал. И я этому поверил.

Проводили мардикеров глубокой осенью, когда холод уже пал с гор и деревья оголились. Какая-то тревожная тишина поселилась в городе после проводов. И без того пустынный, разрушенный Джизак стал еще пустыней и мрачнее. Улицы обезлюдели. Джизакцы забились во дворах.

Существует ли мир за пределами Джизака, никто не знал. Никто со стороны не заглядывал в город, словно он был заражен чумой или холерой. Его боялись — он наказан...

Новости приносили забредавшие за пределы Джизака в поисках

хлеба, не попавшие под мобилизацию отцы или деды. В наш дом новости привозил отец. Привозил часто, но делился ими обычно с матерью. Боялся, что дети сболтнут по наивности что-либо недозволенное соседям и тем самым навлекут на семью беду.

Но однажды отец поведал новость всем. Это было зимой, в самом конце ее, когда особенно зол мороз и свирепы бураны. Мы сидели у сандала, лоя тепло скучных угольков, и пили чай, напоенный на ягодах. Дверь распахнулась — в комнату вбежал отец, взволнованный и просветленный, словно его коснулось весеннее солнце. Он, кажется, даже улыбался.

— Ташкентская! — крикнул он. — А царя-то нет! Нет больше царя...

Мы, дети разинули рты от удивления. А матушка подняла брови, потом покачала укоризненно гс то-вил.

— Если решили шутить, то не таким словом...

— Э-э! Какое там слово. Нет ни слова, ни самого царя. Свергли Николая, понимаешь, ташкентская! С тебя бы надо дорогой подарок за такую вест, да где его взять. Дай хоть пиалу чая...

Теперь матушка поверила. И как это бывало с ней в минуту сильного волнения, всплеснула руками.

— Вай! Нет царя... Да кто же сверг его? Только богу одному это дано...

— Много ты понимаешь! Николая прогнали русские рабочие. И мы помогли падению Николая... Наливай, наливай чай, да погорячее, надо согреться по такому случаю. Теперь будем ждать еще новостей...

Нет царя! Нет царя! Мне хотелось выбежать на улицу и стучать во все калитки.

— Нет царя!

Но матушка охладила мой пыл. Она сказала:

— пусть эта новость будет правдой! Но не детское дело разносить ее. Нет страшнее слова, чем «царь».

Она боялась царя, все еще боялась. И напрасно. О свержении Николая уже знал Джизак, и люди высыпали на улицу, горячо обсуждая новость. Город снова зашумел.

Прошло несколько дней, и из тюрьмы выпустили джизакцев, осужденных за участие в восстании. Город встретил их радостно. Я видел Урдушмата Атабаева и Курбанбая Уринбаева, шедших по улице в тюремной одежде. А вечером в чайхане народ слушал их рассказ.

— Нам повезло, — говорил Урдушмат. — Смертный приговор остался в силе, и, не прогони русские Николая, не миновать бы мне и Курбанбаю виселицы. А тут вдруг распахнулась дверь камеры и надзиратель крикнул: «Идите!» «Куда?» — спрашиваем. — «Как куда! — отвечает надзиратель, — на свободу!» И уже у ворот пояснил: «Царя больше нет...»

Вслед за узниками стали возвращаться мардикеры. Поодиночке. Худые, измученные, но не печальные, как в день отъезда. Их будто подменили. Покорность во взгляде исчезла, глаза горели живым, смелым огнем. И речи их были смелыми.

Мардикеров встречали как героев. И это понятно. Ведь они вернулись из тех мест, где совершилось великое событие — свержение царя. Стоило мардикеру заглянуть в чайхану, как тотчас его обступали джизакцы.

— Ну как там? — спрашивали они. — Трудно ли?

— Трудно, — отвечал мардикер. — Лучше не вспоминать. И холодно, и голодно, и работа тяжелая: кто в лесу, кто на железной дороге, кто на соляных копях, а кто и в рудниках. Если сказать прямо, то нашему человеку, джизакцу, это все не под силу. Но работать надо было: кто не работал, тому не давали хлеба. Вот и прикиньте, как там...

Не все мардикеры умели толком поведать джизакцам о пережитом. Но были и такие, что увидели, кроме заснеженного леса и дымного барака, настоящую Россию, русских рабочих, борющихся с царизмом, и передали увиденное своим землякам. Один такой рассказ я слышал.

— Нам хотелось одного — умереть на родной земле, — вспоминал сын Мукима из Мулкалика. — Но земля наша была далека, и пешком до нее не дойти. Да и жить одной надеждой на смерть нельзя. Оказывается, лучшая дорога человеку — дорога борьбы. Мы о

ней не сразу узнали и пребывали в горе и отчаянии. Нашелся человек, который открыл нам глаза. Он пришел со стороны и сказал: «Ассалам вaleyкум!» Нам приятно было услышать это приветствие. Знакомый вроде человек. Имени, правда, не назвал своего, да мы и не спросили. Говорил он по-татарски, и люди его понимали. О чем он говорил? О том, что надо держаться сплоченно, защищать товарищей, добиваться лучшего питания. В ближайшие же дни слова нашего друга мы воплотили в дело. Мардикеров, не способных работать, комендант оставлял в бараке и лишал обеда. «И вы не ходите на работу, не принимайте обед!» — посоветовал татарин. И мы не пошли. Объявили голодовку. Начальники забегали по баракам, сразу же отменили изоляцию для больных и обессиленных, увеличили паек. С тех пор забастовка и голодовка стали нашим оружием против военного коменданта.

— Становитесь настоящими пролетариями! — хвалил нас татарин.

В барак он обычно приходил с гостинцем: то принесет хлеб, то картошку. Где он доставал все это, мы не знали, но были рады помощи — голод давал себя знать.

Как-то татарин вместо гостинца принес красную материю.

— Прикрепите к шесту, — сказал он. — Будет флаг. Завтра в два часа загудят все паровозы на станции. Это сигнал. Бросайте работу и идите на привокзальную площадь!

На наших лицах выразилось недоумение и тревога. Никто из нас еще не участвовал в демонстрациях и митингах.

— Не бойтесь, — успокоил нас татарин. — Не одни пойдете. На площади будут русские рабочие.

Флаг поручили нести мне. Это большое доверие и большая ответственность идти впереди колонны. На полотне написали очень смелые слова: «Конец войне! Долой самодержавие!» Написали по-русски, но татарин перевел их нам, и мардикеры запомнили.

В то утро работа не клеилась. Сердце каждого было наполнено тревогой и ожиданием. В полдень к нам подошли русские рабочие, и сразу же раздался гудок паровоза. Одного, другого, третьего. Мы бросили лопаты и стали в колонну вместе с русскими. К нам

присоединились еще люди, и когда колонна зашагала к площади, то вся улица была заполнена и стала похожа на весеннее поле, усеянное тюльпанами. Это горели красные флаги и полотнища, призывающие кончить войну. Рабочие пели песни. Под песню очень легко шагалось.

На нас несколько раз нападали полицейские, но русские рабочие давали им отпор — бросали камни, вырванные прямо из мостовой. Никогда еще я не видел такой сплоченности и такой смелости. Оказывается, в сплоченности — великая сила. Только так можно победить.

Это была первая наша демонстрация вместе с русскими рабочими. Потом состоялась вторая. Мы уже поняли что к чему и охотно выходили на улицу по сигналу гудков. Последний раз рабочие собрались на митинг в день свержения царя. Все поздравляли друг друга, обнимали, целовали. Нам один старый рабочий сказал:

— Ну братцы, теперь скоро поедете домой. Конец Николашке!

И верно, через неделю началась отправка мардикеров в родные места...

Рассказ сына Мукима произвел на меня большое впечатление. Не жалость, не сочувствие к этим измученным, уставшим людям вызвал он во мне, а восхищение. Дома я поведал все отцу. Он выслушал меня, потом, поразмыслив, сказал:

— Вернулись сыновья Джизака, но не те, которых мы провожали. Совсем не те...

### **Под пеплом — огонь**

Отец сидит на корточках, прислонясь к столбу, что подпирает террасу, и дремлет в теплых лучах сентябрьского солнца. А может, и не дремлет. Но глаза закрыты, и лицо какое-то расслабленное, отрешенное...

Как он изменился за это лето. Постарел, подрыхлел, стих. Вот так часами может сидеть на солнце и предаваться своим невеселым мыслям. Откуда я знаю, что мысли его невеселые? Конечно, отец не делится со мной, да и вообще ни с кем не делится ими, но ведь нетрудно догадаться, что на душе у человека, который вернулся в

родной город и увидел пепел. Собственный дом его тоже опустел и, кроме этих стен и голых деревьев, ничего, ничего не напоминает прошлого.

День-деньской мы донимаем старших мольбой о хлебе. Глупые малыши, особенно мой трехлетний братец, не желают считаться с доводами матушки о необходимости терпения. Она, бедная, и уговаривает, и угрожает, и даже порой шлепает настойчивых просителей, но разве словом, пусть самым добрым и щедрым, утолишь голод? Не утолишь. Только ранишь собственное сердце. А оно у матушки все израненное, поэтому она, шлепнув в отчаянии братца, сама предается слезам. Много слез нужно ей — ведь горе и тяготы на каждом шагу, их не счесть. И на все — слезы. Хорошо, что они не застлали перед ней дорогу. Она видит что-то, к чему-то идет, стремится. С рассвета она уже на ногах, хлопочет, выискивает, чем бы поддержать семью. Когда она ложится спать, я не знаю. Мои глаза слипаются раньше ее глаз. Мы видим сны, а она все стучит своими кавушами по дорожкам двора, и оттого всем спится спокойнее — значит, утром будет что положить в наш ненасытный рот. Мы мечтаем о пшеничной лепешке, но корж из отрубей нас тоже устроит. И еще как устроит!

Да, матушка не жалеет своих ног. И они у нее неутомимы. А отец сидит. Сидит, прислонившись к столбу, и дремлет на солнце. Одежда его обносилась, истлела, от старого чапана остались лишь спина и плечи. Все прочее — лохмотья. Поэтому он не одевает его, а накидывает на плечи: так дыры менее заметны.

Одеждой отец стал похож на нашего махаллинского попрошайку Шахфайзи. У того был такой же чапан — без ворота, обшлагов и подола. Правда, он надевал его на себя, а отец накидывает, словно этим отстраняется от нищенских лохм. В нем еще сохранилась какая-то гордость от далекого прошлого: в молодости он был кузнецом, потом превратился в коробейника — чорбазарчи и вроде бы вел собственное дело, хотя все оно умещалось в одном хурджуне и существовало с помощью ног и спины. Однако отец считал себя самостоятельным, даже независимым человеком. Теперь он никому не нужен. Город разорен, разрушен, базар сожжен, ряды кузнецов,

кожевников, гончаров, мыловаров превращены в пепел. Никто ничего не вырабатывает и, следовательно, не продает и не покупает. Хурджун отца валяется в сарае, и его, наверное, уже прогрызли мыши. Впрочем, они могли бы съесть его целиком — вряд ли он теперь понадобится. Так рассуждает отец. И переубедить павшего духом человека не может никто, даже матушка, которая много раз принималась стыдить отца — голод пришел в дом и надо что-то делать для спасения семьи.

— У всех голод, — отвечал отец. — Если и найдется отзывчивый сосед, то сможет поделиться со мной лишь своим несчастьем.

— Не просить милости, а работать я посылаю вас, — объясняла матушка.

— Ха, или есть такие благодетели в Джизаке, что нанимают работников строить дома из воздуха или мечети из воды и за это кормят его шурпой с бараниной?..

Матушка всплескивала руками:

— Будто уж нет никакого дела в городе?!

— Дела много, но люди сами управляют с ним. Рыть могилы и носить умерших на кладбище — обязанность близких родственников. А ангел смерти Азраил пока еще не призвал меня к этому скорбному делу, да и, дай бог, не призовет слишком скоро...

— Вай, зачем вспоминать Азраила? Лучше бы мне не слышать ваших слов!

Так заканчивались разговоры с отцом о хлебе насущном. Примерно так же обо всем остальном, что касалось будущего семьи. Вначале, когда мы вернулись с поселения, в сердце отца жила какая-то надежда на перемены. Он суетился, бегал по городу, что-то искал, делился с матушкой своими планами, но постепенно убежденность его стала меркнуть и совсем погасла. Джизак больше не нуждался в нем — это сломало дух чорбазарчи. Все чаще и чаще оставался отец дома, все дольше просиживал у террасы, прислонив спину к столбу, и наконец место это сделалось для него постоянным.

И вот сейчас он дремлет на солнце, а я смотрю на него, покачивая люльку — бешик, в которой хнычет голодная моя сестренка. Она всегда голодная: у матушки нет молока. Мне приходится утешать



малышку песней. У меня у самого в животе песня и довольно громкая: с утра мы ничего не ели, ждем катырму. Но урчание желудка — это не та мелодия, что навевает сон, напротив, она прогоняет его. Поэтому я пою сестренке о птичке, о солнышке, обо всем, что приходит мне в голову. Слова, конечно, подбираю самые ласковые.

Баиньки, мой барашечек!

Баиньки, мой счастливый...

Слова эти я взял из песни матушки, которой она убаюкивала меня и братьев моих — старая, вечная песня о счастье и радости детства. Но к моей сестричке это так не подходит! Обшарпанный бешик, какие-то тряпки вместо одеяльца и главное — пустой рот. В нем нет даже жеваного мякиша, завязанного в тряпицу и заменяющего соску. Песня, по моему разумению, должна возместить все, вот я и стараюсь — качаю бешик и пою. Пою громко и бешик качаю изо всех сил.

Песня, однако, не заменяет мякиша. Сестричка хнычет, постепенно хныканье перерастает в плач. Он какой-то сиплый, с хрипом. Конечно, доведись мне проплакать весь день, я вовсе бы потерял голос, а она еще способна издавать какие то звуки.

— Баиньки, баиньки! — надрываюсь я, желая заглушить слезный крик сестрички, но это мне не удастся. Крик, кажется, становится еще громче. Наш старательный дуэт способен переполошить весь дом.

Прерывается дрема отца. Он чуть приоткрывает глаза и, щурясь на солнце, смотрит, как я борюсь с сестричкой за тишину.

— Мать, — говорит он устало, — слышишь колыбельную сына?

Матушка возится с отрубями, дробит и просеивает их, создавая что-то похожее на муку. В воздухе, как монотонный крик птицы, повторяется один и тот же звук: «топа-так... топа-так!» Не отрываясь от дела и не поворачивая головы, она отвечает отцу:

— Слышу... Несчастливые дети родились в дни, когда бог разгневался.

— Бог... — не то спрашивает, не то утверждает отец и снова смежает веки.

Братец, проснувшись от моей песни, несколько минут лежит молча, потом вдруг вспоминает о хлебе и принимается канючить:

— Мама, есть!.. Мама, есть!..

Тут я догадываюсь, что нарушил сон голодных и тем самым увеличил муки матери. Теперь братец, присоединившись к сестричке, начнет вопить во весь голос: «Хлеба! Хлеба!» Между прочим, я сам не прочь включиться в этот хор. Есть действительно страшно хочется. Вспоминаю Учтепе и пшеничные колоски, которые можно было найти в степи и насытиться на какое-то время. В Джизаке и этого нет. Оказывается, мы стремимся к лучшему, а приходим к худшему.

Благоразумие останавливает меня от участия в голодном хоре. Все-таки я старший! Делаю вид, что способен терпеть, и пою. Пою колыбельную:

Баиньки, мой барашечок!

Баиньки, мой счастливый...

Так начинался обычный день в нашем доме. Так завершился. Но не все постоянно, как известно. Нарушился порядок. Правда, не с моей и не с отцовской помощью. Новое пришло с улицы...

Однажды утром, когда я по обыкновению качал бешик и напевал колыбельную, когда отец дремал на солнце, а матушка просеивала отруби, отворилась калитка и во двор вошел дядя Джура. Джуру-ака считали человеком бывалым, повидавшим чужие края, знавшим истину. Появление его в любой семье было событием.

Дядя вошел во двор и громко произнес:

— Мир этому дому!

Он все делал шумно, даже говорил громче других. То ли привычка у него такая была, то ли хотел показать, что таиться ему незачем и бояться некого. Отец тотчас очнулся от своей дремы, мать перестала сеять отруби, а младший братишка, прикорнувший у тандыра, поднял голову. Не надо подчеркивать, что и я бросил бешик и смолк. Дядя потревожил всех. К нам он редко навещался, во всяком случае, после приезда нашу калитку он распахнул второй раз. Именно это и отметила матушка, приветствуя гостя:

— Что так долго не заглядывали, братец?

— Ха, для того чтобы заглянуть к вам, надо прежде выглянуть из могилы. А мы все одной ногой уже в другом мире.

Дядя любил говорить не просто, а со скрытым значением. Вот и сейчас напомнил нам о голоде, что костлявой рукой касался

джизакцев. Люди прозвали дядю «Джура-кантдак», то есть Сахарным Джурой. Давно прозвали. Сейчас бы никто, глядя на лицо и одежду его, не дал такого имени. Прежде он был круглым, румяным, веселым, носил чесучевый яхтак и хромовые сапоги. Говорил приятные, ласкающие душу сладостью слова. Куда девался румянец Джуры-кантдака, где оставил он свой яхтак и сапоги? Дядя пришел к нам в порванном, засаленном ватнике и больших ботинках, выдавших виды. И произнес на пороге совсем не те слова, что радуют душу.

Впрочем, от него теперь не ждали сладких слов. Не то время!

Отец поднялся со своего обычного места и направился навстречу брату, обнял его, повел к супе. Угощать было нечем, но долг гостеприимства требовал дастархана. Пиалы и чайники у нас, слава богу, остались, можно наполнить их чаем, не настоящим, ягодным, положить на поднос несколько сухих ядрышек урюка.

Дядя очень медленно пошел к супе, сразу не сел на старый рваный палас, а долго стоял подле него, переминаясь с ноги на ногу. Всех озадачила такая нерешительность Джуры-кантдака. Но не это было самым удивительным. Вместо того чтобы усладить слух хозяев дома всевозможными пословицами и поговорками о неисповедимости путей господних и тем облегчить их заботы и треволения, дядя повернулся ко мне и сказал:

— Растешь, племянник?

Не только сказал, но и посмотрел на меня внимательно. Так посмотрел, будто я был телком или ягненком и находился не дома, а на базаре и ко мне можно было прицениться.

Если помнит читатель, посещение дядьями нашего дома всегда заканчивалось для меня самым неожиданным образом. Когда дядя Ашурмат брал себе в ученики брата моего, я обварил себе чайником ноги. Поэтому интерес Джуры-кантдака к моей персоне вселил в мою душу некоторое смятение, даже страх. И надо сказать, опасения мои не оказались напрасными...

Сев наконец на супу, на этот самый рваный палас, дядя Джура произнес:

— Вырос, вырос племянничек... Совсем джигит.

Тут уж я вовсе встревожился: что это затеял Сахарный Джура? На

всякий случай я отвернулся от гостя и стал качать бешик. Правда, песенку больше не напевал: не хотел пропустить разговор, который, безусловно, должен был коснуться меня.

Вначале, естественно, взрослые говорили о всякой всячине: и о здоровье тети, и об ишаке, что сдох у соседа, и о собаках, что по ночам разрывают могилы на кладбище. Потом отец спросил:

— Слышно ли что-нибудь о завтрашнем дне: народ голоден и раздет. Что дальше-то?

Такой вопрос можно было задать только дяде Джуре. Он побывал в России, — повидал многое и должен был знать, умирать нам или жить.

— Дальше будет иначе, — ответил дядя.

— Ну, это известно, — заметил отец. — День на день не приходится. А вот как иначе?

— Это один бог знает, хотя краешком глаза и мы увидели кое-что... — Дядя вновь произнес слова, заставившие всех открыть уши. — Чудо где-то в пути, но час, когда оно предстанет перед нами, еще далек.

— Э-э! — вздохнул отец. — Дождемся ли мы?..

Дядя покачал головой.

— Если бы мир имел вершину и этой вершиной оказался Джизак, тогда все было бы проще. Мы за своими холмами ничего не замечаем. А мир-то велик. Всюду голод и всюду разруха. Как говорили в старину: придет время, когда плов будет чудотворцем, а хлеб пророком. Это время пришло. За лепешку человек готов продать сына и брата, горсть риса — богатство. Чем дольше продлится война, тем тяжелее станет народу. Война — главное зло. С ней надо бороться. Я сам видел, как шли русские рабочие по улицам и несли в руках флаги со словами: «Долой войну!»

— Рабочие? Это что же значит по-нашему? — полюбопытствовал отец.

— Такие же мастеровые, как я или ваш сын Мансур, только служат в больших мастерских. Их называют фабриками, заводами. Солдаты тоже отказываются воевать. Когда мы рыли окопы, один сказал нам: «Зря, братцы, стараетесь, мы не думаем здесь вшей

кормить. Хватит, повоевали за царя-батюшку!» В общем, не за горой день, когда солдаты скинут своих начальников и бросят винтовки...

Тут отец осуждающе покачал головой:

— Сбросить начальников! Такое мы пережили. Есть мудрые слова: «Из-за одного может пострадать тысяча, а из-за тысячи тысяча тысяч...» Бей элликбаши, убивай уездного начальника! Какой же урожай собрал народ? Имели Джизак, теперь довольствуемся золой. Говорили, не пойдем в мардикеры, а побывали и в мардикерах. Ну хоть на грош получили пользы?

— А как же! — оживился дядя. Он, видно, только и ждал этого вопроса. — Или не свергнут царь Николай?.. Да и под пеплом непотухшие угли. Жар в них...

Отец согласился:

— Может, и жар, но его уже не раздуешь до пламени. Свергнув же царя, лишились хозяина, а без хозяина земля не существует...

— Будет хозяин, — убежденно заявил дядя Джура. — Временное правительство — оно есть временное, сами господа его так назвали. Не думает оно о завтрашнем дне — войну не кончает, хлеба не дает...

— Да что хлеба, — поддержал наконец дядю отец, — воды нет в городе. Слыхано ли это!

— Сами видите, как затянулась петля на шее народа, — еще более оживился Джура-кантдак. — Вот и выходит, что без чуда не обойтись. Никак не обойтись...

— Э-э, чудо... — проворчал отец. — Придет ли твое чудо!

Тут в разговор вмешалась матушка. Она отложила сито, стяхнула с рук отруби и сказала:

— Если в месяце тридцать ночей, то из них пятнадцать темных и пятнадцать светлых. Не будьте столь нетерпеливы, муженек. Дождемся чуда. Ведь не одни мы думаем о хлебе, у всех пусто во рту. Как ни говорите, Джура-ака многое повидал в мардикерах, ему верить надо. Лишь шайтан живет без надежды. Придет время, и мы будем рассказывать людям про эти тяжелые дни...

Хмурый отец мой вдруг улыбнулся, потом даже засмеялся. Что-то развеселило его в словах матушки.

— Вот какая она, моя ташкентская! Сама голодна, а говорит,

сыта. Что ж, пусть сбудутся твои желания!

— Сбудутся, сбудутся, — охотно подтвердила матушка, и глаза ее сделались такими светлыми, словно она действительно верила в сказанное. Я думаю это было оттого, что ей очень хотелось счастья своей семье.

— Видящему Мекку легче к ней идти, — заключил отец.

— Конечно, вот испеку катырму, поедим, что бог послал, и один тяжелый день считайте позади...

Дядя лукаво усмехнулся:

— Не торопитесь его провозжать, сестрица. Пусть и мне перепадет кусочек катырмы.

— Вай, зачем напоминать? Гость — тот же хозяин, ведь закон дедов еще не забыт в Джизаке!

— Забыт-то не забыт, да не все его блюдут, — заметил дядя. — Есть же притча про двух сестер. Зашла однажды старшая к младшей по-родственному узнать, как у той житье-бытье, а младшая в это время пекла катырму. Катырма была одна, и не хотелось ей делиться с гостьей. Взяла да и села на горячее тесто. Старшая заметила это и говорит: «Времена-то голодные пройдут, а вот зад себе ты напрасно ошпарила...»

Матушка и отец рассмеялись. Я тоже не удержался от улыбки. Забавную притчу рассказал наш гость. С приходом его немного светлее стало в нашем доме. Ко всякому случаю у него была припасена история, и он ее тут же выкладывал нам. Истории были поучительными, и все сводилось к тому, что нельзя так просто сидеть в ожидании чуда, нельзя уповать только на судьбу и бога.

Матушке понравились притчи Джуры-кантдака. Она быстро применила их к нашей семье.

— Я вот тоже говорю муженьку: под лежачий камень вода не течет. Делайте что-нибудь, а он и слушать не хочет.

— Ха, — поднял руки, будто призывал в свидетели всевышнего, дядя, — женщина, у которой на руках дети, всегда права. Их слезы падают на ее сердце, а отец лишь слышит плач... Между прочим, из-за детей я, собственно, и пришел к вам.

Сказав это, дядя снова посмотрел на меня и снова внимательно.

Тут уж нельзя было не догадаться кого именно из детей имеет в виду гость.

— Назиркул старший у вас, а руки его ни к чему не приспособлены. А что если отдадите его мне в ученики? Думаю я раскопать свою кузницу и приняться за старое дело. Серпы и кетмени людям вроде нужны...

Отец сразу замкнулся, словно не было перед этим ни веселого разговора, ни улыбок. Видно, предложение дяди прозвучало для него укором — сам, мол, не способен, семью прокормить, детей на ноги поставить, посторонним приходится заботиться. А матушка, напротив, оживилась. Правда, предложение Джуры-кантдака несколько расходилось с тем, что рисовала себе матушка в мечтах. Поэтому, прежде чем высказать свое мнение, она грустно вздохнула:

— Не суждено, видно, моему Назиркулу быть муллой. Святой Шахи-Зинда не услышал молитв наших, не открыл дорогу посвященному. Пока чертово колесо крутится в обратную сторону, все дальше и дальше отходят от нас желания. Пусть среди слуг чудотворца будет и один кузнец. Ремесло никому еще не мешало. Берите Назиркула, Джура-ака, будьте ему и наставником и кормильцем...

Я давно уже затих — не то, что песнь, дыхание, кажется, не слетало с губ моих. Решалась судьба, будущее мое, можно ли в такую минуту пропустить хоть слово. И качать бешик тоже нельзя. Не до него просто. И как это ни странно, сестренка не шумит, не плачет, словно поняла всю важность момента...

Последнее, что я услышал, было уже приговором. Дядя принял условия матушки, но выразил это довольно странной фразой. Он сказал:

— Не беспокойтесь, сестра. Я голоден — и Назиркул голоден, я сыт — и Назиркул сыт...

Не слишком ясное обязательство. Оно не гарантировало мне ежедневную лепешку, о которой я мечтал сейчас. Остальное меня уже не интересовало — ни семейные дела дяди, ни жалобы матушки на трудную жизнь.

Помню, уходя, Джура-кантдак еще раз глянул на меня, теперь как

на своего помощника, и сказал:

— Утром, как взойдет солнце, будь у кузницы!

Я кивнул.

А отец за меня, за всех нас поблагодарил дядю:

— Каждому дыханию твоему спасибо, за посещение спасибо...

## Ветер России

— Я голоден — и Назиркул голоден, я сыт — и он сыт, — сказал вчера дядя.

Увы, он был из тех, кто постоянно голоден. Это я понял, когда мы сели у развалин кузницы. Дядя положил с собой кетмень и тешу и не положил торбочку, в которой мастеровые обычно приносили еду. Не понадобилась, видно, торбочка. Нечего было в нее класть. Для желудка предстоял пустой день. Если дядя будет голоден, мне придется по уговору последовать его примеру.

Но чем-то все-таки кормить помощника надо, и дядя, пока мы шли через базар и отыскивали следы кузницы, преподносил мне обильную словесную пищу. Во-первых, он до небес возносил мою аккуратность: я вовремя пришел на работу — и мою смелость: не всякий возьмется за трудное дело ковать серпы и кетмени, не говоря уже о подковах, которые надо не только делать, но и прибивать к ногам лошадей, а лошади бывают всякие. Наконец, восхищался моим благоразумием: я верно оценил положение и отбросил никому не нужную затею с изучением священных книг и избрал ремесло. Не мольба о хлебе насыщает человека — руки кормят мир. Слово хорошо лишь на сытый желудок. Сам дядя, между прочим, неплохо пользовался словом даже на голодный желудок. Когда мы проходили мимо мечети и имам спросил дядю, почему он, вместо того, чтобы молиться, спешит чуть свет по своим мирским делам, тот ответил:

— Я впрок прочел все молитвы когда был сыт. Еще осталось несколько про запас.

Не знаю, какими глазами посмотрели на дядю верующие, выходявшие из мечети, но имам раскрыл их в удивлении так широко, что казалось, они выкатятся из орбит.



Меня тоже поразила смелость дяди: правоверный не должен так отвечать слуге божьему, да и вообще не должен был отвергать молитву. Не случайно имам испугался. Я, честно говоря, тоже струхнул: а вдруг кара всевышнего падет на нас, падет именно в тот день, когда решено откопать кузницу. Лучше бы не гневить небо перед важным делом. Но что значили мои опасения!

И вот мы сидим на холмике, образовавшемся из обломков кирпича, обуглившихся стоек и перекладин, смешанных с золой, и смотрим себе под ноги. Там, внизу, в земле — горн, наковальня, молот, клещи и многое другое, составляющее богатство кузнеца. А может, ничего этого нет. Еще до пожара и обстрела из пушек кто-то унес все. Но вряд ли! Не до молотков и наковален было людям. Они ушли с базара днем, после убийства мингбаши, взяв с собой лишь серпы, кетмени и паяльники, — то, с чем можно воевать. Дядя тоже ушел с серпом в руках. Остальное осталось в мастерской. И погребено под пеплом.

Работы много, и работы тяжелой, а желудки пусты. Во всяком случае, мой желудок совершенно пуст. Он распевает привычную песенку, очень невеселую, но громкую. Ее слышно далеко вокруг — так я представляю себе и жду, что дядя это заметит. Однако он с видом глухого равнодушно смотрит на землю и что-то думает. Тогда я, чтобы обратить на себя внимание, задаю вопрос, конечно, не о желудке и не о том, почему он поет с самого утра песенку. О базаре: зачем каратели разрушили его?

Дядя поднимает брови — вопрос слишком наивен. Не так уж мал я, чтобы не знать причин. Но все же поясняет:

— Джизак поднялся отсюда. Здесь родилась смута...

И уже без удивления, а с какой-то грустью спрашивает:

— Знал ли ты эти места до восстания?

Оказывается, дядя тоже не лишен наивности. Как не знать мне родного города! Эти улочки и закоулки я избегал вдоль и поперек. Вон там, за обгоревшим карагачем, стоял дом тетушки Зиннат. К празднику Курбана и Рузы она шила детям новые тубетейки. И мне тоже. Целую неделю я торчал в доме тетушки, чтобы своим видом напомнить о традиции, поторопить добрую Зиннат-апу. Здесь мы

играли в чижика, чехарду, куликашки. Э, да мало ли было веселых игр! По садам и полянам ребячьи ватаги носились с утра до вечера. Я с Акилом любил взбираться на деревья или крыши и оттуда, с высоты, изучал богатые дворы. Именно богатые дворы привлекали наш взор. В них росли удивительные цветы, до того удивительные, что и передать нельзя. А какие ковры и паласы красовались на айванах и супах! Сколько птичьих клеток висело над хаузами! Однажды я так увлекся созерцанием цветов в чужих дворах, что свалился с крыши и разбил себе лоб.

— Значит, любуясь богатыми дворами, ты украсил свой лоб шишкой? — усмехнулся дядя.

— Не верите, — обиделся я. — Вот шрам.

— Вижу, вижу, — кивнул дядя. — Шрам — важное дело, память о прошлом. Эти развалины тоже память...

— О чем? — снова задал я наивный вопрос. Впрочем, для меня он не был наивным. Какую роль могут играть обгоревшие балки и груды золы?

— Несмышлениш! — вздохнул дядя. — Камни, что под нами, не простые. В них разочарование и надежда народа. Боль сердца в них. И чем дольше они будут перед глазами, тем острее эта боль. Царь хотел, чтобы пепел лежал вечно и предостерегал народ от всего смелого и решительного. Не догадывался царь, что под пеплом — огонь. Сдуй пепел — и там жар негасимый...

Я понял это в прямом смысле и стал пристальнее вглядываться в груды золы. Дядя скривил губы в усмешке.

— Не тот жар, — сказал он. — Эх, несмышлениш... Ну да время откроет тебе глаза... Примеся-ка за дело!

Он сложил ладони и тихо пропел:

— Избавь нас от несчастий. Мы их переживем, но пусть других они не коснутся!

Я тоже присел на корточки и повторил вслед за дядей молитву, хорошо известную мне еще по школе. Это была строфа из корана, прекрасная строфа, напоминающая человеку о братьях его, идущих дорогой несчастий. И сейчас и тогда мне казалось, что дядя Джура не молился, он выразил стихом свои чувства. А возможно, привычка

начинать все с обращения ко всевышнему понудила его произнести несколько слов из корана. Так делали ремесленники в Джизаке. Взяв кетмень в руки, дядя снова пропел:

— Эй, его величество Дауд-пир!

И только после этого взмахнул кетменем и ударил по слежалой золе. Комья сухой глины, смешанные с пеплом, полетели в стороны. Вначале железо билось о твердый слой, звенело, скрежетало, но с каждым новым ударом звон становился все глуше, потом вовсе исчез, и кетмень лишь посापывал, врезаясь в землю.

Пока дядя снимал верхний слой, я сидел на камнях и наблюдал за работой. Мне хотелось поскорее увидеть жар, что таился под землей. Я даже представлял себе, как вдруг после удара кетменя вырвется пламя и обдаст дядю. Его спокойствие пугало и восхищало: освобождает огонь и не боится!

Полетели черные, словно закопченные, комья. Запах горелого остро ударил мне в нос. Где-то близко был жар, сейчас он вырвется из-под земли и забушует. На всякий случай я отодвинулся от места, где орудовал кетменем дядя. Издали лучше и, главное, безопаснее наблюдать за огнем. Но торжественность ожидания разрушили слова дяди.

— Собирай угольки и железо! Это для нас с тобой теперь — золото.

Вместе с землей действительно стали вылетать кусочки угля, гвозди, обломки подков, покрытые налетом ржавчины. И чем глубже вгрызался кетмень в заваль, тем больше было этих черных и бурых осколков. Я принялся собирать их и складывать в кучки. Кучки росли, и это меня радовало. Если попадалась целая подкова или лезвие серпа, я вскрикивал от восторга:

— Ой, какое золото!

Дядя, усталый, облитый потом, поворачивался и кивал удовлетворенно:

— Складывай, складывай... Все пригодится.

Мои сокровища пополнились киркой, цепью, клещами. Я мог считать себя уже богачом. Но дядя все не успокаивался, ему этого было мало, он рыл и рыл землю. Через силу рыл. Было слышно, как

натужно дышит он, как покусывает губы, когда кетмень слишком глубоко вбивается в землю и вытаскивать его надо, напрягшись до последнего. Лицо дяди при этом бледнело, а глаза туманились.

Мне прежде не приходилось работать большим кетменем, да и робость мешала предложить свои услуги дяде, но, заметив, как покачнулся он, перекидывая большой ком земли, я все же сказал:

— Отдохните, а я попробую покопать.

Дядя посмотрел на меня благодарно и протянул кетмень.

— Попробуй...

Я серьезно отнесся к делу и прежде всего к церемонии, которая его сопровождает: поплевал на ладони, взмахнул кетменем и произнес:

— Эй, его величество Дауд-пир!

Затем опустил с силой кетмень. Он, конечно, не впился в землю, а отскочил, ворчливо звякнув. Но недовольство кетменя не особенно меня смутило, смутило огорчение дяди. Оно-то и заставило меня снова взмахнуть кетменем и снова опустить на землю. На этот раз железо воткнулось довольно глубоко, солидный ком откололся, и я ловко выбросил его наружу.

Дядя улыбнулся с явным одобрением. Работа пошла. А если работа пошла, значит, я уже окрестился как мардикер.

— Эй! — кричал я, распаяясь и занося высоко над головой кетмень. — Эй, его величество Дауд-пир!

Прямо скажу, я оказался удачливым мардикером. Всего третий или четвертый раз опустилсся мой кетмень, как раздался лязг железа и, кажется, полетели искры. Я подумал, естественно, о пламени, которое случайно открыл в земле, но дядя снова разочаровал меня. Он поднял руку, призывая меня остановиться, и сказал:

— Наковальня!

Сказал так, словно кетмень наткнулся не на железо, а на золотой клад. Впрочем, для дяди наковальня тогда была дороже золота.

— А ну-ка, дай мне кетмень!

Он не стал копать, а пощупал пальцами острие и покачал головой.

— Только о наковальню он мог так погнуться. Кажется, цель наша близка...

Дядя опустил на колени и принялся разгребать руками землю в том месте, где вспыхнули искры. С загадочной улыбкой, словно фокусник, намеревающийся удивить людей чудом, он колдовал в ямке: то опускал глубоко ладонь, то уводил ее в сторону, то задерживал в какой-то задумчивости, то вдруг торопливо выбрасывал наружу. И наконец застыл.

— Она... — сказал он со вздохом.

Надо было радоваться, а дядя почему-то загрустил. Померкла улыбка на лице, и глаза подернулись дымкой горечи. Понял, наверное, дядя, как мала удача. Что в наковальне проку? Нет ни мехов, ни железа, ни угля. Ничего нет, кроме этой наковальни...

Однако отступать поздно. Да и выхода другого нет. Одна надежда — кузница!

— На сегодня хватит, — сказал дядя. — Считаю, великое дело сделали... Возьми ведро и сходи за водой, а я покуда наковальню отрою...

Не знаю, зачем дядя послал меня за водой. Надобности в ней не было. Но я пошел: взял ведро и направился к арыку, чтобы зачерпнуть побольше воды, которая в это время года особенно чиста, никто не мутит ее: поливы закончены, лишней раз опустить руку в воду и то боязно — холодно. Наполнив ведро, я вернулся назад. Наковальня еще не была отрыта, да дядя, видно, и не пытался это сделать — кетмень лежал на земле, в том самом месте, где был брошен мною. Зато дядя покинул лунку. Он сидел около груды железных обломков и разламывал на две половинки лепешку. Разламывал старательно, не спеша, боясь обронить крошки на землю.

Вид хлеба опьянил меня. Не помню, как опустилось ведро, кажется, угодило на камни и пролилась вода, облила ногу. Я сел против дяди и стал глядеть на лепешку. Знал, что делать так нехорошо, что выказывать голод стыдно. Но все наставления матушки забылись, все забылось. Не только забылось — исчезло. Я видел хлеб, один хлеб.

Процедура деления закончилась. В руках у дяди оказались две половинки лепешки. Придирчиво и бесцеремонно я взвесил взглядом обе доли и установил несоответствие — одна была чуть поменьше.

Сразу родилось подозрение: вот для чего дядя отправил меня за водой, ему хотелось тайком произвести раздел и засунуть в рот большую долю. То, что я был мальчишка и еще ничего не сделал для дяди, меня нисколько не смущало. Раз нанял ученика, то и корми его! Вот как представлял я отношения между кузнецом и его помощником.

Что прочел дядя в моих глазах, неизвестно. Возможно, испуг, возможно, недовольство или обиду, но он протянул мне большую долю. Слова, упрек молчаливый, даже брань не смогли бы сделать того, что сделал этот кусок лепешки. Большой кусок. Я покраснел, словно окунувшись в горячую воду.

— Нет, — сказал я. — Это не моя доля.

Откуда взялось мужество для такого поступка, ведь я был страшно голоден! Без сожаления вернул большую половинку дяде и взамен получил меньшую. Немедленно она была направлена в рот и стала исчезать нежеванной.

Не буду говорить о том удовольствии, которое я испытал, глотая сухие, грубоватые, невеселые на чем замешенные куски лепешки. Они пахли хлебом, и этого было вполне достаточно.

— В России, — сказал дядя, — все же перепадал нам кусочек мяса. Редко, но перепадал. Всё больше кормили кашей и щами. Есть такая еда у русских... А здесь и отрубяной катырмы не видишь!

Я кивнул — действительно ни у нас, ни у соседей не было даже отрубей, не говоря уже о муке.

— Но, ничаво... — произнес дядя многозначительно. Слово было непонятное, да и незнакомое. Прежде я его никогда не слышал, но чем-то оно меня задело, и хотя в эту минуту мне, прямо говоря, было не до слов: все внимание сосредоточилось на половинке катырмы, которая катастрофически быстро уменьшалась, я все же спросил дядю, что означает таинственное «ничаво».

Он улыбнулся, почесал зачем-то затылок и сказал, глядя поверх меня, в невидимо далекое:

— Что означает?! Если скажу ничего не означает, как наше «оббо!» или «хош...», то будет неправда, потому что и «хош» слетает с человеческих губ не всегда, а лишь в нужный момент, когда требует

того душа. Так и «ничаво» порождено душой, а она, пора знать тебе, все понимает и все чувствует...

Дядя помолчал, что-то вспоминая, потом не торопясь стал рассказывать:

— Валили мы как-то в лесу сосны. Зимой дело было... Лес, должен тебе сказать, всегда рубят зимой, прямо в снег падают деревья. Мороз страшный, без рукавиц до топора дотронуться нельзя: прилипнут ладони. А если оторвешь, так с кожей. Потом всю руку бросай, она уже мертвая. Глотнешь открытым ртом воздух — сожжешь все внутри. От голода и от холода народ падал, как те деревья, что мы рубили. И больше всего, конечно, наши падали: не по силам им стужа. Ну а русские, должен тебе сказать, против мороза стойкие. Им он не так страшен. Вот они и утешали нас: мол, ничего, держитесь только. Помню, один старик, ну не совсем старик, но с сединой, увидел наши слезы и сказал: «ничаво!» Да еще по плечу меня похлопал. Хоть смысла и не было в том слове, но я понял, что оно многое означает и даже надежду дарит человеку.

Про царя тоже сказал старик:

— Лютует государь-батюшка, но ничаво!!! — Строго так сказал и брови нахмурил. Понимаешь теперь, что значит «ничаво»?..

Я вроде понял, хотя и не очень ясно представлял себе его конкретный смысл. Главное, оно подходило к нашей теперешней жизни: сейчас нам плохо, отрубяных лепешек и тех нет, но отчаиваться не надо, наступит и наш день!

Кончилась катырма — я не заметил, как последний кусочек исчез во рту, — обед завершился. Дядя запил его водой, вытер ладонью усы. Сделал он это так, будто сытно поел. Я при всем желании и старании не смог повторить церемонию: кусок катырмы не утолил голода.

— Ничаво, — повторил дядя. — Только шайтан живет без надежды, а мы люди...

### **Возмутители спокойствия**

Каждый день мы с дядей совершали прогулку по Джизаку. Только

пусть читатель не думает, что это было праздное времяпрепровождение. На пустой желудок, честно говоря, никто не захочет ходить по городу и любоваться развалинами. Мы ходили от кузницы, которая уже поднялась из пепла, к чайхане Урдушмата.

Зачем мы ходили к чайхане? Если вы думаете — пить чай, то ошибаетесь. Во-первых, у нас на это не было денег, во-вторых, кто пьет чай, не пообедав и не собираясь это сделать в будущем. Полоскать же желудок можно арычной водой, она находится рядом с кузницей и ничего не стоит. Последнее имеет немаловажное значение для нас.

Теперь ясно, что мы ходили в чайхану Урдушмата не чаевничать. Зачем же? Вначале я тоже не понимал этого. Один случай помог получить ответ на возникший еще тогда вопрос.

Но прежде — дорога к чайхане.

Дядя обычно шел впереди, я чуть сзади. И не потому, что не попевал за ним — ноги у меня были крепкие и быстрые, — просто мое положение ученика, мальчишки и племянника требовало какой-то дистанции. Как-никак он дядя, у него на висках седина, за плечами целая жизнь. Притом взрослому человеку иногда хочется побыть наедине со своими мыслями, зачем же крутиться перед глазами, мешать ему думать. А что мысли у него важные, я не сомневался. Все в нашей семье считали дядю Джуру человеком умным и рассудительным. К тому же он побывал на тыловых работах, повидал мир, знал то, чего не знали остальные джизакцы. Вообще мардикеры считались в городе самыми сведущими, самыми интересными людьми, и в числе них дядя Джура чуть ли не самый интересный. Он мог ответить на любой вопрос, вступить в спор с самым мудрым человеком в городе и переспорить его, высмеять любого духовника, начиненного цитатами из корана. А уж в делах, касающихся политики, равного ему не было. Мне кажется, что как учитель он больше воспитывал мою душу, чем руки. Во всяком случае, кузнечное ремесло оставалось для меня пока еще ведром, лежащим на дне колодца, зато истины жизни я пил щедро. Чашу мне обычно протягивал сам дядя.

Вот и сейчас, в дороге, он прервал свое молчание, остановился и,



кивнув в сторону холма, сказал:

— Ты знаешь, что это?

Он показывал на столб, сохранившийся со дня казни на вершине холма. Я кивнул.

— Теперь по всей земле такие столбы с перекладной, — продолжал мрачно дядя. — Сколько в России их — не счесть!

— Разве царь русских не любил? — удивился я.

— Русских — не знаю, а бедных точно — не любил. Рабочих он вешал, расстреливал, ссылал в Сибирь. Временное правительство продолжает дела царя, но рабочие все равно не сдаются. У них есть главный, который зовет к борьбе... Зовут его Ленин...

— Он тоже русский? — спросил я.

Вопрос несколько озадачил дядю, он, видимо, точно не знал, кто такой Ленин, и ответил как смог:

— Наверное, русский, хотя говорили мне о нем разные люди. И татары говорили...

В моей голове родились противоречивые мысли: почему царь сам русский, а русских не любил? И почему, свергнув царя, люди продолжают мучаться? Все эти вопросы я, конечно, задал бы дяде, если не в дороге, то в чайхане, куда уже подходили мы, но зрелище, которое предстало перед нашими глазами, сразу исключило это намерение.

На супе, где обычно пьют чай посетители, сидел полицейский Юлдаш и лил слезы. Сам по себе этот факт мог поразить любого джизакца. Плачущий полицейский! Но это было еще не все. Лицо Юлдаша, его мундир свидетельствовали о каких-то страшных событиях, пережитых им. Огромные синие рубцы лежали на лбу и щеках, из носу и ушей текла кровь. Не в лучшем состоянии были и руки — их чем-то исполосовали. Двумя распухшими кочерыжками полицейский утирал слезы. Утирал и хныкал:

— Из любви к вам, джизакцы, я так страдаю. Удары, предназначенные другим, попадают на мою голову...

Мы с дядей еще не знали, что здесь произошло, и поэтому недоуменно поглядывали то на Юлдаша, то на чайханщика Урдушмата.

Читатель, наверное, помнит и того и другого. Юлдаш-полицейский был в свое время грозой нашей махалли. Его камчу хорошо знали все мальчишки, да и не только мальчишки. Блюститель порядка появлялся неожиданно из-за угла и опускал плетку на голову зазевавшегося джизакца. Особенно неистовствовал он около домов богатеев, а сад Хафизбая оберегал пуще собственного глаза — в этом саду отдыхал уездный начальник Рукин. Перед самым восстанием, почуяв грозу, Юлдаш покинул пост полицейского, снял мундир и подался куда-то. С приходом к власти Временного правительства Юлдаш снова вернулся к своей должности, которая теперь именовалась «народный полицейский». Новое название ничего не изменило ни в поведении, ни в облике Юлдаша. По-прежнему он расхаживал по улицам в синем кителе, обшитом пуговицами с изображением двуглавого орла, по-прежнему грозил всем камчой.

Главной заботой Юлдаша стала чайхана Урдушмата. Он постоянно околачивался здесь и совал нос в разговоры. Нетрудно было догадаться, почему так интересуется полицейского бедная чайхана. Всякое скопление джизакцев вызывало беспокойство уездных властей и прежде всего нового мингбаши Анварбека, давнего слуги господ эксплуататоров. А под крышей чайханы Урдушмата народ толпился постоянно. И толпился не случайно: тут можно было узнать новости, отвести душу откровенным разговором, получить совет от хозяина. Хозяин-то был не простой. Один из зачинщиков бунта в Джизаке, ярый противник царя, жертва расправы. Февральская революция спасла его от казни. Читатель помнит, что именно Урдушмат в числе первых помчался к канцелярии главного мингбаши. Это он согнал с седла моего отца и захватил лошадь, чтобы быстрее учинить расправу над мучителями народа. Смелый, решительный и мужественный человек продолжал оставаться врагом богатеев, опасным врагом. Вокруг него всегда были люди, впитывавшие в себя крамольные идеи Урдушмата.

Беспокойство властей все усиливалось. В один из дней, когда посетители чайханы вели себя особенно шумно, Анварбек послал полицейского Юлдаша закрыть пристанище голодных и босоногих. Приказ поступил за несколько часов до нашего появления здесь.

Юлдаш подошел к Урдушмату и объявил ему волю начальства.

— Братишечка, — сказал он робко: теперь Юлдаш остерегался джизакцев, — не сердись на меня, но чайхану надо закрыть... Хоть на неделю...

— Даже на один день не закрою, — ответил Урдушмат-ака.

— Вай! — всплеснул руками Юлдаш. — Зачем так? Скажи, подумаешь, дашь ответ завтра.

— Не хочу тебя еще раз утруждать приходом. У тебя другое дело есть — лизать миски хозяйской собаки. Беги во двор Анварбека, там, кажется, бросили кость!

— Не насмехайся над Юлдашем. Я человек подневольный, войди в мое положение. Ну что тебе стоит закрыть чайхану на недельку?

Тут вмешался народ:

— Не вздумай послушаться его, Урдушмат! Чайхана принадлежит джизакцам, и джизакцы не простят тебе этого.

А Курбанбай, здоровенный детина, способный одним ударом свалить быка, подошел к Юлдашу и сказал:

— Если ты не понимаешь, когда объясняют языком, то мы растолкуем тебе руками...

— Что ты, братишечка! — залебезил полицейский. — Я все понял, но и вы меня поймите...

— Ну коли понял, так о чем разговор? Проваливай! И не называй нас братишечками, твои братья — дворовые псы Анварбека. Вот мы приделаем тебе хвост, и ты ничем не будешь отличаться от них.

Поощряемый смехом и возгласами джизакцев «правильно, правильно!», Курбанбай поднял веник, лежавший возле самовара.

— Братцы! — взмолился полицейский, — Не совершайте греха!

— Ишь ты, — усмехнулся Курбанбай. — Оказывается, полицейские отличают грех от воздаяния. Твой друг Сабир получил по заслугам, камней на него не пожалели.

Курбанбай намекал на расправу с полицейскими в день восстания.

— Э-э, зачем дергать за ногу покойника? — испуганно пролепетал Юлдаш. — Я не Сабир...

— Тогда поступи, как Камил!

Лицо Юлдаша оживилось, на нем заиграло что-то похожее на

улыбку.

— Камила спасла лошадь. Каждый мусульманин должен иметь хорошего коня. Я всегда об этом говорил...

— На пути к Пятиречью конь его спас, — согласился Курбанбай. — Но от расплаты не избавил. Совесть заставила Камила перекинуть через сук веревку и пристроить в петлю свою голову.

— Оббо! — снова захныкал полицейский. — Ты хочешь, чтобы Юлдаш повесился?

Тут вставил свое слово Урдушмат-ака:

— Разве в наших желаниях дело? Мертвый должен лежать на кладбище, а не ходить среди людей и помахивать камчой.

— Я — мертвый... — в ужасе раскрыл глаза Юлдаш. — Бог тому свидетель, что я живой и забочусь о живых. Кого я тронул? Кого?

— Попробовал бы тронуть нас, — заметил Курбанбай. — Мы с тебя и с твоего хозяина Анварбека шкуру бы сняли да натянули на барабан. На весь Джизак гремел бы!

— Вяжи! Вяжи ему хвост! — весело закричали джизакцы.

Понимая, что дело оборачивается довольно нежелательно для него, Юлдаш подобрал полы своего кителя и кинулся наутек. Полицейский действительно напоминал побитого пса. Вслед ему неслись крики:

— Не забудь про Камила!

Известно, побитая собака далеко не уходит. Побродив около чайханы, Юлдаш заметил на пустыре мальчишек, игравших в кости.

— Эй, джигиты, примите меня в игру! — сунулся к ним полицейский.

— А вы умеете играть? — смехом ответили мальчишки.

— А как же! В любую: хоть в ащички, хоть в орехи, хоть в «кулок чузма».

— Нет, нет, не верим! — продолжали веселиться ребята.

— Сейчас поверите... — Юлдаш, лукаво подмигивая, стал неторопливо вытягивать из кармана ащичку. — Во! Сыграем?

Он ловко подбросил кость и, пока она совершала замысловатый полет до земли, хлопнул ладонью по голенищу сапога, как обычно делают азартные игроки.

— Алчи! — удивились мальчишки. — С таким «ашичником» было рискованно состязаться.

— Ну, что? — торжествующе спросил Юлдаш. — Бросайте вы! Ребята растерянно переглянулись.

— Бойтесь?! — усмехнулся полицейский. — И правильно делаете. Эта ашичка заколдованная. Она не проигрывает...

— Ну?! — Десяток глаз впился в волшебную кость и почти столько же рук готовы были пощупать ашичку или хотя бы дотронуться до нее, если, конечно, разрешит это сделать хозяин.

— Выиграть ее невозможно, — пояснил Юлдаш. — Но смелому джигиту я могу ее подарить... Кто из вас самый смелый?

Странный вопрос. Лучше бы полицейский спросил, кто самый несмелый. Не было такого!

Каждый молча смотрел в глаза Юлдашу и этим хотел показать, что именно он достоин награды.

— Между прочим, — мягко сказал полицейский, — как у вас идут дела дома? Все ли в порядке?

— Все, все в порядке! — заторопились отделаться от ненужного вопроса ребята.

— Это хорошо. Мир и спокойствие не самое ли дорогое в жизни?.. А вот не хотят люди пребывать в тишине. Мутят воду, сбивают с пути истинного джизакцев. Вы, наверное, замечали таких — ведь целый день на улице, у чайханы. Перед вашими глазами вся махалля. Кто мне такого смутьяна покажет, тому сразу отдам эту ашичку. Да что ашичку! Кусок бязи на штаны и рубаху. Нужна небось бязь? А? Вон как оборвались, все срамные места видны...

Кусок бязи! Это соблазнительно. Но кто видел смутьяна? Какой он?

Юлдаш-полицейский угадал вопрос и тут же растолковал мальчишкам:

— Всякий недовольный войной и Временным правительством — смутьян...

Временным правительством недовольны были многие, войной — все. Но это свои, джизакцы, отцы и братья. Если они смутьяны, значит, их надо предать? Так предлагает Юлдаш-полицейский.

Предать за эту ашичку, пусть даже заколдованную, за кусок бязи. И он называет это смелостью!

— Я смелый, — вдруг объявляет Мирза-слепой. Слепой по прозвищу. На самом деле Мирза видел лучше других. Это отец его был безглазым. — Дайте ашичку!

— Больно просто ты решил дело, — засмеялся Юлдаш. — Надо проверить сначала... Я брошу ашичку, а вы побежите, кто первым найдет ее, тот и получит награду.

Мирза-слепой напрягся, расставил ноги, приготовился к борьбе — он хотел во что бы то ни стало получить беспроирышную кость.

— Э, нет! — покачал головой полицейский. — В беге Мирза самый быстрый, тут и состязаться нечего. Лучше устроим «кулок чузма — длинное ухо». Пусть смелость проявят все.

И Юлдаш поднял руку, намереваясь кинуть в толпу мальчишек кость. Суть игры заключалась в том, чтобы захватить первому ашичку и унести ее. Остальные должны не допустить этого — броситься на удачника, схватить его за уши и тянуть, пока он не выпустит кость или не вырвется. Прибежавший с трофеем к хозяину считается победителем.

Перед тем как выпустить из рук ашичку, Юлдаш-полицейский предупредил:

— Вижу, все хотят отличиться, отстоять честь джигита, поэтому, кроме ашички, обещаю еще и десять орехов. Вот они! — Юлдаш вытянул из кармана горсть скрежещущих и пощелкивающих шаров и показал мальчишкам. — А ну, кто самый смелый!

И кость полетела на поляну.

Что тут произошло, трудно вообразить. Ватага кинулась вперед, но не за ашичкой, а за Мирзой-слепым, который, конечно, первым плюхнулся животом на кость и прикрыл ее. Остальные попадали уже на Мирзу. Рука счастливика вцепилась в ашичку, а руки мальчишек в его уши. И то, что они достигли своей цели, стало ясно по визгу Мирзы.

— Ха-ха-ха! — покатывался со смеху полицейский. — Так его! Добивайтесь награды. И ты, Мирза, не уступай. Помни, кроме беспроирышной ашички, еще и десять орехов. Да что десять...

Пятнадцать кладу. Слышишь, пятнадцать!

Увлеченный зрелищем, Юлдаш не заметил, как на поляну въехал всадник на гнедом жеребце. Не простой всадник. Анварбек! Мингбаши Анварбек, новый хозяин города.

Как и положено хозяину, он выглядел торжественно. Халат из банораса, щемящий глаза золотой и серебряной нитью, был накинут на синий суконный камзол, перепоясанный дорогим ремнем. Слева свисала сабля с серебряной насечкой. Ремень этот и эту саблю видели мы на отце Анварбека Хидире, убитом джизакцами во время восстания. Голову мингбаши венчала светло-серая салла, повязанная чьей-то умелой и заботливой рукой. Салла поднималась гордо вверх, как и голова Анварбека. Сам мингбаши держался в седле с достоинством, глядел на окружающее свысока, чуть приопустив веки и брезгливо сжав губы.

Изменился ли за это время Анварбек? Простой писарь и переводчик уездного начальника, выполнявший роль подручного при подавлении джизакского восстания, сын Хидира стал теперь мингбаши. Он сменил солдатскую гимнастерку на халат правителя. От прошлого осталась лишь нагайка, которой Анварбек стегал джизакцев, изгоняемых из города. Этой нагайки испробовали многие: молодой каратель старался изо всех сил. Легла она и на плечи моей сестры Кандым, не поспевавшей за толпой бегущих в степь людей.

Мой однокашник Мирза-слепой говорил, увидев кого-нибудь из учеников в обнове:

— Тот же ишак, но с другим седлом.

Анварбек оставался Анварбеком, хотя и был одет теперь в халат мингбаши. Черного шакала не скроешь даже под белой шерстью. Душа и зубы остались у него шакальи. Эти зубы он и показал на полянке.

Анварбек не окликнул Юлдаша. Слишком много чести для полицейского слышать свое имя из уст мингбаши. Хозяин только кашлянул. Этого было достаточно, чтобы Юлдаш обмер. И не один Юлдаш — все обмерли. Застывшими от ужаса глазами мальчишки смотрели нч мингбаши.

— Чайхана открыта?! — не то спросил, не то утвердил Анварбек.

— Открыта... — прошептал трясущимися губами полицейский.

— А что я приказал тебе?

— Приказали закрыть... Но эти бесстыжие мардикеры не хотят слушаться. Они угрожали мне...

— И ты сбежал, сын праха!

— Сбежал, о мой бек!

— Трусливый пес!

— Пес... Но я выполню ваш приказ, господин.

— На том свете?

— Почему все гонят меня на тот свет?!

— Потому что на этом тебе делать нечего.

Анварбек взмахнул нагайкой, и она со свистом опустилась на голову Юлташа. От такого удара, наверное, могла отлететь голова, но слетела только шапка, великолепная шапка полицейского, которой так гордился Юлдаш. Не знаю, стал бы он спасать что-либо другое, но за шапкой наклонился, и тут новые удары посыпались на его голову. Стараясь уберечься от плети, Юлдаш побежал. Но разве можно пешему уйти от конного? Анварбек прищипорил своего жеребца, и тот в несколько скачков настиг беглеца.

Бегущего, а потом уже упавшего Юлдаша мингбаши стегал и стегал, пока не переломился черенок камчи. Отбросив плетку, Анварбек потянулся к сабле. Исхлестанный, облитый кровью, Юлдаш почуял страшное в этом жесте мингбаши. Бежать он не мог, и пополз, ища защиты в толпе людей, уже собравшейся на поляне. Однако Анварбек не для того распалил себя, чтобы так просто закончить расправу. Он бросил клинок вслед Юлдашу и, наверное, угодил бы в затылок, но рука промахнулась, и лезвие, ударившись о камень, отскочило и поранило старика, находившегося рядом.

Кровь полицейского почему-то не тронула людей, а малиновая струйка, сбежавшая со щеки старика, вызвала гнев. Толпа грозно загудела, как когда-то перед восстанием.

Пыл Анварбека сразу охладился. Подняв саблю, мингбаши всадил ее со злостью в ножны и ускакал.

Так миновала смерть Юлдаша, и он оказался на супе чайханы Урдушмата-ака.



— Из любви к людям страдаю, — повторил полицейский, плача навзрыд. — Из любви...

Мы с дядей сели напротив и сложили свои инструменты у ног. Я думал, что дядя, глядя на плачущего полицейского, станет выражать соболезнование, а он, напротив, усмехнулся:

— Кого ж вы любите? — спросил дядя Джура.

— Народ, — ответил, глотая слезы, Юлдаш. — Я же народный полицейский...

— Э-э, Али ходжа или ходжа Али, какая разница! Прежде вы служили своему родичу, тысячнику Мирзаяру, которого народ закидал камнями, теперь служите тысячнику Анварбеку. Если прежде были черным псом, то теперь стали белой собакой...

Все вокруг засмеялись. Никому, никому не было жалко полицейского. Почувствовал Юлдаш, что народ считает его врагом и даже не вздохнет, если случится беда с ним, если тот же Анварбек засечет собственного слугу до смерти. И Юлдаш встал с супы. Встал с трудом и побрел по пыльной дороге.

Около пустыря его обступили мальчишки. Я видел, как Мирза-слепой протянул руку полицейскому, показывая ащичку, которую с боем отстоял и за которую требовалась награда.

— Вот она! — кричал Мирза. — Дайте орехи!

Юлдаш полицейский не остановился, даже не посмотрел на мальчишек. Не посмотрел на уши Мирзы, горевшие красно-синим огнем и казавшиеся вдвое больше, чем обычно. Тогда ребята стали кричать хором:

— Будьте справедливы, отдайте орехи Мирзе! Он заработал их своими ушами!

Теперь Юлдаш остановился и прохрипел:

— Прочь! Прочь с моих глаз!

Прохрипел, и хрип был не человеческий, так мне почудилось. Он походил на стон или вопль раненого животного. Мальчишки в страхе кинулись врассыпную.

Юлдаш постоял немного, покачал своей окровавленной головой, потом высыпал из кармана орехи, прямо на землю высыпал, и пошел напрямик через пустырь, неизвестно куда.

Долго синий камзол его маячил перед нашими глазами...

### День надежд

Звуки кузницы — стуки молотков и звон железа — я слышал прежде обычно издали. Они были веселыми, эти звуки. И их было много в Джизаке: целые кузнечные ряды тянулись на базаре. Иной раз как заведут перестук, все окрестные махалли наполняются волшебной музыкой. «Э-э, — говорили тогда старики, — дал бог мастерам работу!»

Теперь я сам творил эту музыку. Правда, пока еще робко. Дядя не всегда доверял мне молотки, но когда доверял, музыка звучала громко и весело. Так, во всяком случае, я считал и старался вовсю. Думаю, что мой молоток был слышен во всем Джизаке. Наверное, был слышен: весь город примолк, и кузниц было слишком мало, если не одна наша.

Чумазым я тоже был пока один, если не считать дядю. Кузницу с помощью братьев, то есть моего отца, Аширмата-ака, и Отавая-ака дядя поднял, и в ней запылал горн. Ну, а где огонь, там и дым, а где дым, там и копоть. К тому же, как известно, без угля нельзя развести огонь, вот я и украсился копотью. Железо тоже, между прочим, обладает способностью красить, особенно когда заржавеет.

И что удивительно, я гордился этими красками и шел через город с высоко поднятой головой. Кузнец! Себя я считал кузнецом, хотя другие не считали и называли просто учеником Джуры-ака. Но какое это имело значение! Главное, никто не отрицал моей причастности к кузнечному ремеслу. В душе я был уже кузнец. На железо смотрел глазами дяди Джуры, особенно если это железо было превращено в подкову, кетмень или топор. Мне хотелось понять, хорошо ли превращено, смог бы дядя сделать так или лучше. О своих способностях умалчивал, поскольку их пока еще никто не замечал, да и были ли они? Это могло определить лишь будущее.

Пока я имел дело с углем. По утрам разжигал огонь в горне, раздувал его с помощью мехов, которые дядя соорудил из старой шкуры, лежавшей в нашем доме как ковер. Появлялся дядя в одно и

то же время и с одним и тем же выражением лица — оно было хмурым и озабоченным. Но не злым. Клал в нишу сверток, и я знал, что там лепешки — наш завтрак, обед и ужин. Знал, какая лепешка дядина, какая моя. Мы по-прежнему все делили пополам. Торжествовал уговор, объявленный Джурой-ака при найме меня в ученики: «Я голоден — и Назиркул голоден, я сыт — и он сыт». Все еще трудно было установить — голодны мы или сыты. Но лепешка была каждый день. Значит, почти сыты. Остальные мои сверстники иногда не видели и лепешки.

В течение дня дядя редко разговаривал со мной. Кузнецам вообще трудно вести беседу — такой стук и звон стоит, что ни одного слова не разберешь. Лишь в промежутках между разговором большого да малого молотков Джура-ака вставлял несколько скупых замечаний, относящихся к работе, давал мне совет или порицал за что-нибудь. Заказчиков он тоже не баловал многословием: спросит, что надо, оговорит цену и назначит день, когда прийти за заказом. Единственное, что могло отвлечь дядю, это известие о возвращении кого-либо из России. Мардикеры мало-помалу собирались в Джизак, «слетались к родному гнезду», как говорила моя матушка. Приезжали по двое, по трое, а то и поодиночке. Вся махалля сразу же узнавала о появлении «нового джизакца», его дом моментально наводнялся соседями, и они не уходили, пока не получали исчерпывающие ответы на свои многочисленные вопросы. Людей интересовало все — как жили, что делали мардикеры в далеких краях, и хотя рассказы «новых джизакцев» почти ничем не отличались от рассказов уже «старых джизакцев», прибывших весной, сразу после свержения царя, их выслушивали с огромным интересом и вниманием. В конце следовал главный вопрос: «Как будет дальше и когда кончится время Временного правительства?» События в России стали волновать джизакцев, оттуда, с Севера, ждали перемен. А кто, кроме очевидцев, кроме мардикеров, мог поведать людям новости?

Самым нетерпеливым и самым любопытным в городе был, кажется, мой дядя. Стоило кому-нибудь обронить слово «приехал», как Джура-ака оставлял клещи и молоток.

— Кто, кто? — допытывался он у прохожего.

И пока не узнавал, кому посчастливилось вернуться в Джизак, не отпускал человека. А вечером, после работы, тащил меня в чайхану Урдушмата, чтобы узнать все подробности.

Однажды в кузницу забежал мой дружок Акил. Правильнее было бы сказать залетел, как залетает весной в дом птица, так стремителен, возбужден и радостен был Акил. Лицо его сияло, даже оспинки на щеках посветлели.

— Приехал! — крикнул он с порога. Крикнул знакомое слово.

Я не стал спрашивать, кто приехал: в семье Акила давно ждали отца.

Дядя вылез из ямы, в которой стояла наковальня, обнял за плечи Акила.

— Отец, значит? Ну, вернулось счастье в дом...

На глазах дяди, кажется, блеснула слеза. Никогда я не видел его таким взволнованным. Он плакал и улыбался. И с чего было плакать — отец Акила чужой нам человек, дом их стоит вдали, дороги не пересекаются. Неужели общая судьба, судьба мардикера способна так сблизить людей?

— Теперь наших собралось немало, — продолжал дядя. — Как отец, здоров?

— Здоров, — кивнул Акил. Но, немного подумав, добавил: — Правда, ухо одно болит... Отморозил.

— Ухо, это ничего. Другие легкие поперепортили... На всю жизнь. — Дядя закашлялся. Последнее время он стал часто забиваться в кашле: отвернется от наковальни и борется с приступом. Наверное, дым горна и запах окалины душили его. — Главное, чтобы сердце не заморозить... Без сердца — конец...

Не знаю, понял ли последнее Акил. Думаю, понял, потому что глянул на меня как-то значительно.

— Чем бы тебя наградить за радостную весть? — сказал дядя Джура и стал озираясь, отыскивая в кузнице что-либо подходящее. Но ничего не нашел: не подкову же дарить мальчишке! — Ладно, будет за мной, — развел руками дядя. — Запомни...

Акил благодарно улыбнулся.

— Хорошо, дядя Джура... А я вот что захватил вам... — Он полез

за пазуху и вытянул оттуда кусочек сахара. Маленький, величиной с орех, потемневший от пыли и частого прикосновения рук. Вытянул и подал мне. — Папа привез из России...

Сахар! Уж не помню, когда я держал его на ладони. А вкус вовсе забыл. Так бы и отправил этот серый орешек в рот! Но рядом были дядя и Акил. Я разбил орешек на три части, прямо тут, на наковальне, и протянул один Джуре-ака, другой — другу Акилу, третий оставил себе.

Дядя отстранил мою руку.

— Ну, я свою долю съел, когда еще мальчишкой бегал по базару. Оставь себе или матушке отнеси. Дома у вас найдется рот для этого сахара...

Рот, конечно, найдется, даже целых два — маленькие братишка и сестренка... И я, не скрывая радости, затолкнул сахар в тряпицу, что матушка повязала мне в виде поясного платка.

— Папа еще хлеба привез, — сказал Акил. — Белого хлеба... Правда, он засох... но вкусный. Мы его в воде размачиваем.

— Да-да, — закивал головой дядя и улыбнулся чему-то, верно, пришедшим воспоминаниям. — Главное, сам вернулся. Благодарю, сынок, тех, кто сверг царя, кто вернул свободу отцу твоему.

Акил озадаченно посмотрел на Джуру-ака и тихо, почти шепотом, произнес:

— Рахмат. Спасибо...

И побежал домой.

Мы с дядей снова принялись за работу — я вытягивал из горна полосу железа, сияющую голубовато-розовым светом, клал на наковальню, а Джура-ака бил по ней молотком, превращая в тонкий длинный серп. Нам заказали крестьяне несколько серпов.

Вечером после работы, не в тот день, другой, дядя повел меня в дом Хафизбая. Читатель помнит этот дом — красивый дом с садом, где отдыхал иногда уездный начальник полковник Рукин. Помнит читатель и самого Рукина, навестившего Хафизбая накануне трагических событий. Тогда перед уездным правителем были расстелены дорожки, и сам хозяин, склонившись в почтительном поклоне, встречал важного гостя. Вход охраняли двое полицейских, а

незадачливый Юлдаш ударами плети разгонял толпу любопытных джизакцев. Разгонял главным образом мальчишек, надоедливой стаей вившихся у ворот.

Сегодня ворота Хафизбая открыты настежь — ни хозяина, ни полицейских, ни сторожей. Народ входил сюда как в собственный дом. Здесь собирались мардикеры, вернувшиеся с тыловых работ, ну и, конечно, беспокойные джизакцы — все, кто был разут, раздет и голоден. По босым ногам и рваной одежде легко можно было установить участников этого первого в городе митинга.

Дядя вошел в дом Хафизбая с гордо поднятой головой. Хмурость с лица его слетела, и оно светилось какой-то торжественностью. Меня он пропустил вперед, давая этим понять, что мое место среди трудового Джизака, среди тех, кто бос и голоден. Между прочим, я действительно был босым, а штаны мои состояли из одних заплат.

Мардикеры отличались от босоногих своей рабочей одеждой. Все они были в светло-зеленых рубахах и такого же цвета брюках, а на ногах красовались большие и, наверное, очень тяжелые ботинки. Я так думаю, потому что при ходьбе ботинки эти издавали громкий стук, такой непривычный для мусульманского города. Завистливый взгляд мой чаще всего останавливался на красивых ремнях, которыми были опоясаны мардикеры. Такой ремень мне очень хотелось иметь.

Народу набралось много. Кроме мардикеров и чайрикеро́в, кроме босоногих из нашей махалли, в саду оказались и жители соседних махаллей. Их легко можно было узнать по чалмам, тубетейкам и большим шапкам. Все расселись на айванах, супах, а кому не хватило места, устроились прямо на земле, подложив под себя собственные ноги.

Многоликая толпа занимала мое внимание недолго. Быстро отыскал я среди джизакцев незнакомого человека в русской одежде. Отыскал быстро не только потому, что человек был в незнакомой одежде, но и потому, что все смотрели на гостя. Да, это был гость. Потом я узнал его имя — Хайдарбек Абдуджаббаров. Он сидел среди мардикеров, по-мусульмански скрестив под собой ноги, и беседовал с другим гостем, одетым во все русское. От них, от этих двух незнакомых людей, джизакцы чего-то ждали. Ждали нетерпеливо,

взволнованно. Я тоже ждал, хотя и не понимал почему. Видимо, мне передавалось общее настроение.

Наконец, когда сад наполнился до отказа, а за воротами столпились мальчишки и женщины, незнакомец поднялся и через узенький проход между плотно сидящими людьми прошел к самому высокому айвану, взобрался на него. Все сразу затихли.

— Товарищи! — сказал он. Сказал только это слово и сразу удивил джизакцев. Никто прежде не слышал его, хотя оно и существовало, но не адресовалось вот так к людям, незнакомым людям. У меня почему-то вздрогнуло сердце. — Товарищи, мы собрались, чтобы вспомнить тех, кто стремился к свободе и отдал за нее жизнь, чтобы обдумать, почему же этой свободы мы не достигли...

Незнакомец говорил очень спокойно, не повышая голоса, не взмахивая рукой, но людей его слова взволновали. Каждый представил себе пережитое, огонь Джизака и ветры степи, слезы угоняемых и крики раненых. Все представили себе. А гость продолжал:

— Мы думали, что, убив Мирзаяра и Рукина, мы навсегда избавимся от поработителей. Мы горько ошиблись. Злодеев много, очень много, и самый главный из них — царь. Он расправился с народом за смерть своих слуг, изгнал джизакцев, сжег город, расстрелял и повесил невинных людей. Джизак превращен в пепел, реки высохли, сады погибли, пришел голод.

Сидевшие перед оратором застонали, закачали горестно головами. Тогда гость поднял руку, чтобы успокоить людей.

— Не вы одни страдаете. Весь народ России повергнут в нищету и страдания. И везде борцов за свободу убивают, ссылают, мучают. Свобода прекрасна, но завоевать ее одной рукой, даже двумя руками невозможно. Их отрубят угнетатели. Один кишлак или один город не в состоянии одолеть врага. Но сообща, объединив усилия, можно достичь цели. Думаю, вы поняли меня. Дальше дорогой борьбы простой народ должен идти в одном строю, крепко держась за руки. Русские рабочие уже свергли царя и тем избавили все народы России от первого и главного угнетателя. Теперь предстоит сбросить с шеи

трудящегося люда приспешников и продолжателей дела царя, проложить себе дорогу к настоящей свободе... Да здравствует свобода!

Все было неожиданно, даже это — да здравствует! И люди закричали радостно:

— Да здравствует свобода!!!

Закричали мардикеры. Они умели это делать: в России им не раз приходилось присутствовать на митингах. Я тоже закричал, громко и весело, но голоса своего не услышал в хоре мардикеров. Им, кажется, помогали и остальные джизакцы. Во всяком случае, двор Хафизбая содрогался от гула, и стекла на веранде звенели.

Двор, я уже говорил, был переполнен. Однако есть ли хурджун, в который нельзя было бы еще втиснуть что-нибудь? С улицы лезли любопытные джизакцы, выстраивались вдоль дувала, садились чуть ли не на головы соседям. Мальчишки оседлали деревья и, подобно спелым грушам, готовы были упасть наземь и придавить нас. Женщины толпились снаружи.

Едва стихли выкрики, гость снова заговорил:

— Вы знаете, товарищи, а кто не знает, пусть услышит: среди нас находится друг джизакцев, Алексей-ака, русский рабочий, железнодорожник. Он сопровождал нас до Джизака, чтобы передать вам привет от русских рабочих. Будем же гостеприимны, братья джизакцы.

Оратор захопал в ладоши, и все захопали. С супы поднялся тот самый человек в русской одежде и направился к айвану. Был он невысок ростом, сухощав, с копной светлых волос, непокрытых ничем. Карие глаза глядели весело. В них таилось любопытство. Гость на ходу поправил тонкий ремешок, перепоясывавший коричневую рубаху, и ловко, как молодой, вскочил на айван. Как молодой, хотя было ему лет сорок, а то и больше. Вскочил, и я увидел сапоги с заплатой на заднике, но хорошо смазанные гуталином и начищенные до блеска.

Мы хлопали в ладоши, а Алексей-ака кланялся и прикладывал руку к сердцу. Но не улыбался, как обычно улыбаются гости, серьезно смотрел на людей, и лишь глаза довольно и озорно



светились. Потом заговорил. Заговорил по-русски.

Слов никто не понимал, но все слушали внимательно. И я слушал, пытаюсь догадаться о чем говорит гость. Одно слово я понял. Слово — Ленин. Его произнес дядя Джура, когда мы работали на пепелище кузницы. Сейчас оно прозвучало дважды, и ошибиться я не мог. Остальное плыло над головой вереницей разных слов, очень громких и четких, но ничего не выражающих. И все же я знал и другие знали: гость говорит что-то важное и доброе, главное, доброе. Хорошо, когда человек говорит доброе.

Гость остановился почему-то и посмотрел на стоящего рядом оратора. Тот кивнул, заговорил по-узбекски. Он переводил речь Алексея-ака. Она оказалась, как мы и предполагали, доброй и сердечной. Русский рабочий знал о наших бедах и сочувствовал джизакцам.

— Братья! — сказал он. — Более несчастных и обездоленных, чем вы, трудно встретить, хотя я и объездил немало городов. За свою смелость и за свою любовь к свободе вы жестоко наказаны, но не сломлены. В вас еще есть силы, и их надо соединить с силами русских и других рабочих. Надо продолжать борьбу за лучшую долю, за свободу. Наш вождь, наш учитель товарищ Ленин говорит, что, только объединившись, поработенные и угнетенные смогут одолеть врага и обрести счастье. Бороться надо уже сейчас, сейчас наступать на угнетателей. Надо показать им, что сила на нашей стороне и мы сумеем добиться цели. Вы голодны?

— Голодны!!! — ответили джизакцы.

— Лишены воды?

— Лишены!

— А вода в руках нового правителя Джизака?

— У него!!!

— Возьмем же хлеб и воду, братья! Это наш хлеб, наша вода!

Сад так гудел, что весь город, казалось, присоединил свой голос к нам. Наверное, новый правитель Джизака услышал слова мардикеров. Наверное, но на это никто не понадеялся. Все поднялись и вышли на улицу. Вышли и стали колонной. Впереди оказался человек с красным флагом. Полотно, едва подняли его над головой,

заплескалось, овеянное ветром.

Все это было ново и удивительно. И страшно. Никогда еще Джизак, старый Джизак, не видел ничего подобного. Красный флаг на улице, и под ним мардикеры, готовые на борьбу.

Внутри у меня все трепетало от волнения и восторга.

И от робости тоже. Что-то великое и тревожное, еще не осознанное юным сердцем, раскрывалось передо мной, оно звало и пугало. Я не знал, способен ли принять это великое и тревожное. И стоял на пороге. Стоял, охваченный страхом.

Но когда мардикеры четким шагом двинулись по улице, двинулись к дому правителя, я пошел следом. Пошел за красным флагом....

Конец первой книги

## Об авторе

Назир Сафаров родился в 1905 году в городе Джизаке в семье кузнеца. Учился сначала в старой узбекской школе, а затем — в советской школе. Образование продолжал в Самарканде в школе по подготовке партийных кадров. В 1925 году вступил в Коммунистическую партию.

Первые очерки и фельетоны Назира Сафарова были опубликованы в газете «Рабочий» в 1926 году, а спустя несколько лет появилась серия очерков под общим заголовком «Борьба за новую жизнь». Значительным событием явилась книга «Тени черных дней», рассказывавшая о Джизакском восстании 1916 года.

Начало сороковых годов совпало с приходом Н. Сафарова в драматургию. Автор революционной драмы «История заговорила» заявил о себе как смелый обличитель тайных замыслов врагов Советской власти. Спектакль, поставленный театром имени Хамзы, имел большой успех и определил дальнейший творческий путь молодого писателя. Главной темой Н. Сафарова стала тема революции, борьбы с врагами нового строя, тема становления социалистического сознания трудящихся. Важными вехами в истории узбекского театра были постановки произведений Н. Сафарова «Пробуждение», «Заря Востока».

Обращение к живым примерам, чувство современности всегда были характерны для Назира Сафарова. Рядом с драматургом жил публицист. В довоенные годы на газетных полосах то и дело появлялись яркие, взволнованные, острые по затронутой теме очерки. Еще больше их стало в дни трудных испытаний, выпавших на долю советских люден, боровшихся с немецкими фашистами. Назир Сафаров как политработник и военный корреспондент находился в действующей армии, прошел от Кавказа до Вены вместе с отважными советскими бойцами.

Корреспонденции узбекского журналиста вдохновляли воинов на ратные подвиги. Блокнот корреспондента заполнялся живыми примерами, которые стали позже материалом для серии больших очерков о войне, о людях, ковавших победу. Очерки были

опубликованы в газетах и журналах, вошли в первую послевоенную книгу Н. Сафарова, изданную на русском языке, — «Земляки».

Параллельно с военной темой разрабатывалась и тема трудового подвига. Особенно пристально изучал писатель жизнь патриотов села, мастеров высоких урожаев. Так возникли документальные рассказы о замечательном шелковводе Алияхон Султановой и женщине, оседлавшей технику, Турсунной Ахуновой. Как правило, герои прозы Н. Сафарова имеют точные адреса, это живые люди, подлинные герои нашего времени. Даже в рассказах писателя за чуть измененными именами и фамилиями стоят невымышленные герои — современники автора, встреченные им на дорогах писательских исканий. А искания эти постоянны, и дорог множество.

Советское правительство высоко оценило творческую деятельность Назира Сафарова, его вклад в развитие узбекской советской литературы, патриотические усилия на фронтах Отечественной войны. Он награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами «Знак почета» и медалями. Президиум Верховного Совета Узбекской ССР присвоил ему звание «Заслуженный деятель искусств». Писатель завершил роман «День проклятия и день надежд», — являющийся первой книгой из задуманной эпопеи народной жизни, и продолжает работу над второй книгой.